

ЛЕНИНГРАДПОЛИТПРОСВЕТ

ХРЕСТОМАТИЯ  
КЛАССОВОЙ  
БОРЬБЫ

---

часть I

КРЕСТЬЯНСТВО  
И ПРОЛЕТАРИАТ

5-е издание

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ТРИБУНА“  
ЛЕНИНГРАД  
1 9 2 5

ЛЕНИНГРАДПОЛИТПРОСВЕТ

# ХРЕСТОМАТИЯ

по истории

## классовой борьбы

состав. Вал. Фейдер

часть

первая

### Крестьянство и пролетариат

У ИЗДАНИЕ ДОПОЛНЕННОЕ

Научно-политической секцией  
государственного ученого со-  
вета рекомендовано как  
пособие для совпартшкол,  
рабфаков, школ взрослых и т.д.

Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“  
Ленинград 1925



## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ.

Цель настоящей хрестоматии: дать художественные иллюстрации к классовой борьбе в ее основных этапах и проявлениях на всем пути развития общества. Иллюстративный материал расположен, согласно с программой преподавания истории классовой борьбы в совпартшколах, не в хронологическом, а в тематическом порядке. Хронологический порядок применен лишь внутри каждого из отделов.

Хрестоматия делится на три части (издаваемые в трех отдельных книгах): I-ая: Крестьянство и фабрично-заводский пролетариат в России и на Западе; II-ая: Революция на Западе и в России; III-ая: От первобытного общества к обществу будущего. Вследствие такого распределения материала, некоторые моменты в истории классовой борьбы находят свое отражение в различных частях, отделах и главах Хрестоматии. Так, например, в I-ой части даны иллюстрации к революционному движению 1905—06 гг., а также к настроению масс в 1917—20 гг.; иллюстрации на эти же темы встретятся и во II-ой части. Но в первой части они вкраплены лишь как необходимые звенья в истории русского крестьянства и пролетариата, тогда как во второй они займут самостоятельное место в ряду основных этапов истории русской революции, т. е. будут более развиты и обширны. Подобные же соприкосновения тем встретятся и в других частях, отделах и главах книги.

Материал для иллюстраций взят, по мере возможности, из перво-классной русской и иностранной художественной литературы; дополнением к беллетристическим отрывкам служат выборки из воспоминаний, записок и мемуаров революционных и общественных деятелей; наконец, где это требуется для более ясного освещения эпохи или значительного исторического момента, даны документы (манифесты, прокламации и проч.).

Приводимые отрывки во многих случаях не представляют сплошного контекста оригиналов, а имеют иногда значительные, иногда незначительные пропуски (отмеченные многоточиями); вызвано это желанием сосредоточить внимание учащихся на том или ином социальном явлении, характеризующем развитие классовой борьбы. В таких случаях выпущены несущественные подробности, загромаждающие тему. Все эти пропуски сделаны с необходимой бережностью—там, где они не искажают лицо автора и не нарушают художественной цельности произведения.

Те из произведений, которые послужили источниками для отрывков, приведенных в настоящей Хрестоматии, и прочтение которых полностью может быть полезно, а иногда и необходимо учащимся для выявления цельной картины быта, эпохи и социальных отношений,—выделены в конце книги в особом списке.

## К II-му ИЗДАНИЮ.

Настоящая книга вышла впервые весной нынешнего года и тогда же разошлась полностью. В виду того, что теперь выходят в свет одновременно II-ая и III-ья части Хрестоматии, явилась потребность в переиздании и I-ой ее части. Составитель, занятый подготовкой к печати II-ой и III-ей частей, не имел возможности заняться дополнениями и исправлениями I-ой части и оказался вынужденным согласиться на вторичное появление книги в первоначальном виде. В последующих изданиях составитель надеется коренным образом переработать книгу, дополнив ее рядом новых глав и расширив уже имеющиеся.

Обилие иллюстративного материала, подобранного составителем, по истории революций на Западе и в России, вызвало необходимость разбить его на две книги. Таким образом, издание Хрестоматии, задуманное ранее в трех частях, выйдет в свет в четырех. Именно: I-ая ч. Крестьянство и пролетариат; II-ая ч. Революция на Западе; III-ья ч. Революция в России; IV-ая ч. От первобытного общества к обществу будущего.

*В. Ф.*

Сентябрь, 1923 г.  
Петроград.

---

## К IV-му ИЗДАНИЮ.

IV-ое издание I-ой части „Хрестоматии по истории классовой борьбы“ является несколько расширенным по сравнению с предыдущими. Внесена новая глава: „Степан Разин“; значительно дополнена глава „Крепостное крестьянство в конце XVIII века и пугачевщина“; увеличена глава „Падение крепостного права“. Внесены некоторые дополнения и в остальные главы отдела „Крестьянство“.

Отдел „Пролетариат“ — оставлен без изменений в виду того, что в настоящей, I-ой части, рабочее движение затрагивается лишь частично, основной же материал составляет предмет II и III чч. Хрестоматии.

*В. Ф.*

Апрель, 1924 г.  
Ленинград.

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Задача преподавания истории в совпартшколах — выявить закономерность исторического процесса, приучить учащихся к самостоятельной работе над материалом, применяя к изучению его марксистский метод. Осуществить это возможно, если преподавание построено на наглядности, самостоятельности и активности.

Каждый учащийся при усвоении нового должен идти таким путем, каким идет исследователь-историк; он должен делать выводы на основании разбора подлинников. Хрестоматия по истории классовой борьбы и дает отчасти такой материал, на основании которого учащийся сможет сделать выводы; художественные произведения дадут ему возможность усвоить быт изучаемого периода.

Так, например, проходя крестьянскую реформу 1861 г. и пользуясь материалом, относящимся к этому событию, можно заставить учащихся сделать лабораторным путем определенные выводы.

Разбирается манифест 19-го февраля 1861 г. На этом документе учащиеся выявляют дворянский характер „освобождения“. Отсюда следствие реформы: экономическая зависимость крестьянства от землевладельцев. Выводы эти учащиеся должны сделать сами. Далее—они могут заняться предсказанием, каковы в дальнейшем должны быть судьбы крестьянского хозяйства.

На основании пункта манифеста, где говорится: „многие думали о свободе и забывали об обязанностях“,—учащийся сделает вывод, что заставило Александра II-го осуществить то, о чем только разговаривали в кабинетах его предшественники. Историческая справка о фактическом составителе манифеста даст возможность выяснить связь церкви с самодержавием.

Окончив разбор манифеста, должно добиться от учащихся ответа на вопрос: когда господствующие классы проводят реформы, являющиеся экономически необходимыми?

Разобрав остов данной темы, необходимо перейти к выяснению отношения крестьян к реформе. Сатира Шумахера и отрывок из „Истории моего современника“ Короленко дадут картину того, как встречало население свое освобождение, а разобранный ранее манифест позволит вскрыть причину этого недоверия (см. снова о „свободе и обязанностях“).

Отрывок Данилевского „Воля“ даст возможность сделать вывод о продолжении борьбы крестьянина с помещиком и об усилении ее.

Затем учащиеся составят конспект разобранного, слагая его из следующих частей:

- 1) Сущность манифеста об освобождении крестьян.
- 2) Отношение крестьян к манифесту.
- 3) Обострение борьбы крестьянина с помещиком и подавление ее правительством.

Разобрав эту тему, можно для лучшего проникновения в нее устроить политсуд над Александром II, над крестьянами, сжигающими помещичьи усадьбы. Можно также инсценировать этот период. Опыт Петроградской областной совпартшколы показал, каким могучим орудием, возбуждающим творчество учащихся, являются политсуды и политинсценировки. Материал Хрестоматии поможет преподавателю широко воспользоваться этим методом.

Будем надеяться, что наша Хрестоматия явится первым пособием, которое откроет преподавателю возможность применить в преподавании истории лабораторный метод.

*Ядвига Нетунская.*

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### Степан Разин.

(1667—1671 гг.).

---

#### УТЕС СТЕНЬКИ РАЗИНА.

Есть на Волге утес. Диким мохом оброс  
Он с боков от подножья до края,—  
И стоит сотни лет, только мохом одет,  
Ни нужды, ни заботы не зная.

На вершине его не растет ничего—  
Там лишь ветер свободный гуляет,  
Да могучий орел свой притон там завел  
И на нем свои жертвы терзает.

Из людей лишь один на утесе том был,  
Лишь один до вершины добрался;  
И утес человека того не забыл,  
И с тех пор его именем звался.

И хотя каждый год, по церквам, на Руси  
Человека того проклинаят,  
Но приволжский народ о нем песни поет  
И с почетом его вспоминает.

Раз ночью порой, возвращаясь домой,  
Он один на утес тот взобрался  
И в полуночной мгле, на высокой скале,  
Там всю ночь до зари оставался.

Много дум в голове родилось у него,  
Много дум он в ту ночь передумал,  
И под говор волны, средь ночной тишины,  
Он великое дело задумал.

И задумчив, угрюм от надуманных дум,  
Он на утро с утеса спустился,  
И задумал пойти по другому пути,  
И идти на Москву он решился.

Но свершить не успел он того, что хотел,  
И не то ему пало на долю,  
И расправой крутой, да кровавой рекой  
Не помог он народному горю.

Не владыкою был он в Москву приведен,  
Не почетным пожаловал гостем,  
И не ратным вождем на коне и с мечом,  
А в постыдном бою с мужиком-палачом  
Он сложил свои буйные кости...

И Степан будто знал, никому не сказал,  
Никому своих дум не поведал,  
Лишь утесу тому, где он был, одному  
Он те думы хранить заповедал.

И поныне стоит тот утес и хранит  
Он заветные думы Степана,  
И лишь с Волгой одной вспоминает порой  
Удалое житье атамана.

Но зато, если есть на Руси хоть один,  
Кто с корыстью житейской не знался,  
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,  
Кто свободу, как мать дорогую, любил  
И во имя ее подвизался—

Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет  
И к нему чутким ухом приляжет:  
И утес-великан все, что думал Степан,  
Все тому смельчаку перескажет.

(А. А. Навроцкий—„Сказания минувшего“).

## НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ.

Голоса. Здорово, Степан Тимофеевич... Благополучен ли воротился?.. Как ходилось?..

Разин. Здорово, ребяташки. С чем пожаловали?

Северин. Да, как и встарь, лиха свои принесли тебе.

Вертлюга. Вовсе житья не стало: домовитые казаки да атаман Корнило Яковлев дохнуть нам, голутвенным людям, не дают!

Тотчас же Вертлюгу поддерживают голоса, гудящие не-стройным гулом:

- Свету за ними не видим!
- Жрать не стало!
- Уходить с Дону надобно!
- Сил нет долее терпеть: в конец одолели нас!..

Разин. Неправильно на свете жизнь налажена. На утесненьи да на лихе весь порядок постановлен... Большой путь прошел я, через всю Русь перекинулся, все глядел, как люди живут...

Черноярец. Что ж высмотрел?

Разин. Худо... Нигде правды не видел. Всюду, куда глянешь, воеводы, да вотчинники, да слуги царевы бедных да худых людишек— холопов, крестьян, посадских—душат, давят, гнетут, и роздыху им нет. Такая ли правда должна быть?

Алешка. Какая уж то правда, коли людям житья нет!

Разин. Виданное ли дело, чтоб одни богатели да на медах сытели, а другие, на них же, как волы, работая, с голоду дохли, непосильным тяглом задавленные?

Разин ждет ответа, и тотчас же, как бы прорывая плотину, вырываются озлобленные голоса:

- Непорядок это!..
- Неправильно!..
- Как такую правду сносить!..

Разин. Ну, и ладно, коли так мыслите! Стало, по пути нам. Потому, как поглядел я, что кругом-то творится, и запала мне думка в голову, да так-то крепко, что не выходит и по сю пору: а что, коли взять да и перевернуть все, да по-новому, по-правильному жизнь поставить?..

Фролка. Что ты... брат... рехнулся, что ли?..

Разин. Нет, Фролка, я в своем уме. Сам ведаешь: слов на ветер никогда не бросаю. Знаю, что говорю!

Фролка. А силу где возьмешь свет-от переворачивать? Ну-тко, вымолви?

Разин. Силу? Силы-то край непочатый. Только всколыхнуть ее надобно. Есть такой богатырь, сидит он сиднем, как Илья Муромец, и силы своей не чует. А почувет, — расправит плечи, разогнет синю... Эх, дух захватывает! Ан самому жутко, как подумаю!

Черноярец. Ты, Степан, брось сказки-то—говори толком, какого такого богатыря сыскал? Где он прячется?

Разин. Эх, вы, разумники! Да ты же сам, да вот он, да он, да весь народ загнетенный, — вот она, сила-то где! Большие тьмы людей волокут на спине своей бояр да воевод с приспешниками... А много ли тех? Горсточка... Так взять да стряхнуть ее, чем утесненья да лиха-то терпеть!..

Фролка. Да мыслимое ли дело такую силу сломить? А у них стрельцы да пушкарни с пушками, — такого пропишут — и головы не сносить!

Разин. Эх, Фролка, дух-то у тебя жидкий! Стрельцы, говоришь? Пушкарни? И эти наши будут! Им тоже под воеводами да головами стрелецкими не сладость,—у каждого своя обида есть! Как брата нашего,

царство ему небесное, Юшка Долгорукий на перекладину вздернул, забыл?

Фролка. Помню.

Разин. То-то... Помню... Ты помнишь, да и я не забывал. Так же и другой, и третий, и всяк свою обиду в сердце несет и всяк рад до обидчиков своих дорваться. Только начать-то боится!

Глухой ропот поддерживает Разина:

— Ведомо так, уж обидчикам показали бы мы!

— Да начать-то с какого конца?

— Как приступить-то?

Фролка. Ты, что ли, начнешь?

Разин. А хоть бы и я!.. У нас на Дону теперь скопление большое, многие сюда свои обиды принесли. Кликнуть клич, — поднимется вся голытьба—все, кому жить не сладко!

Голоса, вначале глухие, становятся все дружнее, все возбуденнее; отдельные всплески сливаются в общий гневный гул:

— Как не подняться? Поднимемся!..

— Стеной встанем!..

Фролка. Ну, а там что?

Черноярец. А там пойдем вверх по Волге, под государевы под города, бояр да воевод да служилых людей выводить,—так что ли, Степан Тимофеевич?

Разин. Так, Ивашка. Пойдем всем людям вольного житья добывать. А там, может, и на самую Москву ударим, подпалим избу со всех четырех углов! Ветер огонь раздует, всколыхнется пламя, сожжет до тла все гнилое да старое!

Фролка. Высоко ты, Степан, заносишься! Шею не свернуть бы!

Разин. А и сверну, так не пожалею!.. Сымут голову, так хоть не даром! За большое дело и пострадать не страшно... Так стоите ли на том, что друг от дружки не отступаться, живота не жалеть, смерти не убоившись?

Дружно отвечают голоса:

— Все стоим!.. Не попятимся!..

— На живот и на смерть!

— Не сморгнем!

— Как быть иначе?

Черноярец. Тебе, Степан Тимофеевич, атаманом быть, oprичь тебя некому! Так ли, братцы?

Голоса:—Так тому и быть!..

— Иначе коноводом быть некому!

— Он всему делу голова!

— Ты худого не помыслишь!

Разин. Ну, так в добрый час, да и за дело! Потому мешкать нечего, чтобы помехи нам какой не учинилось. Валите же в кабак, братцы,—собирайте всех голутвенных людей со станицы, заводите речь!..

(Ю. Юрьин—„Сполошный язык“).

## ВОЙСКО РАЗИНА.

Ватага Стеньки имела казачье устройство: разделена она была на сотни, десятки; над сотнею начальствовал сотник, над десяткою—десятский. Стенька был над ними атаманом, а у него был есаул Ивашка Черноярец. Они заложили стан на высоком бутре... Плыл тогда весенний караван... В караване на этот раз были казенные суда, патриаршие и струги частных лиц; на каждом струге было свое особенное знамя. На одном струге сидели ссыльные, которых везли в ссылку на житье в Астрахань. Большое судно везло казенный хлеб... Отряд стрельцов провожал караван. У Разина была тысяча молодцов: сопротивляться было невозможно. Караван был остановлен. Стенька тотчас объявил чернорабочим и простым стрельцам, что он не будет их обижать, а только расправится с их начальниками и хозяевами. Изрубили начальника отряда, потом принялись за целовальников, ехавших при казенном хлебе... На частных стругах хозяев или повешали на мачтах, или побросали в воду. Дошла очередь до струга, где сидели ссыльные. Стенька освободил их, а провожатого раздел до-нага, посадил на песке с государевой казной и так оставил... В заключение Стенька сказал ярыжным:

„Вам всем воля; идите себе, куда хотите; силою не стану принуждать быть у себя; а кто хочет идти со мною, будет вольный казак. Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными и простыми готэв, как брат, всем поделиться“.

Все ярыжные и стрельцы пошли в его ватагу...

Отправившись на Дон, Стенька выбрал себе место между Кагальницкою и Ведерниковскою станицами, на острове, который был протяжением в три версты. Там устроил он городок Кагальник и приказал обвести его земляным валом; казаки построили себе земляные избы.

Разнеслась молва о его славе: со всех сторон посыпала к нему голытьба; бежали к нему и с Хопра казаки верховых станиц и с Волги гуляющие люди; откликнулась его слава и на Украине: приходили к нему и братья-сечевики. Когда он пришел из Царицына, войско его состояло из полуторы тысячи, а через месяц, как доносили посылаемые царицынским воеводою, у него было две тысячи семьсот человек. Он был для всех щедр и приветлив, разделял с пришельцами свою добычу, оделял бедных и голодных, которые, не зная куда деться, искали у него приюта и ласки. Его называли батюшкой, считали чудодеем, верили в его ум, в его силу, в его счастье. Старый домовитый казак, если ему удавалось обогатиться, старался зажить хорошенько, не заботился о голи, становился высокомерным с нею. Стенька был не таков; не отличался он от прочих братьев-казаков ни пышностью, ни роскошью: жил он, как все другие, в земляной избе; одевался, хотя богато, но не лучше других: все, что собрал в персидской земле, раздавал неимущим. Стенька будто жил для других, а не для себя...

Стоял Стенька смиренно и, по современному выражению, задоров ни с кем не делал. Тем было страшнее; как ни старался царицынский воевода узнать его тайные планы, сколько ни посылал проводить и рус-

ских и татар—ничего не узнал и писал в своем донесении в Москву: „и приказывает Стенька своим казакам беспрестанно, чтоб они готовы были, а какая у него мысль, про то и казаки немного сведают, и ни которыми мерами у них, воровских казаков, мысли доведаться немочно“.

А между тем, все прежнее было приготовлением к тому, что Стенька зимою обдумывал в своем земляном городке...

(Н. Костомаров—„Бунт Стеньки Разина“).

## П О Б Е Д Ы.

Вся Волга, казалось, стонала от песни, которая неслась над водою. Голытьба пела:

„Вниз по матушке по Волге“...

В это время из соседнего оврага показалось несколько всадников. Передний из них на поднятой над головою пике держал какую-то бумагу.

Всадники эти при приближении Разина сошли с коней и поклонились до земли.

— Встаньте! Кто вы?—спросил Разин, останавливая коня.

Всадники поднялись с земли. Это были, повидимому, татары,—всех человек пятнадцать. Впереди их были, как казалось, атаман и есаул: один худой и высокий, другой приземистый.

-- Кто вы?—повторил Разин.

— Мы синбирские татарова, мурзешки, батюшка Степан Тимофееч: я—мурзешка Багай Кочюрентьев, а он—мурзешка Шелмеско Шеевоев,—отвечал высокий татарин.—Мы к тебе, батюшка Степан Тимофееч.

— С каким делом?

— С челамбитьям, батюшка.

И Багай подал Разину бумагу. Разин передал ее есаулу.

— Вычитай,—сказал он.

Ивашка Черноярец развернул бумагу и стал читать:

„Славному и преславному атаману вольного войска донского, батюшке Степану Тимофеевичу, бьют челом и плачутся синбирские татарова, а во всех их место Багай Кочюрентьев сын, да Шелмеско Шеевоев сын: жалоба нам, батюшка Степан Тимофеевич, на государевых воевод, да на под'ячих, да на служилых людей; били мы, сироты твои, челом великому государю и плакались, что мы-де, сироты ево государевы, ево государеву панню пашучи, лошаденка покупали и животишка свои и достальные истощали, а за ево государевую паннею хоща, одежонко все придрали, и женишка и детиска испроели, и нынече, государь, номираем голодною смертию; а одежонка нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на што и нечим, и мы-де, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочая с наготы и босоты. И за то челобитье нас, государь, батюшка Степан Тимофеевич, сирот твоих, указано бить батоги нещадно. Атаман государь, смилуйся, пожалуй“.

Разин внимательно прослушал все челобитье, и брови его сурово сдвинулись.

— Так за это челобитье вас и драли?—спросил он.

— За этим челобитьем, батюшка, наш войвод секил нас батогам нещадным,—отвечал смиренно Багай.

— Добро. Я и до вашего воеводы доберусь,—сказал Разин.—А теперь поезжайте домой и ждите меня, да и всем—и в Саратове, и в Самаре, и в Синбирске скажите, чтоб меня ждали! Я приду...

Татары усердно кланялись...

Едва они двинулись вперед, как справа, по возвышенному сырту, замелькали толпы народа—и пешие и конные.

— Кому бы это быть?—удивился Разин.—Царские рати так не ходят; да это и не воеводская высылка, не раз'езд.

И он тотчас же приказал казакам разведать—что там за люди. Несколько казаков поскакали по направлению к сырту. Издали видно было, как там, в неведомой толпе, при приближении казаков стали поднимать на пиках шапки. Другие просто махали шапками и бросали их в воздух.

— Кажись, наш брат, вольная птица?—заметил Разин.

— Нашей станицы прибыло, батюшка Степан Тимофеич,—кричали издали:—Васька Ус бьет тебе челом всею станицей!

— А! Вася Ус!—обрадовался Разин:—Слыхом слышали, видна птица по полету. Чтож, милости просим нашей каши отведать: а уж заварить заварим! Он раньше меня варить начал.

— Раньше-то, раньше,—подтвердил Ивашка Черноярец,—да только каша ево пожже нашей будет...

Скоро толпы Васьки Уса стали сближаться с толпами Разина. Голытба обнималась и целовалась с голытбою и казаками. Шум, говор, возгласы, топот и ржание коней... Картина становилась еще веселее.

Сошлись и атаманы обеих толп. Васька Ус, проникнутый уважением к славе Разина, хоть был и старше его и летами и подвигами, первый сошел с коня и снял шапку. Это был маленький, худенький человек, из дворовых холопей, уже седой, с усами зерновой величины: один ус был у него выщипан по приказанию его вотчинника за то, что он, будучи доезжачим, раньше своего господина затравил в поле зайца. За этот ус Васька и мстил теперь всем боярам и вотчинникам, и за этот выщипанный ус он и получил свою кличку.

Разин тоже сошел с коня, и оба атамана трижды поцеловались.

— Батюшка Степан Тимофеич! — поклонился Ус, — прими меня и мою голытбу в твое славное войско.

— Спасибо, Василей Трофимыч!

— А я с тобой, батюшка Степан Тимофеич, и в огонь и в воду.

— И на бояр?—улыбнулся Разин

— О, да, на этих супостатов я как с ковшом на брагу!

Ночь перед Царицыным.

Полный диск луны и бледные звезды показывают, что время давно перевалило за полночь. Стан Разина, обогнувший с трех сторон городские стены, давно спит; только от времени до времени в ночном воздухе проносятся караульные оклики:

— Славен город Черкасской,—несется с освещенного луною холма, что высится у обрыва над речкою Царицею.

— Славен город Кагальник!—отвечает ему, голос с другого берега речки Царицы.

— Славен город Курмояр!—певуче заводит голос с теневой стороны предместья.

— Славен город Чиры!

— Славен город Цымла!

Это перекликаются часовые в стане Разина...

Едва первые лучи солнца позолотили кресты и главы царицынских церквей, как казаки двинулись к городу.

Разин и его новый есаул ехали впереди: Разин — с бунчуком в руке, Васька Ус—с обнаженною саблей.

Разинцы подступали к городу двумя лавами: одна шла к тому месту, где пологий вал и городская стена, казалось, представляли наиболее удобств для приступа, хотя эта часть стены и башни были защищены пушками; другая лава подавалась вперед правее, к тому месту, которое казалось неприступным и где находились городские ворота, прочно окованные железом.

Разин попеременно находился то в голове правой лавы, то в голове левой.

Воевода Тургенев, недавно назначенный командиром Царицына, и стрельцы, его подкомандные, повидимому спокойно ожидали приступа, потому что, с одной стороны, уверены были в невозможности взять крепость без стенобитных орудий, с другой—что со дня на день ожидали прибытия по Волге сверху сильного стрелецкого отряда.

Тургеневу и другим защитникам Царицына очень хорошо видно было со стен, как Разин раз'езжал впереди своей, казалось, нестройной толпы...

Правая лава, между тем, достигла городских ворот и остановилась, Разин поскакал туда.

Вдруг в городе, как бы по сигналу, зазвонили колокола во всех церквях. Воевода с удивлением глянул на окружающих.

Со стены, ближайшей к воротам, послышались крики:

— Батюшки! Злодеи в городе! Их впустили в ворота.

Действительно, Разин беспрепятственно вступил в город в голове правой лавы: городские ворота были открыты перед ним настежь.

Навстречу новоприбывшим от собора двигалось духовенство в полном облачении, с крестами и хоругвями.

Между тем на площади расставляли столы для угощения дорогих гостей. Сначала робко, а потом все смелее и смелее начали выходить из своих домов царицынцы и спешили на площадь...

Царицынцы со всех сторон сносили на площадь калачи, яйца, всякую рыбу и горы сушеной и копченой воблы. Мясники резали волов, баранов, и тут же на площади свеживали и потрошили убоину. Другие обыватели разводили костры, жарили на них всякую живность и сносили потом на расставленные столы, а с кружечного двора выкатывали бочки с вином...

Вскоре начался и пир. За почетным столом поместился Разин со своим новым есаулом, а также все казачьие сотники...

— А где воевода? — вспомнил, наконец, Разин. — Подать сюда воеводу!

— Да воевода, батюшка Степан Тимофеевич, заперся со своими пришепниками в башне, — отвечал поп Никифор.

— А! В башне? Так я его оттудова выкурю. Атаманы-молодцы, за мной! — крикнул Разин, вставая из-за стола.

Сотники, пятидесятники и другие казаки, пировавшие поблизости, обступили атамана.

— Идем добывать воеводу! — командовал Разин...

Башня была заперта. На крики и стук в башенную дверь в одну из стенных прорезей отвечали выстрелом...

— А! Щука зубы показывает! — крикнул Яшка Лобатый. — Так я же тебя!..

В несколько минут все было покончено — никого не оставили в живых. Пощадили только воеводу. Его снес с башни Лобатый, словно куль с овсом...

— Скажи, воевода, — обратился Разин к Тургеневу, — за что ты грабил народ? Али тебя царь затем посадил на воеводство, чтоб кровь христианскую пить? Мало тебе своего добра, своих вотчин? Не отпираться — я все знаю: про тебя, про твое неистовство и на Дону уж чутка прошла. Кайся теперь, проси прощенья у тех, кого ты обидел.

Тургенев молчал. Он знал, что его не любили в городе. Он видел, как сбегавшиеся на шум царицынцы враждебно смотрели на него.

— Православные! — обратился Разин к горожанам, — что вы скажете?

Все молчали. Всем казалось страшным говорить смертный приговор беззащитному человеку...

Послышался лошадиный топот. Это прискакал гонец с верхней пристани.

— Стрельцы сверху плывут — видимо-невидимо! — торопливо сказал он.

Разин глянул на Тургенева и махнул рукой. Казаки поняли его жест.

— В воду щуку! К стрельцам на подмогу! — заговорили они.

Один из казаков взял за веревку, которая все еще висела на шее воеводы, и потащил к Волге, к крутому обрыву. Толпа хлынула за ними в глубоком молчании...

Разин между тем делал распоряжения о встрече стрельцов, которые плыли сверху на защиту как собственно Царицына, так и других низовых городов.

Все свое „толпище“, как иногда называли в казенных отписках его войско, он разделил на две части: одну половину, меньшую, под начальством Васьки Уса, он оставлял в городе; с другою, большею, он сам выступил для встречи московских гостей и для усиления отряда, находившегося на его флотилии.

Скоро показались и струги со стрельцами. Издали уже слышно было, что стрельцы шли с полной уверенностью „разнести воровскую сволочь“, и на первом же струге раздавалась удалая верховая стрелецкая песня...

Увидев на берегу небольшой отряд, стрельцы направили свои струги ближе к берегу и открыли по казакам огонь. Казаки ответили им тем же, и началась перестрелка.

По мере усиления огня казаки отступали, все более и более приближаясь к городу. Стрельцы из этого заключили, что казаки не выдерживают огня, и пустились за ними в догонку.

Но в это время со стен города, о взятии которого казаками стрельцы и не подозревали, открыли по стругам убийственный огонь. Пораженные неожиданностью, стрельцы не выдержали артиллерийского огня и повернули от города, чтоб укрыться за островом, но там их встретила такая же убийственная пальба из засады.

Царское войско растерялось, поражаемое с двух сторон—и ядрами и пулями...

Разин велел прекратить пальбу...

Когда струги причалили к берегу, казаки стали считать убитых и насчитали более пятисот трупов. В живых осталось до трехсот стрельцов.

Они вышли на берег и кланялись победителю. Разин сказал им:

— Коли хотите служить мне, оставайтесь со мною, а нет...

— Хотим, хотим, батюшка Степан Тимофеич!—закричали победенные,—мы шли против тебя неволею... <sup>1)</sup>

(Д. Мордовцев.—За чьи грехи?\*)

## К А З Н Ь.

4 июня распространилась в Москве весть, что казаки везут Стеньку. Толпы народа посыпали за город... За несколько верст от столицы поезд остановился. Стенька был еще одет в свое богатое платье: с него сняли его и одели в лохмотья. Из Москвы привезли большую телегу с виселицей. Тогда Стеньку поставили на телегу и привязали цепью за шею к перекладине виселицы, а руки и ноги прикрепили цепями к телеге.

В такой триумфальной колеснице в'ехал атаман воровских казаков в столицу московского государства... Одни смотрели на него с ненавистью, другие—с состраданием. Без сомнения, были такие, что желали бы иного в'езда этому человеку...

<sup>1)</sup> Разиным были взяты: Царицын, Астрахань, Самара и Саратов; под Симбирском войско Разина было разбито, сам он тяжело раненый бежал в Кагальник, где предательски был захвачен казанским атаманом Яковлевым и выдан царскому правительству. Казнен Разин в Москве 6 июня 1671 г.

Привезли прямо в земский приказ, и тотчас начался допрос. Стенька молчал.

Его повели к пытке. Первая пытка был кнут—толстая ременная полоса в палец толщиной и в пять локтей длиною. Преступнику связывали назад руки и поднимали вверх, потом связывали ремнем ноги; палач садился на ремень и вытягивал тело так, что руки выходили из суставов и становились вровень с головой, а другой палач бил по спине кнутом. Тело вздувалось, лопалось, открывались язвы, как от ножа. Уже Стенька получил таких ударов около сотни... Но Стенька не испустил стога. Все стоявшие около него дивились.

Тогда ему связали руки и ноги, продели сквозь них бревно и положили на горящие уголья. Стенька молчал...

Тогда по избитому, обожженному телу начали водить раскаленным железом. Стенька молчал...

Ему начали лить на макушку по капле холодной воды. Это было мучение, против которого никто не мог устоять; самые твердые натуры теряли присутствие духа. Стенька вытерпел и эту муку и не произнес ни одного стога.

Все тело его представляло безобразную, багровую массу волдырей. С досады, что его ничто не донимает, начали Стеньку колотить со всего размаха по ногам. Стенька молчал...

Предание говорит, что, сидя в темнице и дожидаясь последних смертных мучений, Стенька сложил песню—и теперь повсюду известную, где он, как бы в знамение своей славы, завещает похоронить себя на распутии трех дорог земли русской:

Схороните меня, братцы, между трех дорог:  
 Меж московской, астраханской, славной киевской;  
 В головах моих поставьте животворный крест,  
 Во ногах мне положите саблю вострую.  
 Кто пройдет или проедет—остановится,  
 Моему ли животворному кресту помолится,  
 Моей сабли, моей вострой испугается:  
 Что лежит тут вор, удалой добрый молодец,  
 Стенька Разин, Тимофеев по прозванию!..

6 июня его вывели на Лобное место с братом. Множество народа стеклось на кровавое зрелище. Прочитали длинный приговор... Стенька слушал спокойно, с гордым видом.

Его положили между двух досок. Палач отрубил ему сначала правую руку по локоть, потом левую ногу по колено. Стенька при этих страданиях не издал ни одного стога, не показал знака, что чувствует боль. Он (говорит современник) как будто хотел показать народу, что мстит гордым молчанием за свои муки, за которые не в силах уже отомстить оружием...

(Н. Костомаров—„Бунт Стеньки Разина“).

## КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА.

Точно море в час прибоя,  
 Площадь Красная гудит.  
 Что за говор? Что там против  
 Места Лобного стоит?

Плаха черная далеко  
 От себя бросает тень...  
 Нет ни облачка на небе...  
 Блещут главы... Ясен день.

Ярко с неба светит солнце  
 На кремлевские зубцы,  
 И вокруг высокой плахи  
 В два ряда стоят стрельцы.

Вот толпа заколыхалась,  
 Проложил дорогу кнут:  
 Той дороженькой на площадь  
 Стеньку Разина ведут.

С головы казацкой сбиты  
 Кудри черные, как смоль;  
 Но лица не изменили  
 Казни страх и пытки боль.

Так же мрачно и сурово,  
 Как и прежде, смотрит он,—  
 Перед ним былое время  
 Восстает, как яркий сон:

Дона тихого приволье,  
 Волги-матушки простор,  
 Где с судов больших и малых  
 Брал он с вольницей побор;

Как он с силою казацкой  
 Рыскал вихорем степным,  
 И кичливое боярство  
 Трепетало перед ним.

Душит злоба удалого,  
 Жгет огнем и давит грудь,—  
 Но тяжелые колодки  
 С ног не в силах он смахнуть.

С болью тяжкою оставил  
 В это утро он тюрьму:  
 Жаль не жизни, а свободы,  
 Жалко волюшки ему.

Не придется Стеньке крикнуть  
 Клич казацкой голытьбе  
 И призвать ее на помощь  
 С Дона тихого к себе.

Не удастся с этой силой  
Силу ратную тряхнуть,—  
Воевод, бояр московских  
В три погибели согнуть.

„Как под городом Симбирском—  
(Думу думает Степан)—  
Рать казацкая побита,  
Не побит лишь атаман.

„Знать, уж долюшка такая,  
Что не пал казак в бою  
И сберег для черной плахи  
Буйну голову свою.

„Знать, уж долюшка такая,  
Что на Дон казак бежал,  
На родной своей сторонке  
Во поимание попал.

„Не больна мне та обида,  
Та истома не горька,  
Что московские бояре  
Заковали казака,

„Что на помосте высоком  
Поплачусь я головой  
За разгульные потехи  
С разудалой голытьбой.

„Нет, мне та больна обида,  
Мне горька истома та,  
Что изменою-неправдой  
Голова моя взята!

„Вот, сейчас на смертной плахе  
Срубят голову мою,  
И казацкой алой кровью  
Черный помост я полью...

„Ой, ты, Дон ли мой родимый!  
Волга-матушка река!  
Помяните добрым словом  
Атамана казака!..“

Вот и помост перед Стенькой...  
Разин бровью не повел,  
И наверх он по ступеням  
Бодрой поступью взошел.

Поклонился он народу,  
Помолился на собор...  
И палач, в рубахе красной,  
Высоко взмахнул топор...

„Ты прости, народ крещеный!  
Ты прости-прощай, Москва!..“  
И скатилась с плеч казацких  
Удалая голова.

(И. Э. Суриков—„Стихотворения“).

## НАРОДНАЯ ПЕСНЯ <sup>1</sup>.

Ах, туманы вы, мои туманушки,  
Вы туманы мои непроглядные,  
Как печаль-тоска ненавистные!  
Не подняться вам, туманушки, со синя моря долой,  
Не отстать тебе, кручинушка, от ретива сердца прочь!  
Ты возмой, возмой, туча грозная!  
Ты пролей, пролей част-крупен дождик:  
Ты размой, размой земляну тюрьму,  
Чтоб тюремнички-братцы разбежались,  
Во темном бы лесу собиралися!  
Во дубравушке, во зелененькой,  
Почевали тут добры молодцы;  
Под березонькой они становилися,  
На восход богу молилися,  
Красну солнышку поклонилися:  
„Ты взойди, взойди, красно солнышко,  
Над горой взойди над высокою,  
Над дубравушкой над зеленою,  
Над урочищем добра молодца,  
Что Степана свет Тимофеевича,  
По прозванию Стеньки Разина.  
Ты взойди, взойди, красно солнышко,  
Обогрей ты нас, людей бедных,  
Добрых молодцев, людей беглых.  
Мы не воры, не разбойнички,  
Стеньки Разина мы работнички,  
Есауловы все помощнички...“

<sup>1</sup> По предположению Н. Костомарова, историка восстания Разина — эта песня была сложена, после поимки Разина, рассеянными частями его вольницы.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

# Крепостное крестьянство в конце XVIII-го века.— Пугачевщина.

---

### ПРАВА ДВОРЯН.

„Дворянство имеет над людьми и крестьяны своими мужеского и женского полу и над имением их полную власть без из'ятия, кроме отнятия живота и наказания кнутом и произведения над оными пыток. И для того волен всякий дворянин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, в приданые и в рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять, на волю вечно и для промыслу и прокормления на время, а вдов и девок для замужества за посторонних отпускать, из деревень в другие свои деревни по нижеописанному порядку переводить, и разным художествам и мастерствам обучать, мужескому полу жениться, а женскому полу замуж иттить позволять, и, по изволению своему, во услужение работы и посылки употреблять, и всякие, кроме вышеписанных, наказания чинить или для наказания в судебные правительства представлять, и по рассуждению своему прощение чинить и от того наказания освобождать“.

(„О состояниях подданных вообще“. Из проекта Уложения, составл. законодательною комиссией в 1754—1766 гг.).

---

### ТРУД КРЕСТЬЯНИНА.

... В нескольких шагах от дороги увидел я пахущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы.—Первого сорок минут.—Я выехал в субботу.—Сегодня праздник.—Палущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием.—Нива, конечно, не господская.—Соху поворачивает с удивительной легкостью.

— Бог в помощь,—сказал я, подошед к пахарю, который, не оставиваясь, доканчивал зачатую борозду.—Бог в помощь,—повторил я.

— Спасибо, барин, — говорил мне пахарь, отряхая сошник и пернося соху на новую борозду.

— Ты, конечно, раскольник, что пахешь по воскресеньям?

— Нет, барин, я прямым крестом крещусь,—сказал он, показывая мне сложенные три перста.—А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.

— Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенье не спускаешь, да еще в самый жар?

— В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечерок возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы и по ягоды. Дай бог,—крестится,—чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господа молят.

— У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет.—Велика ли у тебя семья?

— Три сына и три дочки. Первенькому-то десятый годок.

— Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?

— Не одни праздники,—и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли: одна лошадь отдыхает, а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.

— Так ли ты работаешь на господина своего?

— Нет, барин, грешно бы было так же работать. У пего на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянешь на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит: ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика! Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимой не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того, что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?

— Друг мой, ты ошибаешься,—мучить людей законы запрещают.

— Мучить? Правда; но, небось, барин, не захочешь в мою кожу...

## ПРОДАЖА ЛЮДЕЙ.

... Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. не в состоянии или не хочет платить того, что занял или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. какими-либо случаями вошел в долг, или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется... Публикуется... „Сегодня, по полуночи в 10 часов, по определению

уездного суда или городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имущество, дом, состоящий в... части, под №. , и при нем шесть душ мужеского и женского пола; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно“.

На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где она производится, стоят неподвижно на продажу осужденные. Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию он раненого своего господина унес на плечах из строя. Возвратясь домой, был дядькой своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросаясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностью своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги, в бытность свою в гвардии унтер-офицером... Старуха 80 лет, жена его, была кормилицей матери своего молодого барина; была его нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своей, ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим прямодушием... Женщина лет в 40—вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животою своим обязан, нежели своей природной матери. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не рада. Кормилица и нянька его были его воспитательницы. Они с ним расстаются, как с сыном... Молодица 18 лет—дочка ее и внучка стариков... Она держит младенца, плачевный плод обмана и насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного... Младенец—твой сын, варвар, твоя кровь... Детина лет в 25, венчаный ее муж—спутник и наперсник своего господина. Зверство и мщение в его глазах. Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно... Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение...

(А. Н. Радищев—„Путешествие из Петербурга в Москву“. Главы: „Любань“ и „Медное“).

### ПОМЕЩИК-ПАЛАЧ.

В 1767 г. в Орловской губ., в селе Шумове, большом имени отставного подпоручика Шеншина, одержимого страстью к мучительству, соорудили, по приказу помещика, особое здание со всеми усовершенствованными приспособлениями для пытки. Главным орудием его была дыба: пытаемый за руки прикреплялся к верхней части дыбы; к ногам

привешивалось бревно. Главный палач наблюдал за ходом истязания, работу исполняли помощники. Шеншин руководил всем ходом действий. Несчастливого мучили утонченно. Бревно сначала само действовало своею тяжестью, потом, по указанию помещика, палачи начинали потряхивать сперва слабо, потом все сильнее, сильнее. Ноги и руки пытаемого вытягивались, кости вывихивались, сухожилия лопались. Тут же велся допрос по вымышленному преступлению. Это была ужасная игра в застенок. После дыбы для потерпевшего готовились новые испытания: ему палили ноги горящим веником, секли кнутом, батогами. Штат застенка у Шеншина был значительный: кроме палача, помощников насчитывалось до 30 человек, так как работы было не мало. Многих помещик пытал, главным образом, сечением, собственноручно: всех жертв его во время следствия было насчитано 59 человек. Шеншин держал при себе священника, обязанностью которого было напутствовать умиравших от истязаний. Один несчастный умер под ударами, получив в течение двух дней 500 ударов кнутом и батогами. Испытав всякого рода мучительства над своими людьми, Шеншин не церемонился и с чужими крестьянами, подвергал пытке и людей свободных... Два года Шеншин предавался своим ужасным развлечениям без всякой помехи. Но в 1769 г. он вздумал предаться им в Москве, где остановился в доме своей матери. Он обвинил своего дворового в краже, устроил наскоро дыбу и подвергнул несчастного пытке. Встрянув несколько раз обвиняемого, Шеншин завинтил ему руку в клетки и начал сечь батогами; после часового сечения он перешел к палкам и две из них обломал о спину залодозренного; не удовольствовавшись этим, взялся за арапник и „езжалые кнуты“. Несчастный не выдержал истязаний и, хотя ему пускали кровь из рук и ног, умер, но перед смертью, под влиянием мучений, оговорил московского купца, будто бы отдал ему на сохранение краденые деньги. Шеншин избил батогами купца и посадил в чулан, но после своего освобождения тот заявил обо всем полиции, и Шеншин очутился под следствием и судом...<sup>1</sup>.

(В. И. Семевский—„Крестьяне в царствование Екатерины II“. Том 1-ый).

## ПЛАЧ ХОЛОПОВ.

О, горе нам, холопам, за господами жить!

И не знаем, как их свирепству служить!

О, горе нам, холопам, от господ и бедство,

А когда прогневишь их, так отымут и отцовское наследство.

<sup>1</sup> Наказания помещиков: „Который помещик своего крепостного человека по винам станет наказывать не с пристойною умеренностью, так что наказанный от сего наказания и побой умрет, таких штрафовать: смотря по делу и по судейскому рассмотрению, тюрьмою или денежным штрафом и наложением церковного покаяния, понеже при таких наказаниях умысла к убийству не признается... А буде при том наказании самого того помещика... не было, а чинено то наказание по приказу его было кем из людей его или из подчиненных, и тогда тот помещик или командир от того убийства свободен, а вышеписанный штраф учинить на тех, кто при том наказании был“. (Проекты Уголовного Уложения 1754—66 гг.).

Что в свете человеку хуже сей напасти?  
 Что сами наживем—и в том нам нет власти.  
 Пройди всю подвселенную—нет такого жителя мерзкого,  
 Разве нам просить на помощь Александра Невского?  
 Знать, прогневалась на нас земля и сверху небо.  
 Неужели мы не нашли б себе без господ хлеба?  
 На что сотворены леса, на что и поле,  
 Когда отнята и та от бедных доля?  
 Зачем и для чего на свет нас породили?  
 Виновны в том отцы, что сим нас наградили:  
 Боярин умертвит слугу, как мерина,—  
 Холопью доносу и в том верить не велено.  
 Неправедны суды составили указ,  
 Чтобы сечь кнутом тирански за то нас.  
 За что нам мучиться и на что век тужить?  
 Лучше согласиться нам царю служить,  
 Лучше нам жить в темных лесах,  
 Нежели быть у сих тиранов на глазах.  
 Ах, когда б нам, братцы, учинилась воля,  
 Мы б себе не взяли ни земли, ни поля,  
 Пошли бы мы, братцы, в солдатскую службу  
 И сделали бы между собой дружбу,  
 Всякую неправду б стали выводить  
 И злых господ корень переводить...

(Народная песня XVIII-го века).

## МАНИФЕСТ ПУГАЧЕВА.

Божию милостию мы, Петр III, император и самодержец  
 Всероссийский  
 и проч., и проч., и проч.

Жалуем сим именным указом, с монаршим и отеческим нашим милосердием, всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственно нашей короны, и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою, вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, во владение землями, лесными, сенокосными угодиями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку, и освобождаем от всех прежде чинимых—от злодеев дворян, градских мздоимцов и судей—крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений. Желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от предписанных злодеев дворян странствие и немалые бедствия.

А как ныне имя наше властью всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим именным указом: кои дво-

ряне в своих поместьях и вотчинах находятся, оных, противников нашей власти, возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с своими крестьянами, по истреблении которых противников и злодеев дворян всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои до века продолжаться будут <sup>1</sup>.

(Дубровин—, Пугачев и его сообщники<sup>4</sup>).

## ПОЖАР РАЗГОРЕЛСЯ.

Зал в Зимнем дворце. Игровые столы с зажженными свечами. С потолка спускается люстра. В отдалении тихая музыка.

Екатерина посреди своих придворных... Все заняты игрою...  
Камер-лакей подает Екатерине письмо...

Екатерина. От Дашкова, с нарочным, из Москвы..

От Дашкова? Но почему так спешно?

(Вскрывает письмо, встает. Музыка прекращается).

Нет, нет! Не верю я своим глазам!

А все-таки... Прошу игру оставить! (Все встают).

Что это? Граф Орлов! Граф Чернышев!...

Яик в огне—там начался мятеж!...

Князь Разумовский, вы—казачий гетман!

Смотрите, что за ужасы нам пишут!

Разумовский. Так эта весть дошла уже сюда?

Екатерина. Восстанье!...

Разумовский. Я к вам являюсь с сердцем сокрушенным:

Да, небольшой раздор там, на Яике,

Действительно, пожаром разгорелся!

Прислал мне оренбургский губернатор

Свидетеля всех этих злодеяний:

Он сам казак, доподлинно все знает

И обо всем вам может донести.

Екатерина. Позвать его!

Разумовский. Поди сюда, Перфильев!

(Перфильев входит).

Перфильев. Вот так палаты! Сколько тут свечей-то!

А господа все в лентах и звездах,

И дамы распрекрасные, и карты...

Ну-ну! Знать прямо в рай попал казак!

Орлов. Смотри, невежа! Здесь императрица!

(Перфильев падает на колени).

<sup>4</sup> Манифест этот был разослан Пугачевым в июле 1774 г., после занятия им Казани

- Екатерина. Перфильев, встань—и расскажи, что знаешь.  
 Ужель стал бунтовать народ мой верный?  
 И кто мое позорит имя? Правда ль,  
 Что пишут нам с Яика?
- Разумовский. Да смотри,  
 Одну лишь правду говори, Данила!
- Перфильев (встает). Всю правду доложу. Там, на Яике,  
 Всего дороже—русская царица,  
 А дешевы там уголья.
- Разумовский. Оставь  
 Казачьи извороты: поименно  
 Все назови нам города, деревни,  
 Где разыгрался буйный тот мятеж.
- Перфильев. О, горе нам! Придется вам, наверно,  
 Для Руси новую составить карту.  
 Где прежде весело цвела деревня  
 С зелеными садами, с кабаком  
 При в'езде или с кузницею звонкой,—  
 Там ничего нет нынче: все сгорело.  
 Брандмейстером меня бы захотели  
 Пожаловать в Москву,—не соглашусь:  
 Там слишком сильно с юга ветер дует.
- Орлов. Пожар мы этот пушками потушим...
- Перфильев. Страна вся одичала, все бегут—  
 Войска, чиновники и воеводы,  
 И на большом тракту московском сотни  
 Теснятся экипажей и телег.  
 Рабочие, крестьяне, рудокопы,  
 Покинувши подземные жилища,  
 Бросаются к восставшим казакам;  
 Колодники свои разбили цепи,  
 Идет повсюду шумное братанье  
 С татаринoм, башкиром, калмыком...  
 Везде, от Гурьева до Илецкой станицы,  
 От Астрахани к самому Макарью,  
 Летают смело вороны степные,—  
 И пусть меня повесят, если нынче  
 Не прилетели уж они в Казань.
- Екатерина. Ужасно!...
- Бибииков. Не правда ли, умеешь  
 Ты в карте разобраться? Вот, гляди:  
 Что значат эти крестики и точки?
- Перфильев (смотря сперва на карту, потом на Бибиикова).  
 Кладбище, граф.
- Бибииков. Для твоего народа!
- Перфильев И для других, кто жить еще желает...

## ПУГАЧЕВЩИНА.

Непонятный, странный шум разбудил Варвару Ивановну. Открыла глаза. К ее удивлению, было уже почти светло. Солнце косыми лучами освещало, из-за угла галлерей, березу и кусты сирени, росшие у окон. Туровцова по приметам поняла, что было уже не менее пяти-шести часов утра. Она отдернула у кровати полог, стала обуваться. Странный шум усиливался. Послышались возгласы, даже как бы крики, сперва у ворот, возле конюшни или амбара, потом ближе.—„Филиппыч на кого-нибудь сердится, кричит“, подумала Туровцова: „верный слуга, а подчас ротозей и несносный горлан!“ — Шум становился громче. Кто-то быстро пробежал, мимо окон, по саду. Раздался крик: „Эй, сюда, ребята, тут!“ — „Уж не пожар ли во дворе?“ пришло в голову Варваре Ивановне: „натопили кухню спозаранку, видно и вспыхнуло!“ — Она вскочила, наскоро накинув на себя капот.

— Арина, Дарьюшка! — крикнула она: — да кто же тут? Скорее, сюда!

Никто в доме не отзывался.— „Что это они, оглохли?“ — подумала Туровцова, с сердцем дергая за шнурок звонка.

Не дождавшись никого и на звонок, она вышла в коридор и оттуда, мимо столовой, в девичью. Все комнаты были пусты. Видя в девичьей на сундуках неубранные постели горничных и валявшиеся по полу их платья и башмаки, она снова сказала себе: „Да, и впрямь, видно, пожар! Все, как оглашенные, выскочили, забыв обо мне!“ — Варвара Ивановна возвратилась в спальню, раскрыла комод, достала из его потайного ящичка сверток с более ценными из золотых и бриллиантовых вещей, сунула его в кошелек с деньгами в карман капота и с облегченной душою, мысля: „Если и впрямь пожар, сберегу хоть это!“ — поспешила к парадному крыльцу. Минув прихожую, она взглянула в окно и отступила. Двор, от ворот до кухонного флигеля и конторы, был полон народа. В распахнутых зипунах, с шапками на затылке, двигалась, горланила и размахивала руками толпа странных, незнакомых людей. Между ними некоторые были с дубинами.—„Где же Филиппыч, приказные? Что это за народ?“ — подумала Туровцова, ближе подходя к окну...

Вправо от палисадника, сквозь деревья, была видна площадка парадного крыльца. На ней, держась за перила, осаждаемый напиравшими на него какими-то оборванцами, стоял бледный, с растрепанными волосами Филиппыч. Он растерянно прижимал руки к груди и, кому-то низко кланяясь, о чем-то говорил. — „Что это? Перед кем он?“ — удивилась Варвара Ивановна, берясь за ручку выходных дверей. Она отворила их, ступила в запертые сени, помедлила и вышла на крыльцо.

Гул толпы, стоявшей перед крыльцом, совершенно оглушил ее. При ее появлении голоса понемногу смолкли.

— Что вам надо? — громко спросила Туровцова, разглядев, в дальних рядах, несколько знакомых мужиков своей деревни. Впереди стояли, в чекменях, какие-то незнакомые казаки.

Мужики молча попятились. Кое-кто снял шапки. Казаки, мрачно потупясь, не двигались с места.

— В чем дело, Филиппыч? Что это здесь за люди?

Приказчик молчал.

— Если вам что нужно, идите в контору; — продолжала Туровцова:— а хотели меня видеть, вот я...

Спокойный, властительный вид уверенной в себе старухи, ее белый длинный капот и седые букли, под высоким с оборками чепцом, подействовали на всех. Толпа дрогнула, несколько осела назад.

— Вы вчера так уверяли меня в преданности, — начала было, обращаясь к своим, Туровцова:— где же ваши заверения, божба?

— Да что на нее смотреть! — раздался голос из задних рядов:— колдовка—чорт! Заговорит!..

Вперед выступил рослый и рыжий, в красном казацком чекмене, бородач. Где-то в толпе вертелась, размахивая руками, и Ульяна.

— Батюшка, наш государь, — сказал он, став у крыльца, — прислал нас, боярыня, к тебе... Волею покорись: отдавай все, что у тебя есть, корми, угощай царево войско!

Туровцова поняла ужас своего положения. Она взглянула на Филиппыча. Тот молча стоял, прислонясь к двери. В разных углах виднелись оттертые от дома испуганные слуги—лакеи, горничные, певчие и повара.

Прошло несколько секунд общего недоумения. Все глаза были устремлены на Туровцову. Она, судорожно перебирая ленты чепца, думала: „Кончено!.. Неужели же уступить, отдать этим насильникам дом, кладовые и все? Или следует противиться им, попробовать усоветить их, уговорить? Не успел известить губернатор, погубил льстивый немец! Перехвачен, видно, и последний гонец!“

За двором в это мгновение, на церкви, раздался звук набата...

От деревни ко двору бежали остальные, запоздавшие, туровцовские мужики.

— Ну-ка, ребята, вперед! — об'явил, взбираясь по ступенькам, рыжий казак, — бери ее, хрычовку, вяжи!

— Но вы же вчера, вы же... одумайтесь! — вскрикнула из всех сил Туровцова:— вы—христиане... Господь накажет!

— В Сибирь, в белую Арапию нас сошлешь? — визгнул чей-то женский голос:— ну, это уж погоди!

— Ура! — гаркнули чужие и свои:— чего на ее глядеть? Ура!

Толпа навалилась на крыльцо. Филиппыча и конторщика сбросили с площадки через перила. Испуганная, бледная Туровцова исчезла среди серых зипунов, чекменей, бараньих шапок и в кучу сбившихся плеч и спин. Раздался неистовый женский вопль. В воздухе бессильно мельнули белые и худые руки и, с развешенною, тощею косою, седая голова... Все смешалось в кучу. Верблюжки кафтаны, сермяги и чекмени, обрушив перила, разделались. Часть толпы бросилась к палисаднику, ограждавшему дом с этой стороны. Рвали из рук в руки сверток, выпавший из кармана старухи. Остальные ломались в дубовую, кем-то изнутри снова запертую, огромную дверь сеней. Дверь затрещала и рухнула. Толпа, колеблясь и напирая друг на друга, хлынула в сени, оттуда в прихожую и в залу. Через садовый балкон в гостиную ввали-

лась другая толпа. В разных концах дома слышались отчаянные, молившие о пощаде, крики. Здесь и там полилась кровь. Падали с раздробленными черепами сбежавшиеся последние защитники барского добра. Дом наполнился треском разбиваемых шкафов, комодов, баулов и сундуков.

(Г. П. Данилевский — „Черный год“).

\* \* \*

— Что это за птица, Грицко?—сказал урядник маленькому казаку,— что это за кликуша?... Отчего ревет, как вол? Уж не он ли здешний господин?

— А бис его знает!—отвечал Грицко,—говорит, что приказчик... Ведь от этих москалей без плетки толку не добьешься... Я его нашел под лавкой в кухне и насили выкурил оттуда головешкой.

Улыбка показалась на устах урядника, когда он заметил опаленные волосы и брови несчастного пленника, который, не спуская с него глаз и перестав кричать, казалось, старался на лице казака прочесть свой приговор.

— Так ты приказчик?—спросил Орленко, обратясь к нему грозно.— Что же ты молчишь, собачий сын? Я тебе этим кинжалом расцеплю зубы...

— Виноват! Я приказчик...

— А! Ты виноват?—сказал Орленко, наморщив брови и желая над ним позабавиться:—в чем же ты виноват? Сейчас признавайся... а не то, видишь!—Он пальцем указал на свои пистолеты.

— Батюшка! Нет, я ни в чем не виноват! Ваше ж благородие, помилуй!

— Ты у меня запираешься!

— Виноват!—опять заревел приказчик,—сжальтесь! Я от страху не знаю, что говорю... Я приказчик... Если бы я знал, где господа,—так я бы сам их выдал нашему батюшке! Я бы сам полюбовался на их виселицу... Я бы сам своими руками с них кожу содрал с живых...

— Будто бы! Точно ли?... Эй, ребята! Я замечаю, что это—плут большой руки.

— Ваше превосходительство!—сказал приказчик, привстав с большою уверенностью,—извольте спросить у мирян: любил я господ своих?

— Эй, вы! Правду ли он говорит?

Мужики переминались, почесывали затылок, кашляли.

— Видишь, молчат!—сказал насмешливо Орленко.—Да я подозреваю... Уж не сам ли ты Палицын?... Борода-то мне подозрительна!.. Эй, мужички! Как вы думаете? Ха, ха, ха!

Увы! Народ молчал

Приказчик бросил отчаянный взгляд кругом и, не встретив нигде сожаления, прикусил губу и, не зная, что делать, закричал:

— Ах вы, нехристи, басурманы! Что вы молчите, разве я не приказчик Матвей Соколов? Разве в первый раз вы меня видите? Что это

вы морочите честных людей? Ах вы, каналы! Разве вы забыли, как я вас порол... Или еще хочется?..

Лукавые мужики покашливали; наконец, один из них, покачав головой, молвил: „Пороть-то ты нас, брат, порол... грешно сказать. Лучшего мы от тебя ничего не видели... Да теперь-то ты этим, любезный, не настращаешь... Всею свое время... Выше лба уши не растут... А теперь... не хочешь ли теперь на себе примерить?“

— Что же? Ты признаешь его за барина своего?—спросил Орленко.

— Барин-то он не совсем барин,—сказал мужик,—да яблоко от яблони не далеко падает; куда поп—туда и попова собака!

— Что ж я буду с ним делать?

— А что хочешь, кормилец! Нам все равно... как присудишь...—заговорило несколько голосов.

Приказчик упал в ноги уряднику и заревел: „Смилуйся, отец родной, золотой ты мой, серебряный... Что я тебе сделал? Неужто наш батюшка велит губить верных слуг своих?“

— А на что ему таких трусов, таких баб, как ты? Вашей братьею только улицы мостить... Эй, мужички, возьмите его себе... Я вам его дарю на живот и на смерть, делайте из него, что хотите!

В одно мгновение мужики его окружили с шумом и проклятиями; слова: „смерть“, „виселица“ отделялись по временам от общего говора... Все глаза налились кровью, все кулаки сжались, все сердца забились одним желанием мести; сколько обид припомнил каждый, сколько способов придумал каждый заплатить за них сторицею!..

(М. Ю. Лермонтов—„Вадим“).

## ПУГАЧЕВ.

Я вошел в избу или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены были оклеены золотою бумагой; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками—все было, как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шалке... Около него стояло несколько главных его товарищей... Пугачев узнал меня с первого взгляда...

— А, ваше благородие!—сказал он с живостью.—Как поживаете? За чем бог принес?

Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили.

— А по какому делу?—спросил он меня.

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали.

— Кто из моих людей смеет обижать сироту?—закричал он.—Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори, кто виноватый?

— Швабрин виноватый,—отвечал я.—Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел больную у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина!—сказал грозно Пугачев.—Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить,—сказал Хлопуша хриплым голосом.— Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уже оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники, не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать!—сказал старичок в голубой ленте.—Швабрина сказнить не беда, а не худо и господина офицера допросить порядком, зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку? Мне сдается, что его милость подослана к нам от оренбургских командиров...

Пугачев заметил мое смущение.

— Ась, ваше благородие?—сказал он мне, подмигивая.—Фельд-маршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что нахожусь в его власти и что он волен поступить со мною, как ему будет угодно.

— Добро,—сказал Пугачев.—Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу,—отвечал я:—все благополучно.

— Благополучно?—повторил Пугачев.—А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду, но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь,—подхватил старичок,—что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину и то за честь, а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той виселице повесь и этого молодца, чтобы никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч,—сказал он ему.—Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь! Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь...

— Да ты что за угодник?—возразил Белобородов.—У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,—отвечал Хлопуша,—и я грешен.. Но я губил супротивника, а не гостя: на вольном перепутье да в темном лесу, не дома, сидя за печью...

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев, — полно вам ссориться... Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому, а?

— Она невеста моя,—отвечал я Пугачеву.

— Твоя невеста!—закричал Пугачев.—Что же ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на твоей свадьбе попируем!—Потом, обращаясь к Белобородову:—Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старье

приятели, сядем-ка, да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем...

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот стояла кибитка, запряженная тройкой татарских лошадей... Пугачев весело со мной поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись: „В Белогорскую крепость!“—сказал Пугачев широкоплечему татарину, правящему тройкой... Лошади тронулись, колокольчик загредел, кибитка полетела... Народ на улице останавливался и кланялся в пояс...

Легко можно представить, что я чувствовал в эту минуту... Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— Что говорят обо мне в Оренбурге?

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать, дал ты себя знать...

— Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?..

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо остро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою!

— То-то!—сказал я Пугачеву.—Не лучше ли тебе отстать от них самому заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?..

— Нет,—отвечал он...—Буду продолжать, как начал. Как знать? Авось, и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай,—сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением.— Расскажу я тебе сказку, которую в ребячестве рассказывала мне старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворога: „Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-всего только тридцать три года?“—„Оттого, батюшка,—отвечал ему ворон,—что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной“. Орел подумал: давай, попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот, завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: „Нет, брат ворон,—чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой крови; а там—что бог даст!“—Какова калмыцкая сказка?..<sup>1</sup>

(А. С. Пушкин—„Капитанская дочка“).

<sup>1</sup> Гринкин дает образ Пугачева вне социальной обстановки, он изображает его в романтическом освещении—героем и авантюристом. Пользуясь приведенным отрывком при занятиях, следует помнить это.

## КАЗНЬ ПУГАЧЕВЦЕВ.

Мы достигли середины реки... Вдруг гребцы начали шептаться между собою. „Что такое?“—спросил я, очнувшись. — „Не знаем; бог весть“,—отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дожидаться. „Что бы это было?“—говорили гребцы,—парус не парус, мачта не мачта“. Луна зашла за облако. Плывущий призрак сделался еще темнее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог его различить. Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту. Три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников. По моему приказанию, гребцы зацепили плот багром, и лодка моя толкнулась о плывшую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Полная луна озарила обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой—русский крестьянин сильный и здоровый малый, лет 20-ти. Взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька... Над ними прибита была черная доска, на которой белыми буквами было написано: „Воры и бунтовщики“. Гребцы равнодушно ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот плыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя пристала к высокому и крутому берегу...

(А. С. Пушкин—„Капитанская дочка“).

## ПОСЛЕ РАЗГРОМА ВОССТАНИЯ.

Когда Михельсон сделал свое дело и когда не с кем было сражаться, к Царицыну и выше Царицына нагрянули генералы с запоздавшими войсками... Они уже распоряжались с обезоруженными врагами, вешали изменивших, ловили беглых... Все начало стягиваться к Царицыну. Город переполнился народом, войсками, ранеными, больными, ограбленными. Один Михельсон пригнал в Царицын около девяти тысяч человек... Начался голод... Каждый день в городе казни, экзекуции, гонка сквозь строй пойманных с оружием, или беглых солдат... Ни лошадям, ни людям есть нечего. Народ питался жолудями. Боялись возмущения в городе.

Партии по сто и двести человек связывали канатами, как огромные своры собак, и гнали по разным дорогам. Эти партии перемирили за дорогу; мертвых бросали по деревням, по степям, при больших дорогах...

Долго потом еще являлась из побегов голытьба, принося повинную... На допросах этих повинившихся открывались целые драмы, которых доследовать до конца не было ни времени, ни возможности. Тут уже главную роль играла плеть. Ограбленные или напуганные только, но спасшиеся под'ячие, канцеляристы и воеводы мстили и за свой страх,

и за свои имущества, и за убитых родных, знакомых. Чиновники мстили за беспорядки, причиненные мятежниками в канцелярских делах и в архивах: им нужно было заводить новые дела, подшивать растрепанные бумаги, требовать копии...

Остроги, а где недоставало острогов—землянки, сараи и амбары долго переполнены были народом, ждавшим тяжелого наказания... Долго еще читали связанным колодникам: „По учинении вам жесточайшего плетью наказания и утверждения целованием креста и евангелия в возвращении себя в должную верность и в безмолвственное законной государыне повиновение и в послушание учрежденным от ее величества начальникам и собственным помещикам имеете вы возвратиться в дома свои“. Долго еще чинилось это жесточайшее наказание, и долго еще по всем дорогам попадались своры злосчастных арестантов, навязанных на длинные канаты и с трудом влекущих на себе ручные и ножные колодки... Крестьян у помещиков осталось на половину: большая часть пропала без вести, перебита, перемерла, много пошло в рудники. В каждой семье недоставало кого-нибудь. Поля остались не вспаханными, не засеянными. Подати не заплачены...

„Прошло несколько месяцев после казни Пугачева, а все дороги, пролежавшие по местностям, пострадавшим от мятежа, все еще оставались не безопасными от множества бродивших по разным направлениям шаек (говорит очевидец). Но вслед затем другой бич посетил страну и распугнул эти шайки... Всеобщий неурожай, охвативший страну более чем на сто немецких миль в окружности, вызвал страшный голод между крестьянами. Проселочные дороги были покрыты несчастными, которых медленная походка и обезображенные голодом лица не могли не возбуждать живейшего сострадания... Многие из этих несчастных валялись мертвыми по большим дорогам, в то время как их бесчеловечные помещики в роскоши и полной неге проживали по губернским городам и в столице, проигрывали такие суммы, десятой доли которых достаточно было для того, чтобы спасти от ужасной голодной смерти множество семейств. Многие помещики были до того жестоки, что охотнее заботились о своих гончих собаках, чем о крестьянах, кровавому поту которых они большей частью обязаны были тем благосостоянием и богатством, которое расточали таким непростительным образом“...

(Д. Мордовцев—„Самозванцы и понизовая вольница“. Том I-ый).

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

# Крепостной быт в первую половину XIX века.

### ОБРАЗЦОВЫЙ ХОЗЯИН.

Луг еще влажен, и работа идет споро; косы быстро, в такт, мелькают в воздухе, издавая резкий свист. Трава нынче выросла хорошая; густые и плотные валы ложатся один возле другого, радуя сердце образцового хозяина. Он подходит то к одному, то к другому валу, перевернет палкой и посмотрит, чисто ли скошено, нет ли махров. Ничего, кажется, все исправно.

— Чище косите! Чище! Чтобы не было ни махров, ни огрехов! Всякий огрех на спине!—кричит он вслед косцам.

Затем он укладывает коннушку скошенной травы, постилает сверху обрывок старой клеенки и садится, закуривая коротенькую трубочку...

Попыхивает он из трубочки, а глазами далеко впереди видит. Вон, Митрошка словно бы заминаться стал, а Лукашка так и вовсе попусту косою машет. Вскакивает Арсений Потапыч и бежит.

Как у образцового хозяина, у него все приведено в систему. За первую вину—пять ударов нагайки, за вторую—десять, за третью—пятнадцать, а за четвертую—не прогневайся, счета не полагается.

Раздается крик, и через минуту все приходит в порядок...

Покуда он отдыхает, и на лугу царит глубокий сон. Надобно сказать, что в имени Пустотелова заведен такой порядок, что крестьянам разрешается топить печи только по воскресеньям. Распоряжение это сделано под предлогом устранения пожарных случаев, но, в сущности, для того, чтоб ни одной минуты барской работы, даже для приготовления пищи, не пропадало, так как мужики и бабы всю неделю ежедневно, за исключением праздников, ходят на барщину. Поэтому крестьяне горячей пищей пользуются только по праздникам, а в будни довольствуются исключительно тюрей из черного хлеба, размоченного в воде.

Вообще, заведенные Арсением Потапычем порядки крайне суровы. Он всецело овладел рабом в свою пользу и дает ему управляться у себя лишь урывками. По праздникам (а в будни только по ночам) мужики и бабы вольны управляться у себя, а затем, пока тягловые рабочие томятся на барщине, мальчики и девочки работают дома легкую работу: суют сено, вяжут снопы и проч. Почти нет той минуты в сутках,

чтобы в последовских полях не кипела работа; три часа в течение дня и немногим более в течение ночи—вот все, что остается крестьянину для отдыха. Но, сверх того, Пустотелов и прихотлив. Он требует, чтоб мужичок выходил на барщину в чистой рубашке, чтоб дома у него было все как следует и хлеба доставало до нового, чтоб и рабочий скот и инструмент были исправные, чтоб он по крайней мере через каждые две недели посещал храм божий (приход за четыре версты) и смотрел бы весело. Он желает, чтоб про него говорили, что он не только образцовый хозяин, но и попечительный распорядитель.

(М. Е. Салтыков—„Пошехонская старина“).

## ЦАРСКИЙ СУД.

...А тут чувствительные сердца и начнут удивляться, как мужики убивают помещиков с целыми семьями...

В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую предупредить легко, а остановить вряд ли возможно будет...

Во время таганрогской поездки Александра, в имении Аракчеева <sup>1</sup>, в Грузине, дворовые люди убили любовницу графа <sup>2</sup>; это убийство подало повод к тому следствию, о котором с ужасом до сих пор, т.-е. через семнадцать лет, говорят чиновники и жители Новгорода.

Любовница Аракчеева, шестидесятилетнего старика, его крепостная девка, теснила дворню, дралась, ябедничала, а граф порол по ее доносам. Когда всякая мера терпения была перейдена, повар зарезал ее. Преступление было так ловко сделано, что никаких следов виновника не было.

Но виновный был нужен для мести нежного старика; он бросил дела всей империи и прискакал в Грузино. Среди пыток и крови, среди стога и предсмертных криков, Аракчеев, повязанный окровавленным платком, снятым с трупа наложницы, писал к Александру чувствительные письма, и Александр отвечал ему: „Приезжай отдохнуть на груди твоего друга от твоего несчастья“. Должно быть, баронет Виллие был прав, что у императора перед смертью вода разлилась в мозг. Но виновные не открывались...

Тогда, совершенно бешеный... Аракчеев явился в Новгород, куда привели толпу мучеников. Желтый и почернелый, с безумными глазами и все еще повязанный кровавым платком, он начал новое следствие; тут эта история принимает чудовищные размеры. Человек восемьдесят были захвачены вновь. В городе брали людей по одному слову, по малейшему подозрению; за дальнейшее знакомство с каким-нибудь лакеем Аракчеева, за неосторожное слово. Проезжие были схвачены и брошены в острог; кушцы, писаря ждали по неделям в части допроса. Жители

<sup>1</sup> Граф Аракчеев (1768—1836)—всесильный временщик при Александре I.

<sup>2</sup> Анастасия Минкина.

прятались по домам; боялись ходить по улицам; о самой истории никто не осмеливался поминать...

Губернатор превратил свой дом в застенок; с утра до ночи возле его кабинета пытали людей.

Старорусский исправник, человек привычный к ужасам, наконец изнемог, и, когда ему велели допрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него неостало сил. Он взошел к губернатору и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вскочил со своего места и, бешеный от злости, бросился на исправника с поднятым кулаком: „Я вас сейчас велю арестовать, я вас отдам под суд, вы изменник!“ Исправник был арестован и подал в отставку...

Женщину пытали, она ничего не знала о деле, однакож умерла.

Да и „Благословенный“ Александр умер. Не зная, что будет далее, эти изверги сделали последнее усилие и добрались до виновного; его, разумеется, приговорили к кнуту. Среди торжества следопроизводителей пришел наказ Николая отдать их под суд и остановить все дело.

Губернатора было велено судить сенату,—оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации; под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева<sup>1</sup>,—под него подошел этот мерзавец. Через два-три года он же был судим в Тамбове за злоупотребление властью в своем имени; да, он подошел под манифест Николая—он был ниже его.

(А. И. Герцен—„Былое и Думы“. Часть IV, гл. 27).

Ах, тошно мне  
И в родной стороне!  
Всё в неволе,  
В тяжкой доле,  
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ  
Будет рухлядью господ,  
И людьми,  
Как скотами,  
Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабилл,  
Кто им барство присудил,  
И над нами,  
Бедняками,  
Будто с плетью посадил?

По две шкуры с нас дерут,  
Мы посеем, они жнут.  
И свобода  
У народа  
Силой бар задушена.

А что силой отнято,  
Силой выручим мы то,  
И в приволье,  
На раздолье,  
Стариною заживем.

А теперь—господа  
Грабят нас без стыда,  
И обманом  
Их карманом  
Стала наша мошна.

Баре с земским судом  
И с приходским попом  
Нас морочат  
И волочат  
По дорогам и судам.

А уж правды нигде  
Не ищи, мужик, в суде.  
Без синюхи  
Судьи глухи,  
Без вины ты виноват.

<sup>1</sup> Декабристы.

Чтоб в палату дойти,  
Прежде сторожу плати,  
За бумагу,  
За отвагу,  
Ты за все, про все давай!

Там же каждая душа  
Покривится из гроша.  
Заседатель,  
Председатель—  
Заодно с секретарем.

Нас поборами царь  
Иссушил, как сухарь;  
То дороги,  
То налоги—  
Разорили нас вконец.

А до бога высоко,  
До царя далеко,—  
Да мы сами  
Ведь с усами,  
Так мотай себе на ус<sup>1</sup>.

А под царским орлом  
Ядом потчуют с вином:  
И народу  
Лишь за воду  
Велят вчетверо платить.  
Уж—как худо на Руси,  
Что и боже упаси!  
Всех затеев  
Аракчеев  
И всему тому виной.  
Он царя подстрекнет,  
Царь указ подмахнет;  
Ему шутка,  
А нам жутко,  
Тошно так, что ой, ой, ой!..

(К. Ф. Рылеев).

### „БЛАГОДУШНЫЙ“ ПОМЕЩИК.

Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волнение.

— Чьи это куры? Чьи это куры?—закричал он.—Чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил! Юшка побежал.

— Что за беспорядки,—твердил Мардарий Аполлоныч,—это—ужас!

Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых, все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал, как иступленный: „Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры,

<sup>1</sup> К. Ф. Рылеев—первый по времени в России революционный поэт, один из вождей восстания 14 декабря 1825 г. (р. в 1795 г., казнен в 1826 г.). Помещенная здесь песня,—наиболее типичная из песен этого рода, написанных Рылеевым,—имела широкое распространение среди крестьянства и армии. Декабрист Н. А. Бестужев говорит по этому поводу: „Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни.. но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем“.

чьи это куры?—Наконец, одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрепанная и с хворостиной в руке.

— А, вот чьи куры!—с торжеством воскликнул помещик.—Ермилы кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал... Небось, Параша не выслал,—присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся. —Эй, Юшка! Брось куриц-то, поймай-ка мне Наталку.

Но, прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки,—откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и несколько раз шлепнула бедняжку по спине...

— Вот так, э, вот так,—подхватил помещик:—те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья,—прибавил он громким голосом и со светлым лицом обратился ко мне:—Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался.

Мы остались на балконе. Вечер был, действительно, необыкновенно хорош.

Нам подали чай.

— Скажите-ка,—начал я,—Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены вон там, на дороге, за оврагом?

— Мои... а что?

— Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь, сажалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые конопляники отняли?

— А что будешь делать с размежеванием?—отвечал мне Мардарий Аполлоныч.—У меня это размежевание вот где сидит (он указал на свой затылок). И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники от них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал,—уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой, по-старому поступаю. По-моему, коли барин—так барин, а коли мужик—так мужик... Вот что.

На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.

— Да притом,—продолжал он,—и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите... О, кровь, кровь—великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал и так рассовывал кой-куды, да не переводятся,—что будешь делать? Плодущи проклятые.

Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только-что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак

не втягивает в себя чай,—но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: „Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!“

— Это что такое?—спросил я с изумлением.

— А там по моему приказу шалунишку наказывают... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот, что намедни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоновича.

— Что вы, молодой человек, что вы?—заговорил он, качая головой.—Что я злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любый да наказует, вы сами знаете.

Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его.

— Что, брат, тебя сегодня наказали?—спросил я его.

— А вы почему знаете?—отвечал Вася.

— Мне твой барин сказывал.

— Сам барин?

— За что же он тебя велел наказать?

— А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету—ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь.

— Пошел!—сказал я кучеру. „Вот она, старая-то Русь!“ думал я на возвратном пути.

(И. С. Тургенев—„Два помещика“).

## БАРЩИННАЯ.

Беден, нечесан Калинушка,  
Нечем ему щеголять.

Только расписана спинушка,  
Да за рубахой не знать.

С лаптя до ворота

Шкура вся вспорота,

Пухнет с мякны живот.

Верченый, крученый,

Сеченый, мученый,

Еле сердечный бредет.

В ноги кабатчику стукнется—

Горе потопит в вине,

Только в субботу аукнется

С барской конюшни жене...

(Н. А. Некрасов—„Кому на Руси жить хорошо“).

## ВЕСЕЛАЯ.

— Кушай тюрю, Яша:  
Молочка-то нет.

— Где ж коровка наша?

— Увели, мой свет.

Барин для приплоду

Взял ее домой.

Славно жить народу

На Руси святой!

— Где же наши куры?—  
Девочки орут.

— Не орите, дуры,

С'ел их земский суд;

Взял еще подводу

Да сулил постой.

Славно жить народу

На Руси святой!

Разломило спину,

А квашня не ждет,

Баба Катерину

Вспомнила—ревет.

В дворне больше году

Дочка... нет родной.

Славно жить народу

На Руси святой!

Чуть из ребятишек,

Глядь—и нет детей:

Царь возьмет мальчишек,

Барин—дочерей.

Одному уроду

Вековать с семьей.

Славно жить народу

На Руси святой!

(Н. А. Некрасов—„Кому на Руси жить хорошо“).

## ДЕТИ-МУЧЕНИКИ.

В передней сидят два мальчика, Ваня и Миша, и ждут барыню из гостей. Скоро полночь, а барыня все не едет; сальный огарок оплыл и нагорел; тусклый и мелькающий свет его освещает только лица двух собеседников да стол, перед которым они сидят; вверху и по углам темно. В доме тихо, словно в гробу...

— Холодным-то ножом, чай, больно?—спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза.

— Это только раз больно, а потом ничего,—отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове.

— А помнишь, как повар Михай резался! Тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! А как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то...

— Ну, что ж, что повар Михай! Михай и вышел дурак! Потом, небось, вылезился, а для чего вылезился? Все одно наказали дурака; а мы уж так полыснем, что не вылезиться!

— Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?

— Когда не приготовил! Еще с утра выточил! Только ты у меня смотри, чур, не отступаться!

Миша вздохнул потихоньку; глаза его остановились на нагоревшей свечке.

— Что, разве снять со свечки... в последний раз!—сказал он слегка взволнованным голосом.

— Что с нее снимать-то? А я тебе вот что скажу, Мишутка, коли мы это теперича сделаем, так беспременно в рай попадем, потому

теперь мы маленькие и грехов у нас нет! А вместо нас попадет в ад Катерина Афанасьевна!..

— Катерину-то Афанасьевну, стало быть, мучить будут?

— Еще как, брат, мучить-то, не роди ты, мать-земля! Первым делом на железный крюк за ребро повесят, вторым делом заставят голыми ногами по горячей плите ходить, потом сковороду раскаленную языком лизать, потом железными прутьями по голой спине бить... да столько, брат, мучениев, что и сказать страсти!

— А ведь она не стерпит, Катерина-то Афанасьевна?

— Что ей, чорту экому, сделается? Стерпит! Да там, брат Мишутка, на это не посмотрят! Там, брат, терпи! А не можешь терпеть—все-таки терпи!

Разговор на минуту смолк. Вдруг на улице завyla собака, завyla жалобно и тоскливо...

— Ишь ты, Трезорка покойника почувал!—сказал Миша изменившимся голосом.

— Ну, что ж, что почувал! Известно, почувал! А ты, небось, уж и трусу спраздновал!..

— А, что, Ваня, кабы утопнуть?—спросил вдруг Миша.

— Чудак ты, Мишутка! Ты мне Расскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, лето нынче, что ли?

— Да, нынче вода холодная... чай в воду-то бултыхнешься, так и не стерпишь!

— Вот то-то и есть! Утопнуть-то—надо в прорубь лезти, да еще барахтаться станешь, вылезешь, пожалуй; что одних мучениев тут при-мешь,—пойми ты. А с ножом ловко: ножом как полыснул себя раз—тут тебе и конец! Разумеется, надо крепче!

— И бить никто больше не будет!—пропептал Миша.

— И бить не будет! Возьмут твою душу ангелы и понесут к престолу божьему!

— А бог—ничего?

— А бог спросит: зачем, рабы божии, предела не дождались? зачем, скажет, вы муку безо времени приняли? А мы ему все и скажем!

— Мы все скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тошнехонько стало, как нас день-деньской все били... все-то били, все-то тиранили!...<sup>1</sup>.

(М. Е. Салтыков—„Ваня и Миша. Забытая история“).

<sup>1</sup> Этот рассказ основан на действительном событии: одна рязанская помещица своим тиранством довела двух своих крепостных мальчиков (10—12 лет) до того, что, по взаимному согласию, они зарезали друг друга столовыми ножами. (Егоров—„Воспоминания о М. Е. Салтыкове“).

## П Ы Т К И.

Мы вышли из куртин на внутреннюю, шедшую очевидно посреди сада, широкую липовую аллею и сейчас же увидели на ней четырех женщин или девушек в каком-то странном уборе, в каких-то хомутах, с цепями на шее, чистивших скребками дорожку.

— Это что такое?—делая удивленное лицо и всматриваясь в них, воскликнул отец.

— Ослушницы-с. Противницы. Господской воле не покоряются,—со вздохом и скороговоркой ответил управляющий.

Что дальше говорил ему отец, что тот отвечал отцу, я уж не слушал. Я устался на этих несчастных и оторваться не мог от них. Женщины эти, или девушки, были прикованы на цепи к громадным чурбанам, дубовым обрубкам и волочили их за собой, ухватившись обеими руками у хомута за цепь, на которой они как бы сидели верхом, так как она проходила у них между ног...

— Все-таки это жестоко,—услыхал я, говорил отец.

— Уж такова господская воля...

— И давно это они у вас в таком виде?

— Да с месяц уж, пожалуй, будет. Две сдались, покорились...

— Ведь, Назару Павловичу-то уж, пожалуй, стыдно, ведь он старик...

— Об этом уж мы не смеем рассуждать... Их приказание должны исполнять,—с подобострастием отвечал управляющий...

— Ну, а на ночь вы их куда же деваете?—спросил отец.

— Это кого? Ослушниц?—переспросил управляющий.

— Ну, да.

— Да теперь, потому что как лето, тепло-с, в сарай на ночь за-пираем.

— Расковываете их на ночь?

— Нет-с, не приказано.

— Это дворовые девушки все?

— Точно так-с. Кузнецца Филиппа одна, другая садовника, а еще две—сестры, Ивана-доезжачего дочери.

— Жестоко, жестоко,—повторил отец...

Вдруг одна девушка, высокая, с черной косой, отбросила от себя в сторону скрябку, ухватила обеими руками у самой шеи за цепь, истерически, как-то не по-человечески, нечеловеческим голосом взвизгнула и с криком: „Не достанусь я тебе, не владеть мною тебе, злодею!“—шарахнулась о-земь и начала биться, как в припадке. Она рвала на себе одежду, царапала руками грудь себе, лицо...

— Барин, предай меня смерти!.. Или отпусти меня, я сама пойду удавлюсь, сама наложу на себя руки!—вскричала она к отцу.

Я видел, как он в ужасе смотрел на нее, ничего ей не говоря...

## КРЕПОСТНОЙ ЧЕЛОВЕК И БАРСКАЯ СОБАКА.

— Ну, хорошо, — сказал он, не поворачиваясь, — а с-под Илевого заводу барина Панкратова слышали?

Лене было знакомо и это имя...

— Он очень любил животных, — сказала она на вопрос ямщика.

— Вот, вот. Удивительное дело: животную тварь любил, а людей тиранил.

— Люди сделали ему много зла, — сказала Лена мягко.

— Люди? Нет, люди ничего. Жена сбежала, это верно. Крестьянку взял, крепостную, а она, значит, с офицером укатила. Правда, с этих пор озверел. „Я, — говорит, — ее из низости вывел... Когда так, — говорит, — то я всему ее племю себя покажу... Хуже собак мне мужики теперь“... Ну, и верно, что хуже собак сделал. Псарню построил, в роде господского дома. И которые были у него самые любимые десять сук и принесут, напримерно, щенят, и сейчас он раздает их по крепостным женщинам. Которая, понимаешь, принесла ребеночка и имеет в грудях молоко, — сейчас ей собачары приносят щененка, стало быть, для воспитания...

— Неправда! — вскрикнула Лена, точно ужаленная.

— Убей меня бог, — равнодушно вставил ямщик и опять обратился к рассказу. — Ты вот послушай, что дальше-то, как господь-батюшка распорядился: через этого человека всем православным воля вышла... Вот был у этого барина крепостной человек на оброке, Алексеем звали. Уж вот был мужик разумный, да красивый, да удачливый, просто по всей вотчине молодец первейший! И имел у себя молодую жену. Он-то красив да пригож, а она и того лучше, а поищи этаких двух по всему свету белому, ая и не сыщешь. Имуществом тоже бог не обидел, из хороших семей оба, достаточные. Ну, только и имел этот Алексей в себе маленечко гордость. Вот приходит ему, Алексею, в дальний извоз иттить, а жена у него остается на сносях. Делать нечего. Идет он с извозом, знаешь, по степе. Идут; ночное дело, возы скрипят, обозчики, разный народ, со всех, может, мест, рядом идут да промежду себя разговор ведут. Известно, — дело дорожное, как и мы вот сейчас; где какие, напримерно, народы проживают, где какой обиход, ну и все такое прочее. А он, Алексей, идет с возами, все молчит, что туча. Вот у него другие и спрашивают: „Ты это что же, молодец, в товарищах идешь, а с нами, товарищами, разговаривать не хочешь? Аль сам об себе высоко понимаешь, а нами брезгуешь?“ — „Нет, — говорит, — товарищи милые, сам я об себе не высоко понимаю и вами, товарищами, не брезгую, а то я, — говорит, — невесел по степе иду, что дома жену оставил, а помещик у нас больно лют. Бьют, колотят, только душу не вынимают. Ну, да это все ничего, до меня бы касающее, а вот что завел дурную моду — щенят женскими грудями воспитывать“. Вот и стали те люди, по степе идучи, то дело обсуживать. А в степе-то, знаешь, все вольные люди: который у себя дома может и крепостной, и тот в степе вольным казаком об'яв-

ляется. Попадается, конечно, и служивый народ, отставные солдаты. Вот и говорят те люди Алексею: „Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покуль свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли барский закон стать выше божьего?“

— Вот и запади опять те речи Алексею. Идет с обозом, дорога под ним горит, а сам все думает: нет закону да и нет закону. Хорошо. Приезжает, ночное дело, домой, жена его не встречает, огня не вздувает, темно в избе, как в могиле. Входит в избу, младенец у него в зыбке плачет, а в углу щенята скучат. „Это-то что такое?“ — „А это, — жена говорит, — сына бог дал.“ — „А в углу что?“ — „А в углу щенята, сам понимаешь...“ — „Ты-то понимаешь ли сама? Я этого терпеть не могу! Давай собачат сюда!“ Взял одного в руку, другого в другую, примял да опять положил на место. „Ну, — говорит, — молись богу за свой грех великий, да бери младенца. Вишь, он у тебя в зыбке кричит“.

— А на утро нарядчики приходят, собачары: „Анна, показывай щенят, здоровы ли они у тебя?“ — „Да они, мол, с чегой-то поколели.“ — „Как, оба?“ — „Оба, мол, и поколели.“ — „Что за причина? Ну, дело не наше, барину доложим“. А тут Алексей в избу входит: „Что вам надо? Зачем пришли? Где закон? Ребенок в зыбке кричи, а щенята у женщины груди сосут! Прочь из избы, чтобы мне вас, собачаров, и не видеть!“ — „А ты, Алексей, — собачар ему говорит, — больно-то не кричи. Не от себя пришли, барину доложим“. Ну, конечно, пошли, господину и обсказали. Что же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, как упокойников. Принесли их на холстах, оцупал: „Убиты, — говорит, — злодеем твари невинные“. И заплакал. Потом позвал собачьих поваров, велит для псарни овсянку готовить покруче. Все, бывало, так: овсянку готовили для всей псарни, ведер на сорок и более. Овсянку сготовят, станут собак кормить, а он тут же в стулу сидит, смотрит, да из своих рук подкармливает. Вот и на тот раз, сел у котла, щенят на холстах рядом положил. „Позвать Алексея!“ Пришел Алексей. „Видишь, — говорит, — невинно убиенных?“ — „Вижу, мол. Да что-ж, барин, на человека и то причина бывает, не то что на тварь животную.“ — „Ты им конец сделал, варвар?“ — „Я им конца не делал, а что вот вы не по закону поступаете. Ребенок, хоть и мужицкое дите, все у бога человеческая душа считается. И должен он в зыбке лежать, а вы у бабы груди псиной пакостите... Передохни они все у вас! И то народ глуп: всех бы передавить надо!“ Как он эти слова сказал, снялся, милая ты моя, барин Панкратов со стула...

Он повернулся весь на козлах и впился своими глубокими глазами в испуганные глаза девушки. Она чувствовала какой-то надвигающийся ужас и хотела бы защищаться от него, но была бессильна...

— Снялся он со стула — да ка-ак толкнет этого Алексея в грудь... Упал тот навзничь, да прямо... голубушка ты моя! барышня милая!.. прямо головой-те... в котел...

— Ну? — вся вздрогнув, спросила Лена.

— Да что! Пикнуть не успел... Кинулись собачары, вытащили...  
 Весь обварился... Пошел по собачарам шум, пошла по дворне булга.  
 А один собачар тому Алексею брат был... Кинулся в херомы, схватил  
 ружье... Барин к дворне, а уж дворня, понимаешь, вояками смотрит.  
 Вскипело холопые сердце...

(В. Г. Короленко—„В облачный день“).

## МЩЕНИЕ.

Поднялась, шумит  
 Непогодушка,  
 Низко бор сырой  
 Наклоняется.  
 Ходят, плавают  
 Тучки по небу,  
 Ночь осенняя  
 Черней ворона.  
 В зипуне мужик  
 К дому барскому  
 Через сад густой  
 Тихо крадется.  
 Он идет, глядит  
 Во все стороны,  
 Про себя один  
 Молча думает:  
 „Вот теперь с тобой,  
 Барин-батюшка,  
 Мужик-лапотник  
 Посчитается;  
 Хорошо ты мне  
 Вчера вечером  
 Вплоть до плеч спустил  
 Кожу бедную.  
 Виноват я был,  
 Сам ты ведаешь:  
 Тебе дочь моя  
 Приглянулась.

Да отец ее—  
 Несговорчивый,  
 Не велит он ей  
 Слушать барина...  
 Знаю, ты у нас  
 Сам большой-старшой,  
 И судить-рядить  
 Тебя некому.  
 Так суди ж, господь,  
 Меня грешника;  
 Не видать тебе  
 Мое детище!“.  
 Подошел мужик  
 К дому барскому,  
 Тихо выломил  
 Раму старую,  
 Поднялся, вскочил  
 В спальню темную,—  
 Не вставать теперь  
 Утром барину...  
 На дворе шумит  
 Непогодушка,  
 Низко бор сырой  
 Наклоняется;  
 Через сад домою  
 Мужик крадется,  
 У него лицо  
 Словно белый снег.

Он дрожит, как лист,  
 Озирается,  
 А господский дом  
 Загорается.

1853 г.

(И. С. Шкитны).

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

# Падение крепостного права (1861 г.).

МАНИФЕСТ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 Г.

... Мы убедились, что дело изменения положения крепостных людей на лучшее есть для нас заветное предшественников наших и жребий, через течение событий поданный нам рукою провидения.

Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной великими опытами преданности его престолу и готовности его к жертвованиям на пользу отечества. Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, составить предположения о новом устройстве быта крестьян, при чем дворянам предложено ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования, не без уменьшения своих выгод. И доверие наше оправдалось. В губернских комитетах, в лице членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии, дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих комитетах, по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к помещикам...

Призвав бога на помощь, мы решили дать сему делу исполнительное движение.

В силу означенных новых положений, крепостные люди получают в свое время полные права свободных сельских обывателей.

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и, сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей пред правительством, определенное в положениях количество полевой земли и других угодий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуется временно-обязанными.

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость; с согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые

земли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таким приобретением в собственность определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников.

Особым положением о дворовых людях определяется для них переходное состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по истечении двухлетнего срока со дня издания сего положения они получат полное освобождение и срочные льготы...

Как новое устройство, по неизбежной многосложности требуемых оным перемен, не может быть произведено вдруг, а потребует для сего время, примерно не менее двух лет, то в течение сего времени, в отвращение замешательства и для соблюдения общественной и частной пользы, существующий дотоле в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок.

Для правильного достижения сего мы признали за благо повелеть:

До истечения сего срока, крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности.

Помещикам сохранять наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов.

Обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого преобразования, мы перее всего возлагаем упование на всеблагое провидение божие, покровительствующее России...

Полагаемся и на здравый смысл нашего народа.

Когда мысль правительства об упразднении крепостного права распространилась между неподготовленными к ней крестьянами, возникли было частные недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что, и по естественному рассуждению, свободно пользующийся благами общества взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых обязанностей, и, по закону христианскому, всякая душа должна повиноваться властям предержащим (Римл. XIII, 1), воздавать всем должное и в особенности, кому должно, урок, дань, страх, честь (7); что законно приобретенные помещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки; что было бы противно всякой справедливости пользоваться от помещиков землею и не нести за сие соответственной повинности.

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди, при открывающейся для них новой будущности, поймут и с благодарностью примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта...

Исполнители приготовительных действий к новому устройству крестьянского быта и самого введения в сие устройство употребят бдительное попечение, чтобы сие совершалось правильным, спокойным движением, с наблюдением удобства времен, дабы внимание земледельцев не

было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий. Пусть они тщательно возделывают землю и собирают плоды ее, чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять семена для посева на земле постоянного пользования или на земле, приобретенной в собственность.

Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного... <sup>1</sup>.

(Из манифеста Александра II-го, 19 февраля 1861 г.).

## КТО ОНА ТАКА?

Тятка, звон, что народу  
Собралось у кабака:  
Ждут какую-то свободу.  
Тятка, кто она така?

1862 г.

— Цыц, нишкни! пускай гуторят,—  
Наше дело сторона...  
Как возьмут тебя да вспорют,  
Так узнаешь, кто она!...

(Шумахер—„Стихи и песни“).

## КРЕСТЬЯНЕ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЛИ.

... Для выслушания „манифеста“ в город были „согнаны“ представители от крестьян, и уже накануне улицы переполнились сермяжными свитками. Было много мужиков с медалями, а также много баб и детей.

Это последнее обстоятельство об'яснялось тем, что в народе прошел зловещий слух: паны взяли верх у царя, и никакой опять свободы не будет. Мужиков сгоняют в город и будут расстреливать из пушек... В панских кругах, наоборот, говорили, что неосторожно в такое время собирать в город такую массу народа. Толковали об этом накануне торжества и у нас. Отец по обыкновению махал рукой: „Толкуй большой с подлекарем“.

В день торжества в центре города, на площади, квадратом были расставлены войска. В одной стороне блестел ряд медных пушек, а напротив выстроились „свободные“ мужики. Они производили впечатление угрюмой покорности судьбе, а бабы, которых полиция оттирала за шпана-

<sup>1</sup> Автор манифеста, митрополит Филарет—ярый противник освобождения. „Предприемлемому обширному преобразованию радуются люди теоретического прогресса, но многие благонамеренные люди опыта ожидают оногo с недоумением и предусматривая затруднение“,—писал он министру юстиции, гр. Панину, в сопроводительной к манифесту записке. Манифест был умышленно составлен в туманной форме, и это удалось Филарету; крестьяне на первых порах его совершенно не поняли. Манифест, подписанный Александром II-м 19-го февраля, был опубликован лишь две недели спустя—5-го марта. Причиной этого был страх правительства и дворянства перед возможным народным восстанием. Сам Александр еще в 1858 г. высказывал о готовившейся реформе следующие сомнения: „Теперь, конечно, народ спокоен в ожидании, но когда ожидания насчет свободы не сбудутся в том смысле, как он ее разумеет, то кто отвечает, что тогда будет?“.

лery солдат, по временам то тяжело вздыхали, то принимались голосить. Когда, после чтения какой-то бумаги, грянули холостые выстрелы из пушек, в толпе послышались истерические крики, и произошло большое замешательство... Бабы подумали, что это начинают расстреливать мужиков...<sup>1</sup>.

(В. Г. Короленко—„История моего современника“).

## КАК КРЕСТЬЯНЕ ТОЛКОВАЛИ „ПОЛОЖЕНИЕ“.

Небрежность в рассылке экземпляров Положения была невероятная. во многие деревни было прислано, вместо полных экземпляров Положения, несколько экземпляров некоторых листов; например, в Орловской губернии раздавали в одной деревне тетрадь, спитую из 20 экземпляров правил о людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области; в другой деревне—дополнительные правила о приписных к частным горным заводам... И таких экземпляров было множество.

— У нас что за воля? У нас воля на 87 листах, а вот графским привезли на 193 листах, братец ты мой!—с завистью говорил мне один мужик.

Спустя несколько времени, ко мне в комнату вошли человека четыре мужиков, с „волей“ под мышкой у одного; за этими мужиками стали входить и еще по одному, по два, так что в несколько минут в моей комнате собрались все мужики, пировавшие до этих пор на дворе.

— Что вам, старики, надо?—спросил я вошедших ко мне мужиков.

— Да вот, Павел Иванович, сделай такую милость, покажи нам в нашей „воле“ тое место, где сказано: кто эту книгу будет читать, того беспременно сечь!—предложил мне один из пришедших стариков, подавая мне свой экземпляр Положения или, по-ихнему, свою „волю“.

— Нету, братцы, такого места в вашей „воле“,—отвечал я старикам.

— Есть! Право, есть!

— Да нету, во всей книге нет такого места.

— Поищи, пожалуйста, право, найдешь!—настаивали подгулявшие старики.

— Нету такого места во всей книге; эту книгу я сколько раз читал—такого места не видал! Да и для чего же было бы вам давать такую книгу, которую читать не велено? Эту книгу и дали всем нарочно с тем, чтобы ее все читали!

— Верное тебе слово говорим, что есть такое место, где сказано: кто эту книгу будет читать, беспременно сечь... Уж сделай же такую твою милость, покажи нам тое только местушко; нам больше ничего

<sup>1</sup> Накануне объявления манифеста принимались экстренные меры на случай подавления „революции“. Так, напр., в Петербурге, по воспоминаниям одного старого гвардейца, „во все полки разослана была печатная инструкция от с.-петербургского генерал-губернатора с подробным означением, в какие именно полицейские части города отряжать солдат и как им поступать при первых признаках уличного смятения“. Были приготовлены и боевые патроны.

не надо! Пожалуйста, возьми эту самую книгу, да поищи нам это местушко.

— Этого места во всей книге этой нет; стало быть, и искать нечего.

— Так нет этого места во всей книге?—спросил один из мужиков.

— Нет...

— А такое место есть, что все сады, все амбары барские нам следуют?

— И такого места нет; а если ты будешь это говорить, то беспрерывно будут пороть.

— Так нет такого места во всей этой книге, говоришь ты?

— Нету!

— Дай же, я тебе покажу!—И с этими словами он поднес мне Положение, стал перевертывать листы и нашел последнюю страницу манифеста по клейму, приложенному вместо печати (мужики были неграмотные).—На, читай эту страницу!..

Я стал читать: „Дабы внимание земледельцев не было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий...“

— Читай еще!.. читай еще!.. Тут!.. тут оно! Читай!—заговорили радостно в толпе:—Тут оно сказано...

— „... Пусть они тщательно возделывают землю...“

— Это место!.. это место!.. Читай, читай!

— „... и собирают плоды ее...“

— Ну, что?—спросил с торжеством мужик.

— А что?

— Да что ты прочитал?

— Прочитал: чтоб вы хорошенько работали землю и собирали, тогда...

— Плоды?

— Ну, да: будешь хорошо пахать, посеешь рожь,—рожь и родится хорошо; вот тебе и плоды...

— Нет, Павел Иванович! Посеешь рожь, рожь и родится, а плодов все-таки не будет. Плоды в садах, а сады-то барские: а как плоды нам, стало, и сады к нам отойдут!.. Вот что!..

— Пустое, братцы, болтаете!.. Здесь не так сказано...

— Читай, читай еще!

— „... чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять семена для посева на земле...“

— Ну, а это что?

— А это вот что: будете хорошо работать, будут у вас житницы полные, вы и берите семена...

— Ишь куда!.. Не туда, барин, прешь!.. Какие у нас житницы? Амбарышки! Куда тут житницы?.. Амбарышки!.. А то полные житницы!—заговорили в толпе.

— Правду вам говорю, старики, сущую правду...

— Правду?.. Хороша правда!.. Читай еще!.. читай, читай!

— „...на земле постоянного пользования или на земле, приобретенной в собственность...“

— А это что по-твоему?

— Это значит: засевай землю, которую дает тебе барин пользоваться, или ту землю, которую сам купишь, приобретешь в собственность.

— Про барскую землю тут и помину нет, а говорят: постоянно ты землей пользуйся, а, коли хочешь, купи. Только для чего же я покупать стану землю, коли и так можно ее пахать? Хочешь пахать—бери землю; а не хочешь пахать—покупай... А нам не пахать—и делать с землею нечего...

— Не так вы, братцы, толкуете...

— Читай-ка еще, так будет!.. Ты знай свое дело: читай, а мы уж разберем... Читай!

— „ ... Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови с нами божие благословение на свой свободный труд...“

— Это как по-твоему, Павел Иванович, обозначает?

— Вы теперь—свободные люди; сперва ходили на барщину, а теперь, как землю выкупите, так свободно, как хочешь, так и работай; вот тебе и свободный труд...

— Так да не так! Сказано: перекрестись и только!—там, значит, и пошел сейчас свободный труд! Какал тут купля?

— Ой, братцы, будут вас за эти ваши толки больно наказывать!

— Наказывать, долго ли? Было бы за что!

— За самые за эти ваши толки...

— За эти слова сечь не за что: это—царская воля.

(П. Якушкин—„Велик бог земли русской“).

## „ЗОЛОТАЯ ГРАМОТА“.

— На моем веку это уже пятый раз суетятся. Вот-вот скажут волю! Ждешь, кинешься спрашивать: одни выдумки... Воля та—когда сам ее взял. А так ее не дадут... знай это...

— Как не дадут, когда дали?

Зинец горько покачал головой.

— Дали? Ты ее видел?

— Сказывают.

— Золотая? На золотой бумаге?

— Нет, говорят, на простой.

— Ну, так не верь... Может, дали и золотую, да паны с попами спрятали, а теперь нам дают подложную.

— Что же делать?

— Жить в бродягах, в бегунах, зверьми жить—вот наша доля... Увидишь, все опять уйдут, хоть и воротились домой.

— Так, так!—шептал Илья:—господи! А если и взаправду эта воля, что теперь народ радуется, не настоящая, если нам земли даром не дадут? Талаверку силой к барыне пошлют, что тогда нам делать. дедушка? Что?

Дед оляг покрутил головой.

— Что делать? Тогда, сынку, одно: либо покорись и нищим заживи дома с Настею и с ее отцом, либо нож в руки да ведра два доброго кипятку из котла...

— Я уже с барыней Талаверки на пута посчитался кое-чем! — сказал Илья.

— Поджег ее?

— Да, поджег ее хутор.. Не знаю, что было дальше.

— Жги, Ильюша, и бей их! Не найти нам спасения нигде. Последние годы земля доживает, и антихрист скоро меж них народится. Что смотреть теперь и ждать!

— Нельзя ли, дедушка, достать тут вольных листов этих или книгу, что выдают за царскую?

— Не стоит и не хлопочи. Дворяне и в ней вырвали те листы, что против них там написаны. Один тоже наш землячок видел такую книгу: она не прошнурована, без царских печатей и даже неспитая; бери каждый лист прочь, коли не по сердцу...

(Г. П. Данилевский—„Воля“).

## РАПОРТ ГЕНЕРАЛА ДРЕНЯКИНА ОБ УСМИРЕНИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОЛНЕНИЙ В СЕЛЕ КАНДЕЕВКЕ.

... С 14-го числа того же месяца, в числе донесений, я получал от керенского уездного предводителя дворянства сведения, что Керенского уезда, в с. Кандеевку, г. Волкова, из окружных деревень четырех соседних уездов Пензенской и Тамбовской губерний собирается масса народа, доходившая до 10 тысяч человек, что крестьяне с криками „воля, воля“ развозят по селениям красное знамя, оскорбляют священников, бьют старшин и сотских, угрожая сделать то же самое с управляющими и с гражданскими и военными начальниками; раз'езды их и их пикеты перехватывают, также и рассыльных, и, несмотря ни на чьи увещевания, кричат: „земля вся наша. На оброк не хотим и работать на помещика не станем“.

Я, предвидя, что здесь дело не может обойтись без быстрых, решительных мер, и для того, чтобы подавить возмущение, разливавшееся уже по Чембарскому, Керенскому и соседним уездам Тамбовской губернии, 16-го апреля телеграммой чрез шефа жандармов испрашивая повеления вашего величества: решить дело о виновных по моему суду, отправился с двумя ротами Казанского полка в Кандеевку...

16-го же апреля около вечера, с состоящим при мне, по распоряжению начальника 16-й пехотной дивизии, подпоручиком Углицкого пехотного полка Худековым и с жандармом-вестовым, под'ехал к усмотренной мною на улице сказанного села значительной толпе...

Перейдя приветливо к толкованию крестьянам высочайше дарованных им прав, я предлагал им смириться и до уставной грамоты повиноваться помещику, работая в его пользу по новому Положению, или же перейти на определенный законом оброк. Вместе с тем, уговаривал

крестьян покаяться в ослушании и оскорблениях, нанесенных ими уездному предводителю дворянства и земской полиции, объяснив им, что, если они не поверили их истолкованиям, то, наконец, мне, как присланному вашим величеством, они обязаны верить беспрекословно. Но вместо ожидаемого раскаяния все в один голос кричали: „не будем работать на помещика и на оброк не хотим, хоть всех нас перевешай“. Видя, что толпа начинает волноваться, к каковому, впрочем, времени явились ко мне предводитель дворянства, исправник и командир Казанского полка, я вышел из толпы и отправился к прибывшему заранее войску (2, 9, 10 и 11 роты Казанского полка), расположенному бивуаком около господского дома, на половине селения, вне оного, с военными предосторожностями, мною еще более усиленными. С вступившими же вслед затем на бивуаках 3-й и 4-й ротами того же полка, в моем распоряжении у села Кандеевки, с прибывшею на другой день 3-ю стрелковою ротою, находилось всего семь рот.

Другой день, т. е. 17-е число, я оставил крестьянам на размышление и чрез наемного бурмистра требовал от нерасходившейся толпы присылки ко мне разумных стариков-домохозяев для объяснения им новых законоположений, с тем, чтобы, выслушав мое толкование вне подстрекательства толпы, они помогли бы образумить прочих. Но бунтовщики не отпустили ко мне ни одного человека и прогнали посланного. Тогда я отправил к ним приходского священника с крестом, поручив ему уговорить бунтовщиков. Но и увещания священника остались тщетными. Вечером еще раз посылал сотских с приказанием, чтобы толпа опомнилась и разошлась. Но все было безуспешно. Явно, что бунтовщики были уверены в мнимой правоте своей и что успех останется на их стороне.

18-го апреля, вторник страстной недели, утром в 8 часов, мною получена телеграмма шефа жандармов от 17-го апреля за № 3264, в коей было изображено, „что мне высочайше предоставляется решить дело о виновных по моему суду“. Убедясь, что ничто не действует на бунтовщиков, я решился прибегнуть к крайним мерам, со всею за них ответственностью, не переставая отовсюду получать самые печальные сведения, что возмущение разлилось по 4-м смежным уездам, откуда крестьяне, выжидая развязки моих действий, толпами стекались в Кандеевку. Сверх того я узнал, что между бунтовщиками в том крае вкоренилось твердое убеждение, что, если они не отобьются (приняв слово отбивать барщину за отбивать оную) к святой неделе, то на вечные времена останутся в крепостном состоянии, — не веря, что из оного уже вышли.

На крышах и на гумнах всюду видны были крестьяне, зорко следившие за каждым распоряжением в отряде. Из всего этого, равно из предуведомления, что на некоторых крестьянских дворах сложены топоры, колья с насаженными на них косами и другими орудиями, уразумев всю необходимость действовать решительно и, вместе с тем, с крайнею осторожностью, я безотлагательно решился на то, и потому собственно, что наступали страстные дни, недалеко уже было до празд-

ника, и что, если не обратить бунтовавших к полевым работам, к посеву ярового хлеба, то голод неминуем.

Сделав предварительные распоряжения о прибытии на одни сутки из Моршанского уезда двух рот Тарутинского полка с тем, чтобы к 9-ти часам утра, не доходя двух верст до села Кандеевки, куда сходятся дороги из многих волновавшихся селений, они ожидали дальнейших распоряжений, а до того захватывали бы бегущих, если бы таковые были,—я, оставив одну роту Казанского полка для охранения господского дома, откуда я накануне ознакомился с местностью,—с четырьмя ротами в 10 часов утра направился ко входу в селение с площади противу господского дома, разделяющей село на два крыла, где в правой улице, длиною более версты, увидел шумящую толпу.

Остальным двум ротам, в предотвращение нападения на меня в фланг с правой стороны и с тыла (с левой—речка), приказал держаться в 200 шагах правее на одной высоте со мной, положив отнюдь не штурмовать селения, дабы не вызвать рукопашного боя и не потерять ни одного из вверенных мне чинов. В случае же отчаянного сопротивления думал зажечь село и тем заставить бунтовщиков выйти в поле, где управа с ними была бы легче...

Остановив колонну у крайних дворов в 300 шагах от массы бунтующих, они, по моему зову, нерешительно подошли ко мне шагов на 100. Тут я снова обратился с увещеваниями: предлагал им, просил до времени разойтись и засеять свои и помещичьи поля. Но слова мои были заглушены криком: „не повинuemся, ничего не хотим. Умрем за бога и царя“.

Тогда грозил им, что, если они добровольно не покорятся, то прикажу стрелять в них, ослушников высочайшей воли и манифеста. Но все мои угрозы были тщетны. Желая ограничиться как можно меньшим числом жертв и дабы толпа более тысячи человек (всего же в деревне, считая оставшихся на дворах, было до 7 тысяч человек) не бросилась на войско, я отогнал ее, с прискорбием приказал сделать залп первой шеренге головного полувзвода 9 роты...

Раздались выстрелы. В толпе упало несколько человек крестьян; но масса бунтовщиков не дрогнула. Напротив того, подняв руки, кричали громче и громче. Приняв поднятие рук за просьбу о пощаде, я остановил стрельбу. Но оказалось, что они выражали этим свое желание: умереть за бога и царя, никому не повинуюсь в то же время. „Просите пощады, иначе буду продолжать стрелять“, говорил я им. Но толпа, придвинувшись несколько ближе к войску, кричала: „все до одного умрем, но не покоримся“. После чего невооруженные, бесприммерно неустрашимые, по счастью без жен и детей, всей массой снова отошли на прежнее место. Тогда по моему приказанию сделан второй залп. Несмотря на это, народ, подняв руки, с большим еще жаром продолжал кричать: „все умрем за бога и царя“. Не без содрогания увидев, что ничто не помогает, я, показав подвинувшейся ко мне толпе находившийся при мне полодный образ, благословление матери, клялся перед народом, что говорю правду и правильно толкую

высочайше дарованные крестьянам права. Но и клятве моей не поверили, с поднятыми руками снова кричали: „за бога и царя умрем все до одного“.

Третий залп тоже не привел ни к чему. Толпа не двигалась. С ужасом видел необходимость продолжать стрелять.

Изготовившись к тому, решился, однакож, попробовать отхватить хоть несколько человек, не углубляясь слишком в деревню из опасения, чтобы верные исполнители моих приказаний не были изрублены бунтовщиками, не выходящими со дворов.

Приказание мое было быстро исполнено 3-ею стрелковою ротою; при чем захвачено и выведено из улицы, сверх чаяния, 410 бунтовщиков 14-ти селений, трех уездов.

Остальные же разбежались и попрятались в селении, уйдя из оногo к ночи...

Из окон господского дома было видно, как после выстрелов поле покрылось сорвавшимися со дворов лошадьми, на которых верхами приезжали в Кандеевку сторонние участвовать в сопротивлении и узнать, чем кончится дело о „чистой воле“...

Выведа из деревни захваченную толпу, снова обратился к ней с вопросом: согласны ли повиноваться, добавив к этому, что, в случае покорности, готов их помиловать. Но и на это все единогласно отвечали: „умрем все, но не повинимся“.

Доведа толпу до господского дома и поручив отряду ее охранять, я велел убрать убитых и принести к дому раненых...

Оказалось: пуль выпущено 41, убито крестьян 8, ранено 27...

Упорство же и сила вкоренившихся в крестьян убеждений были так велики, что они стали виниться тогда только, когда исполнялось уже шпипрутенное 29-ти человек наказание, обещавшееся и всем захваченным. Почему из прочих 16 человек наказаны розгами, а остальные, давшие руки в том, что будут повиноваться, прощены. С тех пор, не видя уже и в других селениях прежней закоренелости, применяясь к милосердию вашего величества, наказания по возможности смягчал и, давая все способы к оправданию, многих прощал, облегчая вообще участь сознавшихся. Таковой суд и по скорости его принят с благодарностью. Были, впрочем, и такие закоренелые, которые и после исполнения над ними приговора отвечали: „хоть убей, но на работу не пойдём и на оброк не хотим“...

23-го апреля, в ознаменование праздника светлого Христова Воскресения и применяясь к неограниченному милосердию вашего величества, прощено 22 человека крестьян из числа приговоренных к ссылке на поселение, без наказания шпипрутенами.

Подписал: свиты его величества

генерал-майор Дренякин.

Государю императору.

22-го апреля, с. Кандеевка.

Имею счастье принести вашему величеству верноподданническое поздравление с светлым праздником и донести, что все приходит в желанный порядок. Усмирявшие войска с бивуака безбоязненно переводятся в избы.

Из С.-Петербурга.

Генерал-майору Дренякину.

28-го апреля, № 118.

Христос воскрес!

Благодарю за поздравление и за дельные распоряжения.

Александр.

(„Русская Старина“, 1885 г., т. 46).

### ВОССТАНИЕ В СЕЛЕ „БЕЗДНА“.

Безденское движение захватывало в районе своего прямого или косвенного воздействия 3 смежных уезда Казанской губернии (Спасский, Чистопольский и Лаишевский) и, по крайней мере, некоторые места Самарской и Симбирской губерний; продолжалось оно в общей сложности более месяца... Росту движения благоприятствовало то, что через места волнений шел сибирский тракт, по берегам Волги и Камы развито было бурлачество, что делало эти места проезжою дорогою, по которой проносились разнообразные слухи и толки со всей России. Здесь лежали богатые, большие поместья, большие села, где крепостные жили самостоятельнее, держались независимее, менее были придавлены экономической эксплуатацией, почему и требования от воли могли быть выше, чем в забытых деревушках мелких помещиков. В населении этом, наконец, жила память о Пугачеве. Этот край и до об'явления воли был полон слухами о воле... Еще до получения Положения в народе пошли толки о полной воле с настоящего момента, о правах собственности крестьян на все земли и леса, о праве их на запасные хлебные магазины, а в иных местах даже на раздел хлеба в господских амбарах.

Уничтожение всяких крепостных обязанностей разумелось при этом само собою. На основании одних только толков о воле, крестьяне в некоторых местах перестали ходить на барщину... Отношения между крестьянами и помещиками настолько обострились, что в иных имениях сами помещики не наряжали крестьян на работы, из других—помещики бежали в город. Во многих местах тогда же начались порубки леса. Начав с единичных похищений, крестьяне перешли к открытому делу жу барских лесов...

Манифест и Положение крестьяне приняли с полным доверием... „К отцам и дедам нашим, — говорили крестьяне на допросах, — не присылали книг, и они уже знали, что они крепостные и должны работать на помещика, а об нас задолго еще говорили, что мы будем вольны,

и после всей этой толковни прислали книги и велели читать... Мы думали, зачем же и присылать-то книги, когда в них нет воли!" Крестьяне энергично принялись за поиски этой воли. Они не жалели денег и времени на розыски надежных, по их мнению, чтецов, но совершенно не удовлетворялись вычитываемым ими из Положения. Отсутствие указаний в Положении на волю, как ее понимали сами крестьяне, они объясняли или тем, что чтецы подкуплены господами и умышленно скрывают волю, или не умеют ее вычитать.

К числу чтецов принадлежал и знаменитый Антон Петров, сыгравший роковую роль в бездненском движении... Антон не менее других крестьян был убежден, что, раз от царя присланы книги, то там должна быть воля, следует только внимательно читать их. Когда крестьяне деревни Волховки, с разрешения управляющего, пригласили Антона читать им Положение, то он с горячим рвением усидчиво стал штудировать Положение...

Как понимал волю сам Антон Петров, как толковал он ее? Фразу „после 10-ой ревизии отпущены на волю“ он понял буквально, т.-е. считал, что крестьяне свободны еще с 1858 г. и лишь господа утаивали волю...

Он говорил крестьянам, „чтобы они не слушали помещиков и начальников, приказывал крестьянам не ходить на барщину, не платить оброка, не давать подвод, даже не препятствовать, когда крестьяне увидят, что другие будут брать из барских амбаров хлеб, если вода разломает мельницу, то не исправлять самим, от помещиков ничего не брать. Толковал, что вся земля принадлежит крестьянам, а помещику остается только одна треть“. Антон Петров признал, что он советовал миру выбрать новых сотских, но отрицал всякое подстрекательство со своей стороны к буйству и грабежу. „Народу я не наказывал делать грабежи, убийства, дерзости начальству, а, напротив, говорил, — показывает он, — чтобы никого не обижать“. Показания других крестьян единогласно сходились с этими показаниями Антона Петрова. Они лишь определеннее говорили, что Антон запрещал брать что бы то ни было господское, но не следовало по его словам и защищать господское имущество; а с другой стороны, по словам крестьян, Антон оставлял господам не треть земли, а лишь дороги, овраги, буераки и барские места...

Весть о том, что бездненский Антон Петров открыл, наконец, волю в Положении, быстро облетела не только Спасский, но проникла и в другие уезды. Со всех сторон потянулись крестьяне к Антону с книгами Положения...

Еще при жизни Антона вокруг его имени создались легенды...

Движение, начавшееся до открытия воли Антоном Петровым, продолжалось приблизительно в тех же формах и после того, получив лишь осязательное подтверждение, что в царских книгах действительно есть воля, и это придавало всем действиям крестьян характер лояльности, уверенность, что они не бунтовщики, а верные слуги царя и исполняют лишь его волю. От этого все действия крестьян, — отказ от крепостных повинностей, от повиновения экономическим властям, даже попытки

делить господское имущество, хлеб и пр., где они были,—получили большую смелость, уверенность...

Характер лояльности носили и отношения крестьян в селе Бездне к явившимся на усмирение властям. Отказываясь выдать Антона Петрова, крестьяне были вполне вежливы, корректны. Узнав, что к 12-му апреля в селе Бездне будут власти, царский посол и военная команда, крестьяне совещались между собою, как им лучше встретить власти. Навстречу к гр. Апраксину были высланы старики с хлебом и солью...

Широта движения и радикальность разрешения некоторых экономических вопросов (дележ земли, леса и т. д.) сильно напугали дворянство, и они называли движение пугачевщиной, а Антона Петрова — вторым Пугачевым, требуя суровых и энергичных мер против безднцев. Этим настроением вполне проникся генерал-майор гр. Апраксин, посланный в Казанскую губернию на случай беспорядков... Ведя военную команду в село Бездну, он, под угрозой стрельбы, требовал от крестьян выдачи Антона Петрова... Когда же толпа наотрез отказалась выдать Антона Петрова, то гр. Апраксин приказал стрелять. Результаты расстрела безоружной, мирной толпы, стоявшей недалеко от фронта солдат, были ужасны. Задние ряды не сразу узнали об опустошениях, произведенных выстрелами, и, лишь слыша выстрелы, стояли неподвижно, заграждая таким образом путь для бегства передним рядам. В то время, как передние ряды принуждены были для бегства разломать плетень и этим вызвали усиленную стрельбу, задние, узнав, наконец, о результатах выстрелов, сломали ворота при выходе из деревни и бежали через протекавшую в конце деревни речку, при чем тонкий уже лед проломился и, как говорили, многие утонули. Половцев, очевидец расстрела, говорит в своих воспоминаниях, что „вся улица была усеяна убитыми и ранеными; убитых оказалось 71 и раненых 115, в действительности же их было гораздо больше, так как много и раненых и убитых крестьяне вынесли из толпы и увезли по деревням; по счету доктора, приехавшего на другой день из Казани и лечившего пострадавших в течение слишком двух месяцев, всех жертв было более 350 человек“...

Несчастный Антон Петров, волею случая поставленный в центр движения, был предан военно-полевому суду и уже 19 апреля расстрелян согласно приговору, подтвержденному гр. Апраксиным по высочайше предоставленной ему власти...<sup>1</sup>

(И. И. Игнатович—„Бездна“. См. „Великая реформа“, том V).

<sup>1</sup> „Недоразумения“, беспорядки, „волнения“ начались почти немедленно после объявления манифеста и раздачи крестьянам книг Положения. Вскоре вся крепостная Русь всколыхнулась, потрясаясь более или менее сильными волнениями. Только за два года (с 1861 по 1863), по официальным данным министерства внутренних дел, произошло 1.100 волнений, т. е. больше чем... за 35-летний период перед раскрепощением. Дела о волнениях в министерстве внутренних дел велось по 39 губерниям в 1861 г., по 37 — в 1862, и в 1863 г. происходили волнения в 31 губернии... Все крестьянское движение 1861—1863 гг. объединено общим недоброжелательством крестьян реформой 1861 г., красной нитью почти через все волнения проходит противоположение между „волею

## ЭЙ, ИВАН!

Вот он весь, как намалеван,  
 Верный твой Иван:  
 Неумыт, угрюм, оплеван,  
 Вечно полупьян;  
 На желудке мало пищи,  
 Чуть живой на взгляд.  
 Не прикрыты голенищи  
 Рыжие торчат;  
 Вечно теплая шапчонка  
 Вся в пуху на нем;  
 Туго стянут сюртучонко  
 Узким ремешком.  
 Из кармана кончик трубки  
 Биден да кисет.  
 Разве новенькие зубки  
 Выйдут—старых нет...

Род его тысячелетний  
 Не имел угла—  
 На запятках и в передней  
 Жизнь веками шла.  
 Ремесла Иван не знает,  
 Делай, что дают,  
 Шьет, кует, варит, строгают;  
 Не потрафил—бьют.  
 „Заживет!“ Грубит, ворует,  
 Божится и врет  
 И за рюмочку целует  
 Ручки у господ.  
 Выпить может сто стаканов—  
 Только подноси...  
 Мало ли таких Иванов  
 На святой Руси?..  
 „Эй, Иван! иди-ка стряпать!  
 Эй, Иван! чеши собак!“  
 Удалось Ивану спанать  
 Где-то четвергак,  
 Поминай теперь как звал!  
 Шапку набекрень—

И пропал! напрасно ждали  
 Ваньку целый день...  
 . . . . .  
 Утром с барином расправа:  
 „Где ты пропадал?“—  
 „Я... нигде-с... ей-богу... право...  
 У ворот стоял!“—  
 „Весь-то день?“... Ответы грубы,  
 Ложь глупа, нагла;  
 Были зубы—билл в зубы,  
 Нет—трещит скула.  
 „Виноват!“ порядком струсая,  
 Говорит Иван.—  
 „Жарь к обеду с кашей гуся,  
 Щи вари, болван!“  
 Ванька снова ламку тянет,  
 А потом опять  
 Что-нибудь у дворни стянет...  
 „Неужли плошать?  
 Коли плохо положили,  
 Стало—не запрет!“  
 Господа давно решили,  
 Что души в нем нет.  
 Неизвестно—есть ли, нет ли;  
 Но с ним случай был:  
 Чуть живого сняли с петли,  
 Перед тем грустил.  
 Господам конфузно было:  
 „Что с тобой, Иван?“—  
 „Так—под сердце подступило“.  
 И глядят: не пьян!  
 Говорит: „Вы потеряли  
 Верного слугу,  
 Все равно, помру с печали,  
 Жить я не могу!  
 А всего бы лучше с глотки  
 Петли не снимать...“.  
 Сам помещик выслал водки  
 Скуку разогнать.

казенною“ и „волею народною“... Передача всей земли народу и право трудящихся на нее — таковы две основные черты крестьянского мирозозерцания, проявившиеся в крестьянском движении 1861—1863 гг.

(И. И. Игнатович — „Встреча на местах“.  
 „Великая реформа“, том V).

Пил детина ерофеич,  
Плакал да кричал:  
„Хоть бы раз Иван Мосеич  
Кто меня назвал!..“  
Как мертвецки накатили,  
В город тем же днем:  
„Лишь бы лоб ему забрили—  
Вешайся потом!“  
Понадеялись на дружбу,  
Да не та пора:  
Сдать беззубого на службу  
Не пришлось. „Ура!“

1867).

Ванька снова водворился  
У своих господ  
И совсем от рук отбился,  
Без просыпу пьет.  
Хоть бы в каторгу уroda—  
Лишь бы с рук долой!  
К счастью, тут пришла свобода:  
„С богом, милый мой!“  
И, затерянный в народе,  
Вдруг исчез Иван...  
Как живешь ты на свободе,  
Где ты?.. Эй, Иван!

(Н. А. Некрасов).

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

# Вторая половина и конец XIX-го века (1870—1900 гг.).—Классовое расслоение крестьянства.

### ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ!

Царь убит! Убит мещанином Рысаковым с товарищами.

Не в первый раз поднимают руку на царя. Хотели убить его крестьяне Тихонов, Ширяев, рабочие Халтурин и Пресняков, бывший народный учитель Соловьев и другие.

За что же убили царя? Ведь он освободил крестьян от помещиков?

Да. Дал царь мужику землю, да так пригнал, что пришлось на душу без малого что по одной ступне, а более половины кровной мужицкой земли отдал барам. Дал он мужику и волю самую настоящую: волю с голоду помирать, волю итти в кабалу к барам, купцам, своему брату кулаку; волю—урядникам да чиновникам костылять шею мужичью.

Подивился мужик воле, которую дал ему царь-батюшка; подивился, пораскинул умом, да и порешил: баре с чиновниками волю подменили, не настоящую, не царскую волю объявили... Где же это видано, чтобы мужичью землю, его потом-кровью политую, в руки барам отдали!

И послал мужик ходочков к царю разузнать волю доподлинно. Точно разузнали: кто в Сибирь пошел, кого по этапу домой прислали!

Вот и узнали они волю настоящую!.. Неужли ж чиновники ходочков мужичьих без ведома царского в Сибирь послали? Неужли ж у царя случая не было мужика повидать?! Коли баре к мужику его не пускали, так видал же он солдат, а солдат тот же мужик!

Нет! Сам царь в 1879 году вслеп объявить мужикам, что земли им не будет.

Сам-то царь—над барам барин, купец над купцами, мироед над мироедами, чиновник над чиновниками.

Нашлись на Руси люди, что говорили народу, как раздобыться ему настоящей мужицкой волюшки... Да видно, правда-то царю с барам не по нутру приплась: стали они тех людей по тюрьмам морить, ссылать без счета в Сибирь на каторгу, вешать да расстреливать. Вот за эти-то жестокости да за то, что царь народ обманул, и убили они царя.

От нового царя тоже не дожидаться тебе ничего хорошего! Не отберет он у бар земли и не даст мужику, настоящей воли не даст! Не обидит себя да свою панскую братню! Барина, чиновника подарить—это он может. Вот старый-то царь своим братьям, великим князьям, да чиновникам, да господам разным и барыням разным из твоей земли два миллиона десятин раздарил; а у мужика нет как нет земли!..

Коли хочешь земли да воли, так силой бери!

Только за дело это надо всем сразу взяться: послать ходочков по всей земле русской, от села к селу, от деревни к деревне, и в городах к рабочим. Чтобы волю добыть, надо всем сговориться. Народ—сила: что захочет, то и будет!

Первое дело—забрать свою землю, податей царю не платить и рекрутов не давать!

Пусть сядет он, как рак на мели! Тогда с барами своими вместе против мужиков ничего не поделает!

Стой крепко друг за дружку, жизни не жалеючп!.. Не придется тогда никому лебеду да кору жевать, да по миру ходить! Добивайся, мужик, правды мужичьей, земли своей, воли настоящей!

Станем же все, как один человек, за правду, за

ЗЕМЛЮ и ВОЛЮ! <sup>1</sup>

(14 марта 1881 г. Лет. тип. Общ. „Земля и Воля“, С.-Петербург).

## ДЕРЕВЕНСКАЯ БЕДНОТА.

... На перекрестке поравнялись и затем потрусили за нами убогие дровнишки... Взрошенная лошаденка в веревочной сбруе, тяжело отдуваясь, торопливо переступала маленькими ножками. Она беспрестанно вздрагивала всем своим худым телом и при малейшем шорохе вожжей пугливо вздергивала голову.

Из дровней выскочил мужичок. Неизвестно для чего ударив кулаком бедную лошаденку, он побежал с нею рядом, вслед за нашими санями... Мужичок поражал убогим своим видом. Одежда его, начиная с шапки и кончая онучами, была одно сплошное лохмотье. Утлые руки болтались вяло и беспомощно. Тонкие, как спички, ноги копотливо переступали по снегу, спотыкаясь и заплетаясь друг за друга. От всего существа его веяло какой-то слабостью и унижением.

Он на бегу поклонился мне, и по его лицу, в этот миг освещенному луною, разлилась неопределенная улыбка. Он, видимо, очень озяб. Сжатые губы его дрожали, сморщенное в кулачок лицо было бледно. Отсутствие всякой растительности на этом лице придавало ему какой-то бабий вид.

— Чей ты?—спросил я.

<sup>1</sup> Подробно о революционных организациях и об убийстве Александра II-го см. часть III Хрестоматии.

— Ась?..—торопливо отозвался мужичок и побежал рядом с моими санями, от времени до времени хватаясь за задок.

Я повторил вопрос.

— О-ох, чей-то я?.. Вот уж и не умею тебе, матушка, сказать... чей, чей...—в каком-то раздумьи повторил он.—Допреж барские были... козельского барина, с Козельцев...—и добавил поспешно:—Козельский я мужичок, матушка, козельский... Поплешкой меня звать. Отца—Викторкой, меня Поплешкой...

— Что же это за имя?—удивился я.—Может, дразнят тебя так?

— Нет, зачем дразнить, настоящее звание,—Поплешка.

— Чудесное имя.

— Ох, правда твоя, матушка,—чуден у нас поп... Самовластительный, гордый поп. Это что — Поплешка, у нас Бутылка есть... Ей же ей, матушка,—Бутылка... Мужик как есть во всех статьях—и видом и все, а—Бутылка!.. О, самовластительный поп. Допреж того, вот что я тебе скажу, матушка, барин у нас мудёр был. Такой мудрый барин, такой мудрый... Тот, бывало, не станет тебя Иваном аль Петром звать, а как пришли кстины, так и велит попу либо Аполлошкой, либо Валеркой кстить... А то вот еще Егешкой кстили. Мудрый был барин!.. Ну, барин перед волей помер—поп замудрил: Поплешка да Бутылка, Солошка да Соломошка, так и заладил!..

— Ну, а кроме-то имен, ничего себе поп?—поинтересовался я.

— Он ничего себе... В кабале мы у него, матушка! Как лето придет, он нас и забирает: того на покос, того на возку, того на мольбу... Поп гордый, поп богатый. Поп не то, чтоб спуску давать, а всячески в оглобли норовит нашего брата. Свадьба ежели—три десятины ему уберешь; кстины—полнивы; молебен—свезешь ему десятину; похоронить ежели—полоти десять ден... Человек тяжелый, немлосердный человек.

— И давно он у вас?

— А давно уж, матушка... Меня кстил, а мне вот двадцать пятый год идет...

В это время луна осветила Поплешку, и лицо его показалось мне очень старым.

— Да ты старик!—невольно воскликнул я.

— А ты как думал?—с некоторой гордостью произнес он:—Я женат седьмой год, у меня вон трое детей, матушка, да два дитенка померли летось...

— Ну, и вы не жаловались на своего попа?—спросил я после маленькой паузы.

— На отца Аггея?.. Нет, не жаловались...—и, внезапно придя в веселое расположение духа, добавил:—Хе, хе, хе... А поди-ка, пожалуйся на него... Попытайся-ка... Он тебе, брат, таких... Он тебе таких засыпет!.. Нет, нет, матушка, жалоб чтобы не было. Поп он гордый, не любит жалоб.

— Мы довольны,—заметил он после некоторого молчания,—поп он жестокий, а мы им довольны. Он вызволяет нас. Работает ему—он рад. Он работу помнит—придешь к нему, сейчас он тебе водки... До-

брейший поп!.. Кабак-то у него свой,—таинственным полушопотом добавил он,—попадьин племянник в нем. Племянник—попадьин, а кабак—шопов!—и мужичок с лукавством прищурил правый глаз.

Мы помолчали несколько минут, в продолжение которых мужичок, проворно переплетая своими ножками, раза два подлетал к лошадке и бил ее кулаком по морде, при чем сердито и отрывисто кричал.

— За что ты ее?

— Э... одёр!..—неопределенно произнес мужик и неизвестно почему рассмеялся жидким, тщедушным смехом. Впрочем, несколько погодя, как бы в оправдание, прибавил:

— Замучила, ляда...

— Откуда ты едешь?

— Хутор тут есть, матушка,—оттуда. Чумаковский хутор-то.

— Зачем же?

— Хомуточка, признаться, на шейку добывал...

Поплешка снова рассмеялся.

— Какого хомуточка?—не понял я.

— А работки бы мне. Работки ищю.

— Ну, что же, взял?

— Э, нет! Не дали, матушка. Скуп стал. Чумаков-купец не дал работки.

Он несколько помолчал.

— Да, признаться тебе, матушка, бедовое их дело, этих купцов... Знамо, я так рассуждаю—скуп купец. Но только и наш брат мудрен стал... Ты теперь возьми меня вот: лошаденка у меня одна, и тут...-- мужичок с какой-то детской злобой замахнулся на лошаденку, отчего она так вся и шаргнулась в сторону, так вся и затрепетала:—Работник я один, бабу ежели считать—хвора я она, ребятишки малы... Вот я летьсь взял у Чумакова косьбу, а пришло дело, меня и с собаками не отыскали... Ох, мудрен ноне народ стал!

— Отчего же ты не косил?

— Косил, как не косить... Косить-то я косил, да только у другого... Другой позверовитей... Другой взял меня прямо из клетки да и поставил на полосу: коси, хоть издыхай...

— Да как же ты это?

— Эка, матушка!.. У двух-то по зиме взята работа, а то еще наемка была прямо на деньги. Тут взят задаток. Да попу еще... А там сама собой своя нивка осыпается... Бедность-то наша, сокол мой, непокрытая!

— Что ж, и все такие бедняки в вашем селе?

— Ну, нет... Есть дюже поскуднее... Вот у Буылки у этого, опричь двух овец, и скотины нету—должно, ноне на подушное пойдут. Есть и еще мужички... Есть и такие—окромя рубахи и портков ничего чету... Ну, те уж в батраках. Ох, плохие, матушка, есть жители...

— Что же, у вас земли мало?

— Маловато, маловато. Да мы ее, признаться, и не видим... Раздаем мы землю-то. Есть у нас такие мужички,—нечего ска-

зять, богатые мужички,—они нас выручают: землицу-то за себя берут, а нам деньгами... Много раздают денег.

— Но чем же вы кормитесь?

— Кормимся-то чем? Ох, трудно, матушка, по нынешним временам кормиться... Страсть как трудно!.. Работкой мы больше кормимся... Заберем, бывало, по зиме работку и кормимся... А то опять землю сываем, у купцов сываем, у господ... Как хлебушко поспеет—платим за нее. Хорошие деньги платим!—И мужичок добавил с легким вздохом:—Ох, трудно кормиться, матушка!

А, спустя немного, продолжал, впадая в таинственный тон:

— Ты вот что скажи, матушка, купцы-то что затевают... О, великое дело затевают купцы!.. Я вот поехал, признаться... Прошу работки, а Чумаков мне в окно кажет: „Смотри, говорит, Поплешка... Вы у меня, говорит, Поплешка, душу вынули своей работой,—шабаш теперь!“.. И смотрю я, матушка, в окно и вижу: сметы нет сох наворочено... Сохи, бороны, плуги, телеги...—„Это что же, говорю, означает, Праксел Аксеныч?“—„А то, говорит, означает—будет вас баловать-то... Наберу теперь батраков и шабаш... Мы вас, говорит, скрутим... И я, говорит, завожу батраков, и нынче купцы заводят, и господа сох понакупили“...—О-ох, хитрый народ купцы!..—„Как же нам-то, Праксел Аксеныч? Ну, мы в батраки, а детки-то?“... Смеется... „Обойдетесь, говорит; мы, может, говорит, и фабрики заведем,—всем работа найдется, не робейте“...—Вот оно что, матушка!.. Робость, какая робость... Робеть нам нечего, но только и хитрый же народ эти купцы!—добавил Поплешка.

— Как же вы теперь жить-то будете без земли и без работы?

— А уж не знаю, как жить... По миру, ежели... Да плохая то же статья стала. Обнудел народ, немилостивый стал, строг... Ходят у нас по миру—половина села ходит... Только плохо... А вот я тебе, матушка, скажу: хорошо это купцы удумали—батраков заводит. Заведут себе батраков—как важно работа у них пойдет! Народ—купцы—строгий, хозяйственный народ!

— А вы-то чем жить будете, вы-то?

Мужичок промолчал.

— Что вам-то делать?—настоятельно повторил я.

Но мужичок снова не ответил и неожиданно вымолвил:

— Хорошие есть места на Белых Водах!

— Ты почему знаешь?

— Ходили некоторые.

— Что же, там и остались?

— Э, нет—воротились. Не способно, матушка... Земли там свободной не стало. Придешь—гонят. Купить ежели—достатков не хватает, достатков не хватает... Воротились.

— Вот урожай опять,—помолчав, произнес он,—оченно стали плохи урожай. С чего это?—и, не дождавшись моего ответа, сказал:—А с того, матушка, нечем нам стало работать... Ни навозу у нас, ни лошадей... Ледащий мы народ.

— Ну, надеетесь же вы на что-нибудь, ждете же чего? Чего вы ждете? Ну, чего вы ждете?

— Может, нарезка какая будет... Может, насчет земельки как... — робко и неуверенно предположил Поплешка.

— Да если вам и дать-то еще земли,—вы, небось, и ее мироедам отдадите ..

Поплешка подумал.

— Ежели прямо вот как теперь—отдадим,—сказал он решительно:— Нам один конец—ее отдать... Потому, насчет пищи у нас недохватка. Большая недохватка насчет пищи. Ежели так будем говорить: нарежь ты мне ее теперь, ну, хоть бы три сороковых—прямо бы я их Зоту Федосеичу заложил. Куда как нужно тридцать целковых!.. Это тридцать, матушка, ежели не подохнуть... А там окромя еще: там долгов за мной более двухсот—вот за одра за этого шестьдесят целковых Зот Федосеич считает,—с ненавистью указал он на лошаденку,—там недоимки семнадцать, там скотинёнки надо!—И, как бы охваченный напльвом непрестанных нужд, он с безнадежностью воскликнул:

— Э, нет, и нарежут ежели, то не поможет!.. Умирать нам, матушка... Один нам конец—умирать...

— Может, урожай хороший будет?..

— Урожай?—как бы спросонья отозвался мужничок.—Э, нет, матушка. Посылай бог урожай, давно урожай не было, ну, только нам это плохая подсоба... Увязли мы, сокол мой... Такувязли, так увязли... И родится ежели—отберут у нас хлебец-то... Зот Федосеич отберет, отец Аггей отберет, в магазей отсыпят, на подушное продадут... А долги-то? Мало их, матушка, долгов.. Ох, нет у бога такого достатка, чтоб на родушко вызволить... Изболел народ, истомился...

(Э. И. Эртель—„Поплешка“).

## ПЕСНЬ ХЛЕБУ.

В осень холодную землю вспахали мы  
С другом безропотным, с другом гнедым...  
Землю вспахали мы, вспарили, вздобрили  
И взборновали старательно с ним...

.....

В летние, красные дни любовались мы,  
Как ты под солнышком зрел-доспевал;  
Словно как озеро-море великое,  
Ветер тебя колыхал, волновал...

Видим, что колосом хлебушка ржаненький  
Вышел и зернышком крепко созрел;  
Собрали силушки, жней позывали мы,—  
С песней весело серп зазвенел...

В закроме вымели, зернышко ссыпали;  
 Будем мы жители!—думалось нам...  
 Ах не по-нашему: хлебушка-батюшка  
 Странствовать начал по барским ларям...  
     То за арендную всыплем—расплагимся,  
     То на повинности миру сдадим...  
     Время уж зимнее, время морозное;  
     Смотрим, а в закроме пусто-пустым...  
 Хлебушка-батюшка, хлебушка ржаненький,  
 Знаем, попал ты к купцу-кулаку...  
 Будет молоть тебя купчик на мельнице  
 И продавать с барышом мужику...  
     Туго мошоновку, туго глубокую  
     Купчик набьет золотою казной;  
     Будет он пирничать, будет он бражничать,  
     Мы же с детишками с голоду вой...  
 Пастырь наш батюшка  
 Громкой молитвою  
 Станет во храме купца поминать...  
     Наш же брат труженик,  
     Хлеба хозяин сам,  
     Должен по фабрикам хлеба искать.  
 . . . . .

(Ф. Поступаев— У земли и котла\*).

## . Р О З Г И.

Если бы кто-нибудь дал себе труд просмотреть решения волостных судов (мы уже не говорим—разобрать подноготную мотивов этих решений) и сосчитать число высеченных, положим, в осенние только месяцы,—так положительно волос встанет дыбом даже у аракчеевских ветеранов. Я сам был свидетелем летом 1881 года, когда драли по 30 человек в день. Я просто глазам своим не верил, видя, как „артелью“ возвращаются домой 30 человек взрослых крестьян после дранья,—возвращаются, разговаривая о посторонних предметах.

— Да неужели их драли?—спрашивал я старосту, который, возвращаясь после этого „присутствия“, зашел ко мне папиросочки покурить.

— А то как же?.. Я сам троих „приставил“.

— Да за что же?

— А за то, что заслуживают... Не храни, не пьянствуй... Мало ли у них блох-то!

Осенью самое обыкновенное явление—появление в деревне станового, старшины и волостного суда: драть без волостного суда нельзя—нужно, чтобы постановление о телесном наказании было сделано волостными судьями; и вот становой таскает с собой суд на обывательских. Суд постановляет решения тут же, на улице, словесно, а „писать“ бу-

дут после. Писарь тут же. Вы представьте себе эту картину. Вдруг в полдень встают в село три тройки с колокольчиками: на одной стеновой, на другой старшина с писарем, на третьей—шесть человек судей...

...Везжает эта кавалькада, и начинается немедленно ругань, слышатся крики: „Розог!“ „Деньги подавай, каналья!“ „Я тебе поговорю, замажу рот!“

И опять приходит свидетель и, делая папирску, рассказывает:

— Как вжикнул, сразу кровь пошла.

— Да неужели же опять драли?

— А как же? Который заслуживает, храпит, пьянствует... Только не всех... Сейчас деньги явились... А которые оставши не сечоны, тем отсрочка на две недели дана... Ну, а между тем все к розгам подписались...

— Это что же такое?

— Драть, в случае не принесут денег...

И, помолчав немного, он прибавил:

— Смородины нарезали... на розги-то!..

— Да неужели же их силой кладут на землю?

— Кое силом валят, кое—сами ложатся. Вот ноне (когда секли 30 человек) сами все...

— Да неужели это правда?

— Да чего же мне лгать-то? Так один по одному ложатся...

Староста „приставляет“ мужика к розгам не за то, что хочет ему отомстить за обиду (он об этом молчит), а за то, что тот не внес 6-ти рублей, тогда как мог бы внести. В правлении, где репают число ударов и где человек готовится раздеваться, вы слышите разговоры о сене, которое продано за столько-то, упреки, что из этих столькоих-то рублей пропито больше, чем следовало:

— Сено теперь 45 копеек, это нам известно!—кричат судьи.—Ложись-ка!

— Коли бы по сорок-то пять я взял, так я бы и внимания не взял говорить!—оправдывается виновный.—Я тебе честью говорю—по 28 копеек.

— Полно зубы-то заговаривать—по 28! Знаем мы очень прекрасно. Твое сено—первый сорт. Слеп ты, что ли, за 28-то отдавать.

— А забыл, дождик-то сколько погноил!.. На Илью-то? Есть в тебе совесть?

— На Илью!.. Знаю я Илью!.. Ложись-ка без хлопот. Погноил!..

(Гл. И. Успенский—„Власть земли“).

## НА МИРСКОЙ СХОДКЕ.

— Что, Иван, аль опять  
Хочешь землю пахать,  
Что приехал из города к нам?

— Нет... не землю пахать,  
Хочу приговор взять,  
Отписаться совсем от крестьян...<sup>1</sup>

Мне в селе уж не жить...  
 Что ж я буду платить  
 И повинности зря отбывать,  
 Коли в городе я  
 И хозяйка моя,  
 Коль привыкли мы там проживать?..  
 — Ты, Иван, брат, уважь...  
 Сделай милость, расскажь:  
 Как живешь, что работаешь там?  
 Уж устрой таку честь...  
 Значит, льготы там есть,  
 Послабленье простым мужикам?  
 — Как вам, братцы, сказать:  
 Я вот стал работать  
 Наперво на заводе одном;  
 То железо таскал,  
 То меха раздувал,  
 То под клепкой держал молоток.  
 Понемногу смегать,  
 Значит, стал привыкать...  
 А теперь уж за слесаря я!..  
 Баба ходит стирать  
 Али там пособлять...  
 То ж бывает доходна статья...  
 Хлеб ли, ситный ли там  
 Тот же, что-й господам,  
 Одинаковый всем продают...  
 Утром, вечером чай...  
 Пошабашись—гуляй...  
 Так-то, братцы, там люди живут!  
 Были б руки лихи—  
 Ни косы, ни сохи...  
 По весне бороздой не ходить...  
 Ни двора, ни кола!  
 Комнатушка мала,—  
 Да ведь в ней не телят нам водить.  
 По гудку уходи,  
 По гудку приходи...  
 А коль праздник—втрактиры стуай:  
 Заиграют в орган,  
 Забубнят в барабан...  
 А ты дуй себе с бабою чай!

— Так... Спасибо, братан.  
 Только чудится нам,  
 Что не подлинно ты рассказал:  
 После жисти такой  
 А какой ты худой,  
 Словно год лихоманкой дрожал!  
 Весь как щепка ты сам,  
 Ни кровинки в лице не видать!..  
 . . . . .

Что ты, парень, ни бай,  
 А не сладок, знать, чай,  
 Хоть и вольно его там хлебать...  
 Баешь: ешь всегда  
 То же, что-й господа,  
 А не к брюху, знать, барски харчи?  
 Эх, родной, над землей  
 Ты ведь был не такой,  
 Хоть и редко едал калачи...  
 . . . . .

— Вот что, дед: про харчи  
 Ты уж лучше молчи;  
 Аль забыл про мякину с корой?..  
 Кто клопов не кормил,  
 Кулака не молил  
 За четвертку муки аржаной?...  
 Где земля—говори...  
 А тогда и кори  
 Перед миром крестьянским меня...  
 Знай, старик, не с земли  
 В город мы уехали,  
 Не на легку работу сбег я...  
 И не сам я ушел,  
 Меня голод увел,  
 Утащила злодейка-нужда!..  
 Ты всмотрись: каждый год  
 Сколько люду бредет...  
 От земли ль он бредет в города?!

(Ф. Поступаев—„У земли и котла“).

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### Начало XX-го века. — Деревня в годы первой русской революции (1905—1906 гг.).

#### „БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ О ЗЕМЛЕ“.

*Усадьба. Обширный, поросший травой двор. Около колодца и амбара группируются чего-то ожидающие мужики: одни лежат вниз лицом, другие сидят и жуют хлеб, третьи стоят и тихо о чем-то переговариваются... Из кухни доносится ритмическое постукивание: там что-то рубят: из барского дома—обрывки смеха, звон посуды, гаммы на рояле... Весенний полдень. Жарко.*

Ключников (*поднимая к небу голову*). Ах, ты, боже мой! Гляди, где солнышко-то!

Мужик 2 (*с иронией*). А ты сиди!.. Куда торопиться? Слышь, на музыке забавляются?.. Потерпи!..

Ключников. Терпи, терпи, все терпи! Когда-нибудь и терпенью конец придет... Дождутся... Словно мы—бревна какие, а не люди! Безо всякого внимания!... (*С крыльца проходит деловую походкой во флигель приказчик, со счетами в руке. Обращается к приказчику*). Долго ли еще нам дожидаться?

Приказчик. Подождешь! Не кушали еще...

Ключников. Да вот уж два часа ждем...

Приказчик. И еще подождешь: не барин!

Ключников. Жрут-жрут, конца этому жранью нет!.. Раз вышла бумага, нечего ее в кармане держать.

Мужик 1. Верно! (*К старосте*). Ты лучше сходи да скажи земскому, что его народ на крылец требует...

Ключников (*мрачно*). Пусть сперва манифест прочтает, а потом уж обедает.

Мужик 2. Не тронь его поесть! Сытый-то человек добрее бывает...

Ключников. Все они сыты... Знаем мы доброту эту...

Мужик 1. Ничего не поделаешь!.. Хлопочи, не хлопочи, все одно: они всегда правы останутся... И судиться не поможет... Пошел это я и заплакал...

Ключников. Может, когда-нибудь и мы их судить будем: ну, тогда... они плакать будут...

Староста. Чего городите?.. *(По дороге, ведущей из села в усадьбу, видны группы мужиков, баб, ребятишек, приближающихся к барскому двору)*. Вон они, полезли! *(Идет к воротам)*. Сказано было, чтобы ожидать! *(Машет рукой, чтобы отходили... Возвращается от ворот со стариком)*. Вот дедушка слышал, что в городе об'явили...

Старик *(таинственно)*. Сказывали, всем способие от казны, кому семенами, а кому деньгами... Кто как желает... И земству приказано миллион хлеба закупить... Читали? Говорят, в газете пропечатано, что поехали закупать в Одесту! Миллионы хлеба!

Мужик 1. Способия не выдадут, тогда и с землей делать нечего.

Мужик 2. А я так слышал, что хлеб действительно скупают, но только дескать для продажи... Сколько себе стоит.

Старик. Зачем миллионы хлеба?! Не господ же им кормить!

Корявый мужичонко. Они пшенишный кушают...

Старик. И про манифест, сказывают, в газетах пропечатано, а только прячут... В Семеновку, бают, газета попала, так урядник отобрал...

*(В садовой калитке показывается земский начальник)*.

Земский начальник. Староста!

Староста *(выбегая вперед и опираясь на грудь бляху)*. Здеся.

Земский начальник. Уполномоченные от сходов все?

Голоса *(из толпы)*: Все!—Здесь!—Так точно...

Земский начальник *(вынимая из кармана бумагу)*. Новый губернатор... Вам известно, что высочайшею волею назначен новый губернатор?

Голоса: Знаем!—Известно.—Покорно благодарим!

Земский начальник. Так вот... Новый губернатор обращается ко всем вам с добрым словом... *(Развертывает бумагу)*. Слушайте, что пишет вам новый губернатор на этой вот бумаге. *(Потрясает бумагой; в толпе затаенное ожидание, напряженное внимание. Земский читает)*. „Неурожай последних лет ясно показали, что необходимо всегда иметь хлеб в запасе“...

Голоса *(одобрительно)*: Верно!—Правильно!—Нельзя без хлеба!

Земский начальник. „Не менее должно быть понятно крестьянам и то, что, если подати и повинности оплачены, то лучше живется, а еще лучше, когда и подати уплачены и деньги у общества в наличности есть, чтобы на случай нужды помочь друг другу...“ Понятно? *(Гул радостной толпы)*. Вот то-то и есть...

Корявый мужичонко. Уж это на что лучше!..

Земский начальник *(опустив бумагу, об'ясняет)*. Пала ли лошадь, поломалась ли у кого телега, или какая-нибудь другая нужда вышла в хозяйстве, раз есть мирской капитал... *(Читает)*. „Раз есть

мирской капитал, общество пособит. И всего этого можно достигнуть: для этого не-об-хо-ди-мо молиться богу да постоянно работать (*в толпе вздохи*), твердо па-мя-ту-я, что честный труд господь наградит успехом“.

Корявый мужичонко (*глядя на небо*). Господь... Он—милосердный!..

Земский начальник. Да... Далее... Мм... (*Читает отдельно и вкнижительно*). „Поэтому мой совет крестьянину: начинать всякое дело молитвой, работать постоянно усердно; в кабак не ходить, не сквернословить, не петь непристойных песен. Волостным и сельским должностным лицам я приказываю держать в селах порядок, составлять хлебные запасы, исполняя в точности данные мною, через господ земских начальников (*показывает на себя*), приказания, и стараться составлять мирские капиталы на случай нужды. Должностные лица, которые сумеют выполнить указанные мною задачи, заслужат мою сердечную благодарность“. (*Опускает бумагу*). Слышали? Слышал, староста?

Староста. Слышал... Постараемся... (*Мужики молча глядят в землю*).

Земский начальник (*об'ясняет*). Что касается уплаты повинностей, то я уже говорил вам, что следует стараться уплачивать деньгами не от продажи хлеба, а заработанными. Хлеб же следует беречь, продавать его за бесценок не следует...

Ключников (*урюмо*). Нет его, хлеба!

Земский начальник. Нынче нет, а на будущий год будет! Губергатор советует не на один только нынешний год, а всегда так поступать. Понял? (*Ключников молчит. В толпе легкий говор*). Говори громко, ничего не слышу!

Голос (*из толпы*). Не то что продавать, а самим есть нечего!

Ключников. Нет хлеба!

Земский начальник (*с раздражением*). А я что говорю? Нынче бог не дал, на будущий год даст.

Старик (*из-за чужой спины*). Большое притеснение... На ревизскую душу у нас... Когда это размежка была...

Земский начальник (*обрывая*). Что такое? Какая размежка? Староста! Завтра собирай сход и об'ясни им, что я здесь читал и говорил... Затем,—все ли у вас благополучно?

Староста. Слава богу, все благополучно!

Земский начальник (*строго*). Нет ли каких-нибудь толков, разговоров в народе о прирзске земли?.. О том, что земля скоро к вам отойдет, и других подобных рассказней?.. (*Некоторое волнение в толпе*). Теперь ходят по деревням и селам злонамеренные люди и обманывают народ разными вздорными слухами... Эти люди—ваши враги... Если такой человек появится в деревне, хватайте его и ведите к уряднику!.. Ну, теперь с богом! Можете отправляться по домам! (*Поворачивается и медленно идет*).

Старик (*догоняя*). Ваше благородие! Погодь малость!..

Земский начальник. Ну, что еще?

Старик. Разное народ болтает. (*Задыхаясь от волнения*). У нас на ревизскую душу две с четвертью десятины, а народ множится... Тварь живая, ваше благородие... Что поделаешь? Вот оно и выходит... Податься некуда... Разное болтают. Вышла будто от батюшки-царя льгота народу насчет земли... Болтают тоже, что...

Земский начальник (*перебивая*). Очень скверно делают, что болтают... И если ты сам будешь повторять эту болтовню, то... (*Кричит*). Староста! Отправь этого дурака под арест на трое суток!.. (*Старик растерянно кланяется*).

Старик. Ваше благородие! Ваше благородие! За что?

Земский начальник (*оборачиваясь*). Не понял? Ну, посидишь и поймешь! Под арест!

Староста. Пойдем! (*Вздыхнув*). Ничего не поделаешь! (*Идет к воротам. Ключников идет позади них очень медленно, без шапки, глядя в землю. Вдруг он приостанавливается и злобно смотрит туда, куда ушел земский начальник. Из дому доносится говор, смех, и граммофон запекает: „Меж горами ветер воет“. Тогда Ключников, отмахнувшись рукой, сжато в кулак, надевает шапку и твердой решительной походкой идет за стариком*).

(Е. Чириков-- „Мужики“).

## АГРАРНЫЕ ВОЛНЕНИЯ.

На первой неделе поста вдруг, как в мертвую зыбь застоявшегося болота, покрытого ряской и плесенью, были брошены в деревню слухи, всколыхнувшие до самого дна ее сонную одурь:

— Началась где-то война.

Строились сотни догадок и предположений. Одни говорили, что война с турками, другие—с арапами, третьи толковали о поднявшемся Китае и близкой кончине мира. Но время шло, и как-то незаметно на язык подвернулся таинственный „гапонец“, живущий за тридевятью царствами и питающийся человеческим мясом. Это было пострашнее Китая. Говорили о нем шопотом, с оглядкой и молитвой, боясь, что он может услышать, выскочить из-за угла и тут же „слопать“ вместе с шапкой. Тряслись при мысли о наборе. Выбрали место, где бы закопать добро, „если придет в нашу деревню“.

В сырое, туманное мартовское утро посыльный из волости, верхом на пегой кляче, развозил запасным повестки: не отлучаться из дома, ждать набора.

Через день приехал земский начальник, собрал волостной сход. Прочитав длинную бумагу, из которой никто ни слова не понял, земский вытер платком розовую лысину, заговорил о шапках: ими надо заковать кого-то. Потребовал денег.

Мужики остолбенели.

— Сколько, ваше благородие?

— Триста.

— Что вы, пожалейте, может полтора ста хватит?..

Шапки—вещья не мудрая...

— Дураки!—сказал земский.—На святое дело, а вы, как жида, торгуетесь.

— Господи, да мы понимаем, только не по силам.

После долгих просьб согласился на двести.

Старики дома ругались:

— Ша-пки!.. Шапок не хватило, дьяволы рогатые!..

— Он себе зажилит, лопни его ятреба!.. На ша-пки!..

— Нету, мол, и больше ничего!.. И так, мол, выбившись из силы!..

— Мы эти шапки еще с Туретчины помним!..

— Что ж с ним сделаешь, не драться же,—оправдывались смяновья.—

Говорит: надо шапками действовать, вся сила в шапках... Мы их, говорит, как мошек изничтожим!.. Давайте, а то хуже будет... Я, брат, по всем волостям собираю... Бумагу вычитал про вер-отество, с ним разве сговоришь: у него глотка-то пошире жерела... И то насилу уломали на две сотни.

— С'едете вот сами-то скоро!.. Отество!.. Загнул куда мошенник!.. Без отества жили, мол, и будем жить... Правов таких нет, чтоб на отество!..

Накануне в сумерках был объявлен призыв. Рано утром молебен, и запасные поедут в город...

Запрягались подводы, укладывались солдатские пожитки. Унылое горе и тупое отчаяние ходили из двора во двор, нагло скаля зубы, колотили в ставни и двери, водворяясь хозяевами в темных и курных избушках. Покорные и молчаливые, люди безропотно подставляли свои закорузные руки, из'еденные работою, чтобы с песней и прибаутками заковали их незваные гости и повели куда-то, где тоска, лишения, чужие, страшные люди и холодный ужас смерти.

Товарищ Дмитрий, уже приготовивший газету с манифестом, ждал, наблюдая за публикой.

Когда все собрались, он прочитал манифест, но члены братства так же, как и я, как отец, Настя, не разделяли его восторга.

Думая, что манифеста никто не понял, Дмитрий стал говорить о высоком значении свободы слова, собраний, союзов, о том новом, что внесет он в жизнь русского народа, но все, будто заранее сговорившись, упорно молчали.

Тогда горожанин начал сызнава, приравливаясь к крестьянскому разговору.

— Мы, товарищ, поняли вас...—перебил я горожанина:—между нами нет ни одного, несогласного с вами.

Дмитрий еще хуже сконфузился.

— Мне лестно бы знать ваше мнение; ведь вы—главная сила.

Вскочил шахтер.

— Надо что-нибудь устроить, чтобы дым коромыслом пошел!..

— Зачем же дым?—поднял глаза товарищ Дмитрий.—Надо вообще работать: манифест открывает широкое поле деятельности...

— Поле!.. А про поле-то как раз ни слова!—закричали все разом ..

— А вы, братцы, как думаете насчет манифеста?—обратился он к компании молчаливо сидевших в углу мужиков.

— Ведь вот был разговор, что про землишку из'ян, — ответил Колоухий.

Протискался Калиныч к столу.

— Как меня мир избрал старостой, а которого прежнего сместил, то я должен высказать вам.—Лукьян вытянул руки по швам.—Первым делом—мы народ бедный, вторым делом—у нас ничего нет, четвертым...

— Третьим, а не четвертым.

— Третьим—у богатых всего много, четвертым—без земли не обойдешься...

Сказал и отошел к окну, вытирая шапкою пот с лица.

Набат раздался через полчаса, не более. Под окнами проскакал верховой.

— Скорее!.. Скорее!..

Толпа у церкви стояла грозная, молчаливая, как будто притаившаяся. В центре ее колыбалась кривая жердь с красным платком.

Богач взшел на паперть, дернул колокольную веревку.

— Савоська, брось!—кричал он вверх.—Ну чего зря лужишь? Слышишь ай нет? Баста!.. Саватей!

— Ты что там говоришь?—послышалось с колокольни.

Над перилами склонилась голова.

— Брось, мол!.. Звякаешь, а ни к чему!..

— Разве уже собрались?..

— Стало-быть уж собрались!..

Звон прекратился.

— Где тут?—спросил шахтер, оглядывая толпу.

— Все!—нестройно отозвались мужики.

— Притыкин тут?

— В холодной.

— А другие?

— И другие в холодной.

— Урядника надо арестовать.

— С полден нету дома.

Голова чужие.

По команде обнажились головы, и лица повернулись к церкви, осеняемые крестным знаменем.

Медленно, нестройно толпа поползла по шаткому мосту через реку к имению князя Осташкова-Корытова.

Впереди—шахтер с ружьем через плечо, рядом с ним Дениска и слободские парни.

У всех в руках дубины или вилы. За ними, как рассвирепевшие быки, тянулись остальные. Земля глухо гудела. Сопели, кашляли. Осторожно разводили сцепившиеся косы.

У березовой аллеи, в полверсте от экономии, несколько человек прыгнуло наутек. Их поймали, молча, тяжело избили и поставили впереди отряда. Илья Барский и Васин, с дубинами в руках, стали за их спинами. Так же молча, они вытирали окровавленные лица, жадно глотали снег.

У палисадника встретил часовой. Он взял ружье наперевес, крича: — Не подходить!.. Нельзя!..

Трехэтажный каменный дом, стоящий посредине старинного липового парка, окруженный чугунной решеткой, ярко освещен. Обитатели его не спят.

Солдат дал сигнальный выстрел, с боков и от под'езда ему ответили другие часовые. Часть мужиков разбежалась по парку. Часть бросилась к людской, где квартировали стражники.

Из караулки, смежной с домом, выскочило человек двадцать солдат в боевой готовности. А из дома, одновременно с ними, молодой, еще мальчик, офицер.

— Разойдись!— тонко закричал он, выхватывая на бегу револьвер.— Застрелю, прохвосты!..

Но никто не двигался.

— Грабители! Бунтовщики! Мерзавцы!— кричал он, становясь на носки!..

Солдаты, растянувшись цепью по дорожке, за клумбами, стреляли пачками. В них летели поленья, камни, комья мерзлой земли.

Из ярко освещенного под'езда выскочил сын князя Остапкова, барчук Володя. Высоко держа над головою револьвер, он палил наугад, не целясь. К нему подскочил Дениска.

— Тебя-то мне и надо!

Метнул в него кирпичом.

Барчук выронил револьвер и погнался за Дениской.

Тот пустился наутек, лукаво заманивая барчука подальше от солдат, но, споткнувшись, упал. Володя нагнулся над лежащим, хватая его за волосы.

— Вот тебе! Вот тебе!.. Я тебя знаю, ты—драловский!..

Подоспевший Ортюха сапожник перерубил барчуку хребет топором, а солдат убил Ортюху.

У нас падало все больше и больше, а солдатам было хорошо за клумбами. Тогда Никита Пузырев, тоже солдат, пришедший из Варшавы на побывку, Петя—шахтер, Гришка Вершок—с шапкой и Безземельный взобрались с ружьями на деревья. Неожиданно грянул залп с другой стороны, оттуда, где наши баталились со стражниками. Солдаты замечались в мертвом кольце: куда ни кинутся, их везде бьют; они закричали:

— Братцы, пожалейте!

Бросая ружья, поднимали руки вверх, а их все били, били, не будучи в силах остановиться, укротить себя, до тех пор, пока те не начали падать на колени, умоляя их пощадить во имя бога.

Здоровых и раненых, их, вместе с десятком стражников, загнали в погреб, к дверям приставили караул.

На пороге гостиной встретился старый барин с револьвером в руках. Кто-то ударил его палкою по голове, барин свалился и пополз под стол жалкий, противный, беспомощный.

Загорелись кухня, людская и крупорушка за садом.

В дом ворвались слободские...

Рвали ковры, подушки, картины, били посуду, зеркала, окна, ломали шкафы, статуэтки, мебель, хватали со столов безделушки, пряча в карманы, жадно ели белый хлеб, пили вино, рядились в барскую одежду, с проклятьем сбрасывая лохмотья...

Приехали ночью, когда все спали, в сопровождении стражника Демида Сергачева и брата его—Кирика, участника погрома.

Солдаты и стражники были пьяны, командовал ими высокий, сухой, с беспокойно-злыми глазами офицер и помощник исправника.

Приехали на мужицких подводах, окружили церковь, волость; взводами, блестя щетиной штыков, побежали по „концам“, заняли переулки, мосты, отрезали дороги...

Согнанных к волости осташковцев поставили в снег на колени...

Кирик и Демид с начальством сидели в присутствии. Кирик был пьян и жаловался офицеру на глупую голову, толкнувшую итти вместе со всеми на имение князя Осташкова; офицер морщился. Демид, стражник, одергивал Кирика за тулуп.

По списку, составленному со слов братьев, в волость втаскивали за ворот наиболее усердствовавших при погроме. Искали меня, шахтера, Мотю, грозили отцу, лежавшему в снях связанным...

Высекли среди площади Настю, замучили манчжурца, Богача, Софонтия оратора, Илью Барского, Максима Колоухого.

В ключья иссекли дядю Сашу, Астатюя Лебастарного, Рылова, Пашу штундиста, Сорочинского...

(Ив. Вольнов—„Юность“).

## Р А С П Р А В А.

... Поле топотом гудит,  
В поле тучей пыль висит:  
То не хан с ордой идет  
Полонить честной народ,  
Не турецкий царь Салтан  
Едет грабить христиан,—  
То идут, спешат стрелочки,  
Всё крестьянские сыночки,  
А начальство у стрелков  
Из дворянских всё сынков.  
Царь в поход их снарядил,  
Поц крестом благословил;

А настал отправки час—  
Прочитали им приказ,  
Чтобы в поле не робеть  
Да патронов не жалеть.  
Ой, и быстро же идут,  
Ружья меткие несут.  
Впереди-то генералы,  
По бокам бегут капралы,  
Офицеры на конях,  
В эполетах, в орденах,—  
Всё команду отдают,  
Барабаны громко бьют;

Трубы кованы трубят,  
Пушки медные блестят.  
Словно лес густой—штыки,  
Пулеметчики легки.

\* \* \*

Ой вы, каиновы дети!  
На кого ж орудья эти?

\* \* \*

Вот к деревне подошли,  
Пулеметы навели.  
— „Эй, какой тут есть народ?  
Выходи-ка все на сход.  
Вылезай из изоб вон,—  
Мы покажем вам закон!“  
Высыпают мужики;  
Стали против них стрелки.  
Генерал тут держит речь:  
— „А! так вы именья жечь!  
Вы просить земли и воли!  
Я попотчую вас вволю:  
Сколько хочешь, дам земли.  
Эй, повзводно, рота, пли!“

Грянул залп, за ним другой, —  
Огласил деревню вой.  
Метки пули у стрелков:  
Пало много мужиков,  
А старинушке Даниле  
Прямо в сердце угодили.  
И пошла игра-потеха...  
Да крестьянам не до смеха.  
Бабы, девки, берегись!  
Прыгай в реченьку, топнись!..

\* \* \*

А потом сожгли строенья,  
Лишь остался от селенья  
Придорожный старый крест...  
Вот и царский манифест!

\* \* \*

А войска царевы с пеньем  
По другим пошли селеньям  
Волю царскую творять,  
Мужиков землей кормить.  
Хвалят их попы за это  
И поют им „многи лета“...

(С. Басов-Верхоанцев—„Комек-скакунок“).

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

### От 1905-го до 1917-го года.

#### ПОСЛЕ 1905 ГОДА.

Горькое разочарование наступило быстро и неожиданно... Казаки, солдаты, обыски, порка, тюрьма...

Для е-цев вернулись старые времена—голода и рабства.

Невероятно озлобленные помещики и разговаривать не хотели о сдаче земли... Начался форменный голод...

— Экое дело! А? Вот поди ж ты, да и подумай...

— Дела, братец ты мой, я тебе скажу... Одно слово—смерть!..

В неопределенно тоскливом настроении е-цы провели полугодичную зиму, не зная, что будут делать дальше. Ходили к помещикам, но те все еще „ломались“ и не хотели разговаривать.

Пронесся слух о выборах в Думу; затем, о самой Думе. На минуту воскресла надежда. Сначала отправили в Думу „бумагу“ с изложением всех событий, а когда ответа не последовало—отправили троих ходоков.

— Так и скажите там: что если, мол, не будет вашего распоряжения, остается нам одно дело—помирать,—в сотый раз повторял старик Афансий Климов и давал ходокам десятки других наставлений.

— Постараемся... Чего уж! Все силы приложим...

— Главным делом заявите, что кругом нам обида. Ни земли нет, ни сеять нельзя. Кругом прижимка, и выхода нет никакого.

Верст пять провожала ходоков почти вся деревня; кричали пожелания; крестили... Возвращения ждали с мучительным нетерпением; каждый день почти давали телеграммы, ездили в город встречать.

Вернулись ходоки, подробно рассказали—где были и что видели.

— Какое же вышло решение?

— Обещали разобрать дело... Вишь, идет к ним таперича народ со всей России. Кругом то-есть неправда, так совместях они все разберут.

Начали ждать решения, а пока-что продавали последний скарб и занимали деньги под работу.

Распустили Думу. Весть эта, как громом, поразила крестьян. На некоторое время на всех напал столбняк; затем снова „метнулись“ к помещикам и снова ничего не добились...

Когда е-цы увидели, что „помощи таперича не будет“ и что „помрут они в самом скором времени“, решили „попытать счастья за Волгой“ и тронулись туда почти „всей деревней“. Это было временное переселение. Многие отправились с семьями, захватив лошадь и телегу.

Впоследствии они рассказывали, что „за Волгу столько привалило народищу, что шапка валится“, нанимали же лишь третью-четвертую часть, цены упали до крайности. После довольно продолжительной кампании и целого ряда забастовок большую часть е-цев вернули по этапу, а остальные полуголодные и оборванные вернулись месяцем позже...

Создались условия, когда никто почти не дорожил жизнью; тюрьма не пугала; люди шли „напролом“. Кое-кто „крепился“, „подтягивая животы“; писали, ходатайствовали. Но полное разорение шло быстро и приближалось к концу. За исключением десятка зажиточных мужиков, нагревших руки при общем разорении и голоде, все видели, что „висят на волоске“ и что „куда-нибудь нужно подаваться“.

Когда наступили зимние холода 1907 года, крестьяне сделали отчаянную попытку напомнить о себе. Вдруг 99 процентов е-ского населения приехали в город и расположились на базарной площади. Крестьяне, крестьянки, дети окружили полицейское управление.

Вышло начальство.

— Что, бунтовать? Чего вам надо? Что вам не сидится? Не живется смирно?!. Да я вас!..

Вышли вперед старики.

— Мы, ваше благородие, не токмо бунтовать, но даже хлеба не емши. Мы пришли закон искать, потому что чувствуем обиду... Ваше дело казнить нас либо миловать, а домой возвращаться нам не к чему: один конец. Мы писали, хлопотали—не вышло никакого сполнения. Теперь нам все равно.

— Берите ребятешек!—кричали бабы:—Нам нечем их кормить... Вы нас разорили—вы их и пропитывайте...

— Посмотри на нас, ваше благородие, ведь мы хуже шкилетов.

— Вернитесь домой! Начальство рассмотрит ваше дело!

— Не желаем!

— Умрем на месте!

Конные городовые разогнали толпу. Сопротивлявшихся арестовали. А на другой день две роты солдат перевязали е-цев и отправили их домой.

Через месяц после этого события в Е-нь пожаловали гг. землеустроители приглашать е-цев приобрести на хуторское пользование участок земли...

(Ив. Коновалов—„Очерки современной деревни“).

## СТОЛЫПИНСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО.

— Вы еще не видали настоящих крепких земле мужиков. Вот я вам сейчас представлю члена землеустроительной комиссии, умнейшего человека, преданного государству и закону... Позовите Моисея Сазоныча!

Вошел крепкий земле человек в поддевке, в сапогах бутылками, загорелый, с черной бородой и глазами, похожими на маленькие чашечки аптекарских весов,—не глядит, а взвешивает такой человек.

Непременный член сдал меня с рук на руки этому Моисею, и мы отправились с ним в трактир попить чайку и побеседовать.

— Закон,—говорил мне за чаем мудрец,—первое дело для нашего народа. Закон! Моисей дал закон народу, а сам получил от бога. Что говорить—закон свят. Да вот мужик-то наш, с позволения сказать, что топор источенный. Я им об'ясняю: первая польза от нового закона <sup>1</sup>... если с обществом не согласен и хочешь ховяйствовать по-своему, клевер сеять или томашлак, так сей... Говорю им, хорош закон. Слушают, слушают, и ну гадеть: ты заодно с ними, ты от них деньги получаешь... а куда же мы слабого человека денем,—не пускать же его бобыль-бобылем? А я им в ответ на это об'ясняю: законы издаются для мужественного человека, а не для слабосильного.

— Позвольте!—остановил я речь мужественного Моисея,—не для того закон издается, чтобы сильный с'едал слабого...

Моисей Сазоныч не дослушал моей речи, чашечки весов в его глазах вдруг заколебались, он хитро улыбнулся и спросил меня:

— Для того, чтобы сойтись двум человекам, что нужно?

— Искренность!

— Водочки выпить,—засмеялся Моисей...

Пока буфетчик подавал, Моисей Сазоныч успел расспросить, кто я таков, чем занимаюсь. Когда он узнал, что я не чиновник, а совершенно посторонний человек, то он совершенно преобразился...

— Оно, действительно,—сказал он, выпив и закусив,—ежели по христианству...

— Вообще,—сказал я,—по-моему, закон несправедлив...

<sup>1</sup> После революции 1905 г. председатель совета министров П. А. Столыпин, исходя из политических соображений, предпринял ряд мер к преобразованию крестьянского землепользования. В течение пяти лет, с 1907 по 1911 г.г., был издан ряд указов и административных распоряжений о землеустройстве, получивших законченную форму в „Положении о землеустройстве“, опубликованном 29 мая 1911 г. Главные пункты этой земельной реформы заключались в праве на свободный выход из общины, в создании мелких хуторских хозяйств (выход на отруба), продаже крестьянам, через землеустроительные комиссии, свободных участков из казенных, удельных и помещичьих земель и т. д. Разрушая общину и создавая мелкого собственника,—„крепкого земле мужика“, Столыпин предполагал создать, вместе с тем, и кадры верного правительству крестьянства. Но крестьянство в массе своей осталось недовольно новым законом, так как с разрушением общины оно теряло некоторые выгоды, наприм., пользование всей деревней общими выгонами для скота и пр. Усилилось и классовое расслоение среди крестьянства:—богачи выходили на отруба, скупали земли; бедняки, теряя поддержку общины, нищали окончательно, шли в батраки или в город.

— Вообще,—обрадовался Моисей Сазоныч,—вообще и по преимуществу „не закон виноват, а начальство“... Внутреннее начальство ни при чем, виновато внешнее, то, которое поближе к мужику. А внутреннее, которое в Петербурге, то хорошее, оно добра желает мужику. Сей,—велит,—люцерлу или могоар или томашлак, и будешь сыт, и скотинка сыта будет, и сам кваску попьешь. Внутреннее начальство доброе. Оно не понимает только, как я могу сеять то, чего и сам не знаю,—примерно, томашлак,—разве мы знаем, на что годятся его семена? Я должен до нитки знать, что я сею. Или говорит еще: привяжи овцу к колу. Мыслимое ли дело овцу к колу привязать? Внутреннее начальство и радо бы, а вот внешнее!

Моисей Сазоныч передал мне ряд примеров, как помещики прямо через банк (а не через комиссию)<sup>1</sup> продавали свою землю по 270 руб. за десятину.

— Да ведь это чахотка!—воскликнул он.—Ведь это садок мужику! Мыслимое ли дело мужику выплатить такие деньги и еще поправиться? Селятся только, чтобы землю захватить, а как война, так, говорят, сейчас все на три клина переделаем. Только и ждут, как бы война, как бы война...

Я не раз слышал от крестьян это желание войны. И что-то похожее вспомнилось из настроений общества в японскую войну.

— О, господи!—продолжал Моисей свою речь,—я другой раз всю ночь думаю, как вывести народ; думаю, думаю,—куда ни кинь—все клин. Ежели взять пример с Германии... Куда! Ежели Франция... Ну, у тех тоже ничего не выходит, как и у нас, только от других причин. Там, что ни начнут, так господь их опять на прежнее место ворочает...

— Как?

— Очень просто. Вот я, к примеру, думал-думал и придумал, как народ вывести; подговариваю с собой других. Ну, сделали резолюцию (революцию) и вывели. А другой тоже подговорил, сделал вторую резолюцию, и выходит все на том же месте, только слова: первая резолюция, вторая резолюция... Не успела одна резолюция пройти, а уж другая подходит и третья... Значит, это столп выходит. С одной стороны, будто и столп, а с другой—круг, потому все опять к своему месту ворочается, только счет остается: первая резолюция, вторая резолюция, третья резолюция...

... Везде говорят о переселении. Народ стал не такой, как раньше: все что-то придумывает, все что-то загадывает. Народ—будто муравей, вернувшийся в раскопанный муравейник: стоит ли строить новую избу, или перебраться на новые места?..

Давно, испокон веку, стояла деревня у дороги, а теперь от нее остались два гнилые сарая. Деревня перебралась версты за две, к пруду, на помещичью землю. Купили и перебрались. У воды „способнее“...

Прохожу по новой улице и думаю: „Вероятно, в Сибири на новых местах или у пчел в ульях новой системы так же без толку копошатся“.

<sup>1</sup> Землеустроительные комиссии.

А избы! Одна повернулась в одну сторону, другая в другую, третья в третью. Одна далеко ушла от дороги, другая—поближе, третья и вовсе вылезла чуть не на середину улицы... Настоящие анархические избы, полное непризнание соседней избы!

— Зачем так? Как вообще вы живете?

— Житье, ваше благородие, египетское,—отвечают мне „купцы“<sup>1</sup>.

— Сумку бы надеть!—говорит пессимист.

— Переселимся!—успокаивает оптимист.

— Где переселиться!—заглушают его голоса.

Одна и та же тоскливая черноземная песня. И внешний вид „купцов“, их жилищ, и настроение их перед опасностью не заплатит по случаю неурожая громадный долг банку—все сулит недоброе...

— Садок! Зарез!—галдят „купцы“.

— Зачем же вы шли сюда?

— Дома кота выгнать некуда, вот и пришли.

Тоскливо глядит на нас сверху барская усадьба, пустая, с каким-то отвлеченным, неумолимым хозяином, которому эти мужики должны выплачивать пятьдесят пять лет долг в 250 рублей с десятины...

Жалуются на все, а главное на то, что скотину некуда выгнать. Не могут себе представить, как можно скотину „на колу“ держать. Двести коров и двести пастухов! Немыслимо...

— Зачем же вы шли сюда?—повторяю я.

— Что тайть,—говорит один,—рано ли поздно ли опять будет забастовка, опять лопнет, вот тогда-то мы и переделаем на три клина, все опять смеем...

— За это время,—говорю я,—кто посильнее, устроится и не даст буйтовать.

— Не успеют. То раньше будет. Не успеют, потому и им негде скотину кормить...

... Все мужики теперь об'едняются в общем гуле недовольства... Бранят Думу, бранят правительство, господ, но особенно бранят хутора.

„Куда деться тем, кто лишится земли?“—вот общая жалоба.—„Тех больше, кто останется без земли“. Но самое главное: зачем все это сделано?

— А вот зачем...

Один бродячий об'ясняет теорию о „крепкой земле“ и верных правительству мужиках.

Все это знают, но делают вид, что слышат первый раз, и будто сразу неожиданно открывают „заковырку“, отчего становится понятна вся механика политики правительства с самой нехорошей стороны...

(М. Пришвин—„Заворошка“).

<sup>1</sup> „Купцами“ крестьяне прозвали своих односельчан, выделившихся из общины.

## ДЕРЕВНЯ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1914 г.

(Среди пляса порывисто распаивается дверь, входит запыхавшийся старшина с цепью на груди, в руках бумага).

Старшина (*трясет бумагой*). Мир честной! Мир честной!  
(*Все враз смолкают, останавливаются*).

Старшина. Православные! Война!..

Петр (*подходит, не торопясь, к старшине*). Как война? Какая война? Что ты?

Старшина. Здорово, Петр Назарыч, здорово, хозяйшка молодая да молодой хозяин! Здорово, мир честной! Враг войну об'явил нам. Из города курьер прискакал. Мобилизация об'явлена... Война...

Голоса: {  
Неужто война?  
Го-осподи!  
Царица небесная...  
Война...

Старшина. Кроволитье будет большое. Много держав ввязалось в драку.

Голоса: {  
Господи! Что-то будет, что-то будет...  
Сказывают, планида по небу гуляет... Звезда с хвостом...  
Ой, господи, помилуй нас... Война...

Старшина. Православные! Парни, мужики... Краснобилетники, белобилетники... Завтра к утренней заре все в волюсть. Мобилизация. Много народу требуют.

Голоса. А откуда?

Старшина. В город.

Голоса: {  
Как? Пошто в город?  
Сразу?

Старшина. Сразу. Спешно. Строгий приказ. И тебя, Влас Петрович, огорчить должен. Заберут. И тебя, Степан, и тебя, и тебя. Да без малого всех возьмут.

*Входит народ с улицы. Начинается плач. Девки обнимают парней. Слышны выкрики*).

Старшина. Эй, мужики! По домам, по домам! Нюни распускать некогда. Эй, бабы!.. Марш! Еще успеете наплакаться.

(*Все, толпясь, помаленьку выходят. Старшина следит глазами*).

Варвара (*утирая слезы*). Из-за чего же это война-то, господив старшина, батюшка?

Старшина. Неизвестно. Стало-быть, цари не поладили чего-то.

Петр. Нас спрашивать не станут.

Влас (*он роется в сундуках, разыскивая аммуницию. Сердито*). Не станут. Вот то-то что не спрашивают... Мы бы им...

Старшина. Наше дело маленькое.

Влас (*еще более раздражаясь*). Маленькое? Они своими боками попытали бы... А то выпишут указ—народ иди! Эвот я, почитай, мальчишкой был в японскую-то войну. Реки корейские солдатскими телами

прудили. Как трава под косой народ ложился. И теперь то же самое? Где же правда-то? Где бог-то?

Варвара. Забыл нас истинный Христос...

*(Варвара валится на кровать и воеет).*

Влас *(крупно шагает по избе)*. Черти!.. Ух, черти! Верно рабочие-то толковали: к чорту всех царей, тогда и войнам крышка. Ну, пошто народу друг с другом воевать? Земли, что ли, у врага мало стало?

Петр. Экие дела какие! Канитель какая... А?

Влас. А ежели тесно—приходи, живи у нас. То-ись, прямо не из-за чего стало бы народу драться. А это цари да графья с князьями. Да богачи-милльонщики. Тьфу! Вот по всем церквам указ... „Мы, божьей милостью“... Милость! Нешто это милость! *(Трясет рукой к сожнице)*.

(В. Шишков—„Вихрь“).

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

# Деревня в годы Великой русской революции (1917—1922 гг.).

### ЗЕМЛЯ РОДНАЯ.

Земля родная, Твои просторы Гудят набатом, Зовут призывом, И голос властный Зажжет, и скоро, Огонь великий По тихим нивам.	Расправит крылья. Уж слышны взмахи, Уж слышен ропот И гнева крики. Гудят набаты, Горят призывы, Поля и нивы В одно сзывая. Твои просторы Пылают гневом, Огнем отмщенья,— Земля родная!
---	---

Народ, стоявший  
Вдали от пира,  
Народ, стонавший  
В нужде великой,

(М. Артамонов—„Земля родная“).

### ЧЕЙ САД?

Пришлось мне побывать в Тамбовской губернии.

Попал в деревню на сход.

Возле старенькой церкви собрались крестьяне.

Пришла барыня, соседняя помещица, стала плакаться.

— Вот, старики, обираете вы меня—весь сад ваши ребята да бабы оборвали, яблочка покушать не оставили. А за что? За что вы меня мучаете, тираните?

— Знамо, не хорошо,—загудели старики,—это ни к чему.

— Ну, вот, вот, как же можно! Вот, говорят, сад теперь не мой... Да как же не мой? Кто же о нем заботился? Кто его хранил? Бывало, и веточку подряжу, и червяка сниму, и все думаю, все думаю о саде, голова разболится, просто от бессонницы пропала. Нет, он мой, мой сад. Никто не смеет отнять его у меня. Никого не послушаюсь.

— Знамо, забота,—послышалось в толпе.—Каждое утро видим: как кофеху понешь, за-раз в сад. Забота твоя, а мы, бывало, деревья окапывали, во наломаешься, по полтиннику с рыла, наслу к вечеру до избы доплешь.

— Чего ж вы хотите, старики, ведь я и лопаты не подыму.

— Куда тебе! Не сдюжаешь...—послышалось кругом,—у тебя, чай, мозоли не растут на руках.

— Ну, вот! А вы говорите—сад не мой.

— А как мы по осени яблоки сымаем,—голосисто закричала солдатка Матрена,—на лестнице тянешься-тянешься до веток за пятнадцать копеек в день.

— Господи!—закричала барыня,—да я и на лестницу не подыму. А все-таки сад мой. Ведь я каждое деревцо знаю, как сына своего родного.

Вышел из толпы дед Созонт, старый, борода белая, согнулся. Подвигал заросшим волосатым ртом и сказал, глядя на барыню слезящимися глазами:

— Слышь, барыня, дедушка-то твой, упокойничек, царство небесное... Бывалыча, сам везде не то што там управляющего али приказчика, везде сам, ну суетной был, ну заботливый...

— В него, стало, барыня-то наша,—послышалось из толпы.

— Сад этот самый садил своими руками, никому не доверял. Бывалыча, выгонит нас староста,—крепостными были мы-то у него, а я парнем о ту пору был,—выгонит нас, поставят человек тридцать ямы рыть под яблони, сажать стало-быть дерева; ну, роем, а дедушка твой ходит взад-вперед, и плеть у него. За-раз обмеряет яму, мало, не дорыл,—,становись, такой-сякой, на карачки!“ Ну, куда же деваться, станешь на карачки, он и зачнет охаживать плетью, и зачнет охаживать, все портки плетью сымет, один голый зад. Да, и все сам. Не то штоб там на конюшню отослать, штоб отпороли, а собственноручно,—трудолюбивый был. Вот мне девятый десяток пошел, а все, быдто, сзаду мне холодно...

Все засмеялись.

— Это теперь, дед, тебе холодно, а тогда, небось, жарко было.

Барыня приложила платочек к разгоревшемуся лицу:

— Ну, да кто старое помянет, тому глаз вон.

— Знамо, об старом неча поминать. Об старом поминать,—сто глаз будь, все выколешь. Да оно и на новое глаз не хватит.

(А. Серафимович—,Рассказы\*).

## КОНЕЦ ПОМЕЩИЧЬЕЙ ВЛАСТИ.

— Барин (*дрожащим голосом*). Хэ-э... Братцы... Как же так, собственно говоря, незаконно... Братцы, сколько лет жили в мире и согласии... К чему же такая, собственно говоря, несправедливость? Мы все по-хорошему устроим...

Степан. А мы, мужики, больно хорошо помним, какой мир и согласие были промежду нами и барами!

Мирон. И то верно. *(К барину)*. Вспомни-ка, Лександр Миколаич, когда мы к тебе пришли просить по-хорошему: уступи, мол, нам, барин, Глуховы дуга, потому зарез без них крестьянскому хозяйству, — ты, значит, што нам ответил? Закричал, затопал и выгнал нас вон. Как, мол, вы смеете, мужичье сиволапое, да на барскую землю зариться!

*(В толпе движение)*.

Степан. А когда в пятом году мы решили запахать твою землю, ты што сделал? Вызвал казаков, поставил два ведра водки да спустил на нас, как бешеных собак!

Толпа. У-у... Ироды!.. Управы на вас не было. У-у...

Вова *(злбно)*. Демагог! Подстрекатель!

Степан. Ты что там кубякаешь, барчонок? Али я говорю неправду?

Толпа. Правильно, Степан! Верно!

Степан *(подходит к Воле, берет его за руку и выводит на середину, тот упирается)*. А ну-ка, подь сюды, посчитаемся! *(Меряет его взглядом с головы до ног)*. Мы с тобой погодки, я тебя вот с этих лет знаю *(показывает)*. А как ты рос, отвечай-ка? *(Вова злбно молчит)*. Молчишь? Дак я за тебя скажу. Ты вот в тепле да в холе вырос, за тобой мамки да няньки ходили, барско дитё стерегли. А потом тебя в господску школу отдали, наукам учиться. А я как рос? За мужицким дитёй какой присмотр был да забота? Молчишь? А вот тебе каждый скажет *(показывает на крестьян)*: с телятами вместе вырос, с курами в бурьяне бегал. А учился в избе на печке науке большой: по складам читать. Отчего же такая разница, дозвошь спросить, а? Не оттого ли, что я родился от простой крестьянки, а ты от породистой графской бабы, а?

Митюха. Отбрил! *(Подмигивает на барыню)*.

*(Матрена прыскает со смеху)*.

Толпа *(смеется)*. Здорово! Молодец Степан! Наддай еще!

Степан. Нет, господа дворяне *(подходит к столу и с силой ударяет ладонью)*, — будя! Вот перед всем честным народом об'являю вам: были баре, да пробарились! Ваше правительство свергнуто, ваши министры арестованы, все ваши законы уничтожены! Нет больше таких прав, чтоб дармоеды-бездельники всем добром владели да народом командовали. Вся власть в государстве — нам, Советам Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов, — и н и к о м у б о л ь ш е ! *(Стучит кулаком)*. Все земли, фабрики, капиталы — нам, трудовому народу, — и н и к о м у б о л ь ш е ! *(Опять стучит кулаком)*.

*(Дуняша хлопает в ладоши. Митюха показывает нос Воле)*.

Толпа. Правильно! Довольно побарствовали! Наша воля!

Степан. Барское имущество, как и земля, тоже — нам, всему народу: не тебе, Тихонич, не тебе, Мирон и не тебе, Матрена — никому из нас в отдельности, а всем нам вместе. Вишь, — каки здесь хоромы, каки креслы, ковры, кака библиотека, картины! *(Показывает, толи следит за его рукой)*. Если все это мы будем делить, то загубим только добро, а на каждого и по целой вещи не достанется. Нет, товарищи, мы не тронем здесь ничего, а только выставим отсюда господ на все

четыре стороны (*Вова гордо задирает голову*) и устроим тут наш крестьянский народный дом—будем в нем все хозяева!

Т о л п а. Вот это дело! Правильно толкуешь, Степан!

Т и х о н ы ч (*седобородый дед, стучит батоном, чтоб стихло*). Ты, Степан Михайлыч, все дело рассудил по справедливости, то-ись по-хозяйски рассудил. Оно действительно: по кирпичику растаскать долго ли, да от кирпичика пользы-то будет много ли? Хошь мне, хошь тебе, хошь ему, хошь кому! Ни седельца, ни уздицы, ни той вещицы, на што надеть уздицу! Мое суждение такое: разорять гнёздышко не станем, барску кукушку-чужедомку из него выживем, а сами в него возьмем да и сядем!

Т о л п а. Верно, Тихоныч! Эх, верно! В самый раз!

Т и х о н ы ч. Так и поставим всем миром. Иван Петров, пиши: быть графскому дому со всем имуществом и со всей усадьбой за обчеством села Антипина. А тебе, Степан Михайлыч, от обчества низкий поклон! (*Кланяется земно, многие из толпы тоже кланяются*).

(*Писарь усаживается за стол и пишет*).

С т е п а н. Товарищи! С этого дня пойдет у нас все по-новому! Земля-матушка—вольная! Жизнь наша—светлая, просторная!

(В. Карпинский—Мы и они. Народная драма).

## ДЕКРЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 19 ФЕВРАЛЯ 1918 Г.

### О социализации земли.

Ст. 1. Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы в пределах Российской Федеративной Советской Республики отменяется навсегда.

Ст. 2. Земля без всякого (явного или скрытого) выкупа отныне переходит в пользование всего трудового народа.

Ст. 3. Право пользоваться землей принадлежит лишь тем, кто обрабатывает ее собственным трудом, кроме случаев, особо предусмотренных настоящим законом.

Ст. 4. Право пользования землей не может быть ограничено: ни полом, ни вероисповеданием, ни национальностью, ни подданством.

Ст. 5. Распоряжение недрами земли, лесами, водами и живыми силами природы предоставляется, в зависимости от их значения, уездной, губернской, областной и федеральной Советской власти, под контролем последней.

Ст. 6. Весь частновладельческий живой и мертвый сельско-хозяйственный инвентарь переходит без выкупа из нетрудовых хозяйств в распоряжение, в зависимости от их значения, земельных отделов: уездного, губернского, областного и федерального Советов.

Ст. 7. Все постройки, означенные в ст. 6 хозяйственные, а равно имеющиеся при них сельско-хозяйственные предприятия без всякого выкупа переходят, в зависимости от их значения, в распоряжение уездного, губернского, областного и федерального Советов.

Ст. 8. Все неработоспособные лица, которые, в силу настоящего закона об отчуждении земель, лесов, инвентаря и прочего находящегося на сих землях имущества, совершенно лишаются средств к существованию, могут, по удостоверению местных судов и земельных отделов Советской власти, впредь до издания общего закона о страховании неработоспособных граждан, пользоваться правом получения пенсии (по смерти или до совершеннолетия) в размере существующей солдатской пенсии.

Ст. 9. Распределением земель сельско-хозяйственного значения между трудящимися ведают сельские, волостные, уездные, губернские, областные, главные и федеральные земельные отделы Советов, в зависимости от значения этих земель.

Ст. 10. Запасным земельным фондом в каждой республике ведают земельные отделы главных и федерального Советов.

Ст. 11. В задачи распоряжения землей со стороны земельных отделов местной и центральной Советской власти, помимо справедливого распределения земель сельско-хозяйственного значения среди трудового земледельческого населения и наиболее продуктивного использования национальных богатств, входят:

а) Создание условий, благоприятствующих росту производительных сил страны, в смысле увеличения плодородия земли, поднятия сельско-хозяйственной техники и, наконец, поднятия уровня сельско-хозяйственных знаний в трудовых массах земледельческого населения.

б) Создание запасного фонда земель сельско-хозяйственного значения.

в) Развитие сельско-хозяйственных промыслов, как-то: садоводства, пчеловодства, огородничества, скотоводства, молочного хозяйства и проч.

г) Ускорение перехода от малопроизводительных к более производительным системам полеводства в различных поясах, путем равномерного расселения трудящихся земледельцев.

д) Развитие коллективного хозяйства в земледелии, как более выгодного в смысле экономии труда и продуктов, за счет хозяйств индивидуальных, в целях перехода к социалистическому хозяйству.

Ст. 12. Распределение земли между трудящимися должно производиться на уравнилельно-трудовых началах так, чтобы потребительно-трудовая норма, применяясь в данном районе к исторически сложившейся системе землепользования, не превышала трудоспособности наличных сил каждого отдельного хозяйства и, в то же время, давала бы возможность безбедного существования семье земледельца.

Ст. 13. Общим и основным источником права на пользование землей сельско-хозяйственного значения является личный труд. Кроме того, предоставляется органам Советской власти для поднятия сельско-хозяйственной культуры (устройства сельско-хозяйственных образцовых ферм

или опытных и показательных полей) занимать из фонда запасных земель (бывших монастырских, казенных, удельных, кабинетных и помещичьих) определенные участки земли и обрабатывать их трудом, оплачиваемым государством.

Ст. 14. Все граждане, занятые земледелием, должны быть застрахованы за счет государства на случай смерти, старости, болезни, увечья, делающих их нетрудоспособными.

Ст. 15. Все нетрудоспособные земледельцы и неработоспособные члены их семейств должны быть призываемы за счет органов Советской власти.

Ст. 16. Каждое трудовое сельское хозяйство должно быть застраховано от пожара, падежа скота, от неурожая, на случай засухи, градобития и других стихийных бедствий путем взаимного Советского страхования.

Ст. 17. Излишек дохода, получаемый от естественного плодородия лучших участков земли, а также от более выгодного их расположения в отношении рынков сбыта, поступает на общественные нужды в распоряжение органов Советской власти.

Ст. 18. Торговля сельско-хозяйственными машинами и семенами монополизирована органами Советской власти.

Ст. 19. Торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна быть государственной монополией.

---

### „К А Н У Н“.

Хоть кол на голове теши у наших мужиков, не переучить, не перешибить их. Заладит свое — и ни с места. Вот хотя бы про коммуны. Сперва выговаривали к о м у н; потом — к а н у н, на этом и сели.

В деревне теперь одна думка, одна забота — коммуна. Как ни верти, а с весны влетишь в коммуны. Сам не пойдешь, другие вволокнут.

Изо дня в день наезжают в деревню, налетают, точно ласточки перед весной, городские комитетчики. Все о коммуне речь заводят.

— Своей же пользы не понимаете, товарищи, — надрываются комитетчики. — В коммуне 8-часовой рабочий день. А поодиночке вы по восемнадцати часам тужите, а толку никакого. В коммуне — книги, газеты, барское житье. А вы в ваших мазанках от копоти задыхаетесь.

Темны мужики. Жуть на них наводит „канун“ этот самый. Особенно, если уговаривает городской какой-нибудь комитетчик, который и сохи-то в руках не держал. Вот с такими-то и влети в „канун“: он тебе будет лясы точить, а ты работай за него.

— Мы что ж, мы согласны на канун ваш, товарищи, — чешут мужики затылки, с хитрецей. — Только чтоб все работали за плугом аль на гумне. Никаких комиссаров в кануне чтоб не было! Лясы точить не желаем.

— Без этого нельзя, товарищи. Кто же будет глядеть за общим добром?!

— Ага! Вот где собака зарыта. Это, стало-ть, ваша городская выдумка—канун. Комиссарить над нами будете, а мы лямку тяни? Вот ежели уговариваешь нас в канун—останься у нас да поработай до седьмого поту, а тогда мы увидим. Так-то, товарищ. Докажи!

— И останусь! И докажу!

Занят был товарищ до зарезу, пол-уезда надо было об'ехать, чтоб доказать: остался в имении простым батраком.

Зимой дел не ахти в имении, да все ж работа была.

Заставили его дрова возить. В пальтишке на рыбьем меху, щуплый, тщедушный, кричит товарищ над запряжкой, мучит себя, не ладится у него.

— Товарищи!—бежит он к бородачам, — покажите, как запретить. В первый раз. Потом я сам уж.

Ухмыляются бородачи. Но показывают.

— Спервоначалу, конечно. Одначе, малый старательный.

Пошла работа у товарища, как по маслу. Навозит дров, наколет, да еще за скотиной ухаживать бежит. Работа так и кипит. Видят мужики—зря ломались. Работник из комитетчика хоть куда. С таким не зазорно работать.

— Молодчага! — хвалят бородачи. — Видим, твоя правда. В кануне-те еще больше сработать можно, ежели по совести, один перед другим.

Ликует товарищ:

— Вот! С весны, значит, и начнете работать коммуной?

— Быть по-твоему!

(Шимен Карпов—„Трубный глас“).

... Матрена рассказывала мне, что вместе с мужем содержала постоянный двор, что теперь муж ушел в Красную армию и что теперь всем делом заправляет она.

Мужик у нее был покорный, но почтенный... Поэтому ее на деревне звали „Матрена Семская“, по мужу Семену.

— Ноне надуть в город с'ездить,—заклчила Матрена.

— На базар?

— Нет, какие ноне базары! То и дело конные разгоняют. Да еще, слышь, не русские, мадьяры, что ли. Нет, не на базар я. А вот тут присмотрела в одном доме у барыни роляю. Она ее на хлеб меняет.

— А что тебе в роляе-то?

— Как что? Глядишь—кто из заезжих поиграет. Да и в горнице будет по-настоящему.

— Видно, ты из богатых?

— Пока неча бога гневить. А только уж и голытьбы этой ноне развелось—пуще прежнего! Поди-кось вот по деревне—прямо которые дохнут с голоду. Недавно схоронили сына Прохора-Козла. Прямо ни

с чего помер, не с болести, а от голоду: пошел во двор колесо чинить, сел на бревно под навесом да так в одночасье богу душу и отдал.

— Что ж, стало-быть, ныне хуже стало?

— Оно кому как.

— Ну, да: ты вот себе рояль ищешь, а рядом люди с голодудохнут.

— А кто в этом виноват? Они, они виноваты, мил человек.—Баба даже вскочила, и глаза ее заискрились. — Вон энти, которые мякину едят с соломой, они и виноваты. Где бы стакнуться и сговориться—они ругаются. Мне что? Не мое это дело, а кабы я с ними была, я бы богачее не стерпела. Виданное ли это дело: ведь теперь республика. Когда же бедноте и отстоять себя, как не теперь? По совести тебе скажу, и богачее бы я по шапке, да и комиссаров бы не стерпела. Потому к делу мало способны, а все больше живность по дворам ищут. Вон вечер у нас тут драка была: Микита Щелкунов, богатущий мужик, свадьбу устроил; к нему пришли трое: милиционер Фомка, коммунист один да председатель из волости, Алексей Петрович. „Давай,—говорят,—налог денежный“. А Микита Щелкунов и говорит: „От налога не запираюсь, а только давайте спервоначалу выпьем для-ради поздравления, как, дескать, на свадьбе“. Выпили. Вот милиционер и говорит: „Хороший ты мужик, Микита, хоша и кулак. Желая,—говорит,—тебя ослобонить от налога“. А председатель ему: „Врешь! Ты ничего не можешь! Это я могу ослобонить, потому как я председатель“... Тут этот парень, который коммунист, полез на обоих: „Брете,—говорит,—вы оба, потому как у нас ячейка, и вы под нами находитесь. Не верь,—говорит,—им, Микита Федотыч, только я один могу с тебя налог сбросить“. Слово за слово, а опосля в драку и—пошла писать!

Мне хотелось еще раз испытать Матрену, и я спросил:

— Что ж, выходит, при царе лучше было?

— Лучше ли, хуже ли, а только нам его теперь не надо. Теперь нам республику давай.

— А голод?

— Народ переможет,—чай, не французы!

— А разверстку-то как выполняете?

— Э-э, брат, загани другую загадку, а с этой мимо проходи.

— Да как же, ведь людям нужен хлеб-то?

— Будет солнышко—будет ведрышко. Будет ведро—будет хлеб!..

(А. Аросев—„Страда“).

## СТАРЫЙ И НОВЫЙ УКЛАД В ДЕРЕВНЕ.

Солнце мелким решетом пыль по избе сеет.

Кот на подоконнике за ухом лапой чешет.

Бабушка Матрена в переднем углу божью мать просит со вздохами:

— Пресвятая владычица, матушка, сохрани непутевого сына Андрона. Воевать пошел дурак—убьют.

Кладет поклон земной в половичку, башмаки кабдуками кверху торчат. Падают слеза незаметная...

— Жалко дурака—молодой.

Вечер в окно заглядывает...

Дверь—настежь, на пороге колокольчики заиграли. По глазам ударила рубашка красная. Шапка пальцем кверху, на шапке звезда пять концов. Бабушка—в угол от страху...

Снял шапку страшный человек, маленько на детище похож.

— Здравствуй, мама!

Голос-то, голос-то, как у Андрона.

— Или не узнаешь?

— Господи Сусе Христе, Андронушка!

Оплела Андронову шею руками, плачет, улыбается бабушка Матрена...

Шагнет Андрон—по избе колокольчики. Направо—звон, налево—звон. С музыкой весь.

— Что это гремит у тебя? Аль игрушку какую привез?

— Цпоры, мама.

— Ох, выдумщик, выдумщик! Деньги-то не бережешь...

Улицей Михайло отец торопится. То широко шагнет, то остановится. Слышал про Андроновы колокольчики—робость берет.

— Кабы признал отца, родителя! Нынче едак...

Стол полон гостей. Дядя Лизар, Клим с женой, Ерофей с женой, Ваньча с женой, Прохорова солдатка—маков цвет...

Чашки с блюдечками перебор ведут, гости шумно разговаривают.

— С вашим приездом, Андрон Михайлыч!.. В каких городах находились?

— В разных. Двенадцать губернских проехал.

— На Кавказе не случилось?

— Кавказ не нашей территории: грузины там с меньшевиками.

Бабушка Матрена угощает по-свадебному:

— Сахару-то вы берите, сахару-то!

Не терпится с радости, шепчет Ерофеевой на ухо:

— Три фунта привез.

Ерофеева—Климовой на ухо:

— Три фунта...

— Постой, Лексей Иваныч, у меня вопрос леригиозный. Скажем бог, Андрон Михайлыч, есть или нет?

— Обморачивание головы.

— Речи-то, речи какие!

Бабушка Матрена цедит помимо чайника.

— Непонятно, а гоже.

— Значит, одна прокламация?

— Буквально.

— Вам достоверно известно?

— Предрассудок темной массы..

Лизар и голову на бок.

— Я с вами согласен, Андрон Михайлыч, но только сумнительно. Главное дело—леригия...

— Андрон-братишка! Какая есть большевистская партия?

Михайло наперебой:

— Самая хитрая! Слышали, как она ловко к нашему хлебу подехала? Появился человек в кожаном картузе, начал речами охаживать. Вы, говорит, хрестьяне, серпы, мы, прожпвающие в городу—молотки. Давайте союз держать!

Ваньча покатывается со смеху.

— Здоровая программа!

У Лизара кружение в голове... И у Михайла кружение в голове...

— Лизар, не признавай Андронову коммууну... Ерофей, не признавай Андронову коммууну...

День идет, неделя идет—Андрон богу не молится.

Говорит Михайло старухе:

— Что мне делать с ним?

— Погодь, старик, он образумится.

Ждет Михайло день, ждет неделю—Андрон богу не молится.

Бабушка Матрена уговаривает:

— На иконы-то перекрестись, Андронущка...

— Оставь, мама, подобные вещи.

Гневом кивит Михайлино сердце, плещется...

— Значит, не веруешь в храм божий!

— Хэ! Это же религиозный театр представлений. Хочешь, я сам разыграю любую роль?

Выпил Михайло для смелости, подошел к сыну вплотную.

— Тебя кто на свет произвел?

— Природа.

— Сказывай, какая природа?

— Не лезь, тятка, ушибу.

— А ты имеешь право отца родного ударить?

— Без всякого права накрою, если с кулаками полезешь. .

Встретил Михайло Лизара на улице.

— Плохо мое дело, кум Лизар!

— Что произошло?

— Бога нет, церкви нет, отец с матерью—обезьяна...

Сына ломать—силы нет. Себя ломать—от людей стыдно. Сидит Михайло на завалинке, голова—мешок с песком: кнizu тянет, кнizu...

Чует бабушка Матрена беду-бедовую. Целый день под ложечкой щиплет. Хотела помолиться—молитва нейдет. Разные слова небожественные лезут... Поглядела на угодника Николая в переднем углу, а он непохож. Или с глазами что сделалось у бабушки, или с угодником. Ну, прямо непохож.

В церкви помолиться при клиросном пении—батюшки нет. Двенадцать лет служил, пока Андрон маленьким бегал. Еще три года служил, пока Андрон на войну ходил с буржуазами. Пришел с войны, говорит:

— Попа нам не надо!

Поплакала бабушка Матрена, уговаривала... Сенин с Марконым уговаривали...

Андрон на своем стоит. Всех перетянул. Вывели батюшку из большого батюшкиного дома—слез-то сколько было! Все старухи плакали, все старики головами качали.

— Не к добру!

Так по слезам и вошел батюшка в церковную сторожку ночь переночевать. Запряг утром кобылку серую, матушку с ребятишками посадил. Как цыган!

— Православные христиане! Сами видите мое семейное положение: поступлю на другую должность...

Стоит церковь запертая, колокола не звонят. На паперти телята отдыхают. Висит замок общественный на дверях церковных, а снять некому...

— Господи, прости непутевого сына Андрона: его руки вешали замок, его слова соврачали молодых. А старые люди—как лошади на приколе: восемь сажен в эту сторону, восемь сажен в эту. Во все стороны по восемь сажен, больше ходу нет...

Сидит Андрон в Исполкоме—приказ за приказом:

В бывшем доме священника немедленно оборудовать сцену для разного представления. Столяра Тихона Белякова и плотника Кузьму Вахромеева мобилизовать без всякого уклонения. У Прохора Черемушкина взять восемь досок поделочного тесу на общую пользу...

Секретарь исполкомский пишет:

— Немедленно всем коллективом села Рогачева запахать озимое красноармейкам.

Вся волость ругается...

— Вот так правитель!

Ничего не поделаешь. Тихон с Кузьмой „сцену тешут“, топорами громко постукивают. Стонет старый батюшкин дом. Трещат доски, ломаются перегородочки. Везет Прохор восемь досок на общую пользу, хлещет лошадь под задние ноги. Глаза под шапкой горят, на зубах—песок хрустит. Ничего не поделаешь.

Пашут мужики озимое красноармейкам, сердито почвокивают:

— Ну и порядки!..

Девки с бабами флаг красный для коммуны шьют. Ничего не поймешь! Привезли исполкомские атласу-материи из города. Аннушка Прохорова—главная закройщица. На столе машинку швейную поставила, атлас-материю расстелила скатертью. Девки накликала... Словно замуж готовят коммуну некрещеную. Машинка стучит, ножницы щелкают. Девки шелком голубым вышивают по красному:

Пролетарии всех стран...

Сидит Андрон в Исполкоме—приказ за приказом.

Все нутро исполкомское бумажками залепил: курить нельзя, плевать нельзя, матерным словом выражаться нельзя.

Земельный декрет.

Продовольственный декрет.

По бабьим делам декрет.

Гужналог.

Продналог.

Губпродком.

Райпродком.

И все неукоснительно, без всякого промедления.

Ленина подпись. Калинина подпись. Андропова подпись с большой закорючкой. Ладно бы Ленина с Андроновой—наплевать. Аннушкина подпись! Тоже там очутилась председательницей женского отдела.

Над Андроновым столом—флаг.

Над Аннушкиным столом—флаг.

Оба красные, с золотыми кистями. На Андроновом—„Пролетарии всех стран“, на Аннушкином—„Товарищи-женщины“.

Сорок лет висел в переднем углу Николай угодник при старом режиме. Андрон распорядился:

— Снимите, предрассудок темной массы!

Ничего не поделаешь.

Привез старика из города с белой бородой, сказал:

— Это Карла Марксов, дадим ему первое место...

Поставили Карла на место Николая в передний угол, по бокам еще двоих: Ленина с Троцким. Аннушка Прохорова по женскому отделу распорядилась: девки с бабами незамужними три венка сплели из сосновых веток, красную ленту повесили над головами.

Долго думал Потугин, Софрон Семиёныч. Пришел поглядеть в Исполком—верно: стоит в углу старик седой, волосы как у пола. И еще двое по бокам. Один глаз прищурил, другой в шапке, борода клинушком, лицо не мужицкое. И венки из сосновых веток, и лента красная, две хоругви с золотыми кистями. Только лампадки не хватает. Поглядел Потугин грустно эдак, паянул и ушел. Встретил Михайла на улице, головой покачал:

— В часовне был у твоего сына. Больно хорошо, лучше некуда. Новых святых произвел.

А Михайло, как маленький:

— Нет моей воли. Видишь, под ногтем сижу...

Долго сидел Михайло, головы не поднимал, стискивал крепкие мужицкие зубы. А когда накипело нутро, поднялся. Оглядел старую мужицкую избу загоревшимися глазами—встал на минуточку вкопанный: и здесь Карла Марксов около богородицы с левой стороны. Везде насажал, сукин сын. Скоро всю избу залепит нерусским народом.

Нет, не Карла виноват. Нутро накипело. Взял спицу вязальную, давай глаза ковырять старику седому с большой бородой...

— А-а, черти! Волю взяли...

На улице слухи растут. В казаках генерал подымается. В Сибири генерал подымается. Ведут генералы войско несметное, несут народу

крестьянскому освобождению. У кого хлеб взяла коммуна—назад. Лошадей брала—назад. Все назад! Генерал, который в казаках подымается, прямо сказал:

— Вы, старички, не сумлевайтесь. Поможете мне—живо разделюсь. Губпродкому—смерть, райпродкому—смерть. Картинки большевистские—в кучку...

И тот генерал, который в Сибири подымается, прямо сказал:

— На хлеб цена, на овес цена...

Каменный сидит в Исполкоме Андрон, неподвижный. Брови нахмурил... Не мужиков видит с растрепанными бороденками—жизнь мужицкую, темную.. Сломал перо у красной председательской ручки и ручку надвое переломил—обломышки под ноги...

— Дураки!

Низко пригнулись избенки под тяжелыми соломенными крышами. Грязь, навоз, бедность. Отец мешает, мать мешает...

Не жалеть нельзя и жалеть нельзя. Итти надо: против отца с матерью, против друзей и товарищей. Против всей жизни итти. Горят мысли в Андроновой голове... Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...

(А. Неверов — „Андрон Непутевый“).

---

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

### Крестьянство на Западе.

*Польша.*

— Крестьянский лес рубят!.. Весть эта мигом разлетелась по деревне, вспыхнула пожаром, охватив всех глубоким горем и страшным гневом,—и двери уже не запирались в избах, так бегали повсюду с этой новостью...

.....

— Не давайте, братцы, не уступайте, не спускайте обиды! Нонче лес у нас отняли, а ежели защищаться не будете, так завтра они готовы вытянуть свою лапу за землей вашей, за избами, за последним добром! Кто-ж им закажет? Кто пойдет супротив них?

— Пол-леса положили, да такие дубы здоровенные, что пяти мужикам не обхватить.

— Клембьяк видел, Клембьяк!

— Срубят и остальное, срубят, не станут у нас позволения просить!—шипела Козлова, проталкиваясь к прилавку.

— Завсегда народ обижали, как только могли.

— Коли вы такие глупые бараны, так пушай вас гонят, куда хотят...

— Не даваться, не даваться! Итти всем миром, разогнать, отобрать лес!

— Насмерть убить обидчиков!

— Насмерть!—заревели все сразу, и снова грозно поднялись кулаки. Поднялся страшный крик, и вся толпа загорелась ненавистью и жаждой мести, а когда несколько притихло, Матеуш заговорил у прилавка к своим:

— Тесно стало всем, точно в клетке, потому всюду расселись помещики, поместьями своими, точно стенами, сдавили деревню и душат: корову хочешь попасть за деревней—сейчас в господскую угодишь; лошадь выпустишь—господское за межой; камня швырнуть нельзя, потому что в господское попадешь сейчас!.. И сейчас-те занимают, сейчас-те суды, сейчас-те штрафы!

— Правда! Правда! Луг экой хороший, два покоса дает—вестимо господский; наилучшее поле—господское; лес, все—господское,—поддакивали ему.

— А народ сиди себе на песке, навозом согревайся да милосердия божиа дожидайся!

— Отобрать лес, отобрать землю! Не давать своего!

Долго так кричали они, мечась во все стороны с проклятиями и угрозами...

Ночь тянулась долго и томительно, окутывая душу тревогой, беспокойством, посылая спящим страшные сны, полные тяжелых видений.

А чуть только рассвело, люди еще только глаза протирали и еще сонно подымали отяжелевшую голову, как Антек побежал на колокольню и стал звонить в колокол, точно на пожар...

Колокол звонил медленно, безустанно и так уныло, что жутко становилось...

Матеуш, Кобус и другие бегали по деревне, стуча палками в плетни и крича:

— На лес! На лес! Выходи, кто жив! К кабаку! На лес!..

Дороги, дворы вмиг заполнились людьми, шумно стало вдруг во всех избах, дети подняли крик, бабы перекликались через сады, поднялась такая беготня, такая суматоха, как будто пожар случился где-то в деревне...

— На лес! Кто с чем может, с косою—так с косою, с цепами, с кольями, с топорами выходи!

— На лес!—весь воздух дрожал от этого крика, и вся деревня оглашалась им...

— Веди нас, Матвей! Веди нас!..

Когда, наконец, стихло, он наклонился, протянул руки и громко заговорил:

— Христиане, верные поляки, хозяева и работники! Всем нам обида стала, обида равная, какой ни стерпеть, ни даром спустить! Помещик рубит наш лес, помещик никому из наших работы не дал, помещик завсегда нам пакостит и к погибели нас ведет! Не пересчитать мне даже тех обид, тех пакостей, тех напастей и бед, какие весь народ сносит! В суд мы подавали—да кто ему что сделает! С жалобами ездили—даром! Но переполнилась чаша долготерпения нашего, перехватил он меру, наш лес рубит! Неужели мы это допустим, а?

— Нет! Нет! Не давать! Разогнать, убить, не давать!—кричали в толпе...

— Люди дорогие, христиане, поляки, то я вам говорю, что нет уж у нас иного средства, только сами мы должны свое добро оборонять, идти всем миром и лес рубить не дозволить! Все пойдем, кто только жив человек, кто только ногами шевелит, всей деревней, все, как один... За мной, братцы, живо собираться, за мною. На лес!—звучно крикнул он...

Народ быстро пошел следом за Боруной, ехавшим впереди... За ним первыми шли Плошки, сколько только их было изо всех трех изб, со Стахом во главе; народ был неказистый, да на язык резкий, шумливый и очень кичливый.

А за ними Сохи, которых вел Солтыс.

А третьими были Вахники, мужики маленькие, сухопарые, но ядовитые, как оса.

Четвертыми опять шли Голуби, с Матеушем наперед, не много их было, да их за пол-деревни хватало, потому упрямые они были и драчуны, что твой дуб...

А под конец шли Былицы, Кобусы, Прички, Гульбасы, Пачеси, Бальцерки, да кто их там всех упомнит.

Шли они быстро, молодецки, инда земля тряслась, мрачные, суровые и грозные, ровно туча грозовая... А за ними неся крик, плач и причитанья оставшихся...

Борына соскочил с саней и побежал вперед, а за ним, как попало, бежали другие, кто был с палкой, кто грозно размахивал вилами, кто крепко держал в руке цепи, иной махал косою, а иной так просто веткой, а бабы—так те прямо лезли с когтями и визгом,—все кинулись к перепуганным дровосекам.

— Не рубить! Не трогать лесу! Наш лес, не позволяем!—орали все разом...

Борына подошел к ним, дрожавшим с перепугу, и крикнул зычным голосом...

— Крестьяне мошлицкие! Крестьяне ржепецкие! И какие тут еще вас есть, слушайте!.. Забравите, что есть вашего, и ступайте себе с богом, рубить мы не позволяем, а кто не послушается, тот будет иметь дело со всем народом...

Те и не противились...

В усадьбе, повидимому, уже кто-то предупредил о случившемся, и оттуда поспешили дровосекам на помощь.

Впереди работников ехал управляющий; выехав на вырубку, они сразу набросились на баб и давай их стегать кнутами; управляющий, здоровенный мужчина, первый бил всех и кричал:

— Воры, дрянь! Кнутами их! Вязать их, в острог!

Все, все собрался сюда, ко мне, не даваться!—кричал Борына... Кольями сукиных сынов! Ценами их лошадей!..—и, схватив первый попавшийся кол, первый кинулся на господских людей, раздавая удары, куда ни попало, а за ним, словно лес в грозу, мужики сплотились плечом к плечу, с цепями, с вилами, с страшным криком набросились на господских, колотя их, чем только могли... Поднялись нечеловеческие крики, ругань, визг искалеченных лошадей, стоны раненых, глухие, но частые удары палок, хриплые крики метавшихся и дикий шум драки...

(В. Реймонт. „Мужики“. Ч. II-ая „Зима“).

*Австрия (Галиция).*

— Слушайте, братцы, какой я разговор имел недавно с одним моим приятелем. Приходит, значит, ко мне мой приятель и ровесник, с которым мы давно не виделись. Поздоровались мы, а я и спрашиваю:

— Ну, старый приятель, как живешь? Как дела?

— Спасибо, живется мне не худо, а даже немножко хорошо.

— Ну, это добрая новость,—говорю,—и мне очень бы хотелось знать, что у тебя есть хорошего.

— Чего хорошего? Ну, об этом не трудно догадаться: ты сам знаешь.

— Нет, нет, так ты от меня не выкрутишься,—сказал я ему.— Ты мне должен подробно рассказать, в чем это тебе повезло.

— Ах, приятель,—отвечал он,—разве-ж это не добро, до чего мы, благодаря господу, дожили. Подумай только: на панщину с коих пор уже не ходим, перед законом все равны—что пан, что хлоп,—конституцию имеем...

Он так много сразу наговорил, что при последнем слове чуть не задохнулся.

— Эге, милый друг,—говорю я,—правда, ты наговорил очень хороших вещей,—только, знаешь, не следует глядеть на них слишком близко.

— Почему это?

— А потому, что они такэзы-ж, как и вот эти крашенные платки: сейчас они нам нравятся, а на фабрике они человеку пальцы портят.

Приятель мой не мог этого понять, и я продолжал:

— Видишь ли, милый мой, это сущая правда, что у нас теперь нет панщины. Однако, не хочешь ли ты вспомнить подробнее, что было раньше и что стало теперь.

Приятель мой не мог вспомнить того во всех подробностях, и я должен был кое-что напомнить ему.

— Не правда ли? Тогда каждый день равенько панский атаман ходил по селу от хаты до хаты, стучал палкой по дверям и кричал: „Эй, ты, Иване, Грыцю, Селиж,—ну-ка на панщину, а то батоги получите!“

— Да, да, так и было тогда!—сказал мой приятель и снова почувствовал себя в своей тарелке.

— А каково у нас теперь? Атаман уже не ходит с палкой от хаты до хаты,—это правда. А что делает хлоп? Вот я тебе скажу, милый приятель. Встает хлоп по доброй воле рано-ранехонько, берет курицу или десятка три яиц и идет к тому самому атаману, кладет перед ним свой подарок и просит его чуть ли не на коленях, чтобы позволил ему работать на панских лугах. А если придет без подарка, то „пан управляющий“ (он же раньше „атаман“) даст ему по шее и предоставит милую свободу—умирать с голоду.

Мой приятель ничего не нашелся ответить на это и только глубоко вздохнул и опустил голову.

— И перед законом мы равны, милый приятель,—так говорил я ему дальше,—должно-быть, и это правда, хотя я этого до сих пор и не видел. Как приду к старосте или судье, или в свободный уездный выдел,—слышу тоже самое, что и перед 1848 годом: „Подожди, хлоп. Стой там на дворе, хлоп. Иди вон, хлоп“. А когда я захотел быть поумнее и закричал про свое равенство перед законом, то получил оплеуху, такую хлесткую да звонкую, как и при пане-атамане. А вот погляди, как придет в канцелярию кто-либо из больших панов или даже просто арендатор,—так его никогда не заставляют ожидать на дворе, а поскорее просят сесть и обходятся с ним так вежливенько да деликатно. Ну, вот как раз такое равенство было у нас перед 1848 годом...

— Но ведь тогда были батоги!—воскликнул мой приятель и снова почувствовал себя в своей тарелке.

— Правда твоя, — отвечал я ему, — тогда были батоги, а теперь их нет. А теперь выдумали такое, что совсем похоже на батоги, да еще с прибавкою... Вот послушай, что сказал мой сосед старосте. Вздумал мой сосед—самый спокойный человек—ехать в Вену, с той большой депутацией, что отправилась до государя, указать ему на все неправды, что творятся в стране. Ну, а потом, знаешь, когда вернулась депутация из Вены, то стали всех бедных депутатов тянуть по участкам да наказывать. Не минуло и моего соседа это удовольствие, — староста приговорил его к уплате 50 рейнских рублей. Так мой сосед, как выслушал приговор этот, набрался смелости и говорит старосте: „Пан староста, я человек бедный. Если и я, к несчастью моему, ездил в государев сейм, так что ж делать, — я готов принять за это справедливое наказание. Только ведь жинка моя и дети мои в этом преступлении неповинны, — за что же вы их хотите покарать? Карайте меня одного, а не их. Если вы наложили на меня денежное наказание, то я должен продать последнюю корову да еще последнюю свинью, и это наказание горше падает на мою семью, чем на меня. Так я вас прошу, вельможный пан староста, не сможете ли вы сменить мне денежную кару на батоги. Я—хлоп сильный и здоровый, 50 батогов еще выдержу, а пятидесяти рублей мое бедное хозяйство не выдержит“.

Так говорил мой бедный сосед старосте, но староста не сделал по его желанию и сказал: „Мы теперь перед законом все равны, батогов нет, а что велят заплатить—заплати, хоть из коленки выпарапай“. И мой бедный сосед со дня на день ждет теперь ареста на свое имущество, потому что и до сих пор не заплатил еще денежной кары. Ну, и что же ты скажешь, мой добрый приятель, про эти новомодные батоги, которые вместо одной части тела бьют по всему человеку да, кроме того, и по всей родне?...

(Из Франко--„Свиная конституция“).

### *Австрия (Тироль).*

...Когда на душе у обоих стариков бывало светло и им хотелось доставить себе какое-нибудь удовольствие, они вспоминали вместе старинные времена, когда еще было так живо и весело им в Альтенмоозе.

— Около трехсот человек жило здесь, — сказал раз Яков, когда они сидели так с Натцем и грелись на солнышке, — и что за работники были! Крепкая, ядреная порода!

— Прекрасный народ! — прибавил Натц. — А теперь осталось только пескочко калек да убогих...

— Да два старика, сидящие на куче камней, — добавил Яков.

— Сколько тут пели и веселились, так что эхо отдавалось в горном лесу! — вспоминал Натц. — По праздникам и по воскресеньям молодежь весело танцевала под звуки цитры и цимбалов. Летом играли в кегли, осенью повсюду раздавалось щелканье бичей, а зимой стреляли в цель, и горы и скалы повторяли эти выстрелы.

— Теперь же все тихо, как в могиле, — сказал Яков.

— Сколько было домов здесь в Альтенмоозе?

— Во времена моей молодости двадцать три, — отвечал Яков, — и все больших! Двенадцать крупных землевладельцев. Каждый из них держал нарядный экипаж и одну или две выездных лошади, на которых торжественно ездил в церковь. Тогда люди говорили кругом: „Смотрите, вот едут альтенмоозенские крестьяне! Вина сюда и жаркого, — альтенмоозенские крестьяне едут!“

— А теперь, — усмехнулся Натц, — бродим мы пешком, согнувшись от ревматизма, пьем воду и едим кислую капусту. Вместо музыки же у нас свистит ветер в щели стен...

— Я не знаю, право, — заметил Яков, — кажется ли мне или оно действительно так, — но как будто даже солнце и то не так ярко светит в Альтенмоозе, как в былые времена.

— Правда, оно не светит уже так ярко, подтвердил Натц.

— Может-быть, это только так кажется нашим старым глазам, Натц?

— А я думаю, что здесь другая причина, Яков. — Видишь ли, когда я еще жил в Донерсграбене, мне нередко брезало в глаза, что в лесных ущельях гораздо больше туманов, чем на лугах и полях Альтенмооза. Теперь же и в Альтенмоозе почти все заросло лесом.

— Да, лес на лугах, лес на полях, — проговорил Яков.

— Туман ложится теперь в Альтенмоозе и подолгу висит на деревьях, как старые тряпки.

— Это верно, — ответил Яков, — и с каждым годом зима становится все длиннее, а лето холоднее. Видал ли ты когда-нибудь раньше в Петров день иней в Альтенмоозе?

— Конечно, нет.

— А теперь овес не может созреть до самого снега.

— В прежние времена, если ты помнишь, дружище, все луга бывали усыпаны белыми, голубыми, желтыми и красными цветами.

— А теперь перестал цвести даже ренейник. Повсюду слишком много тени. Там, в Кребсау и дальше, кругом люди жалуются, что у них слишком мало леса, потому что все с'ели фабрики; а у нас слишком много его. Люди теперь не знают уже меры; где только можно получить скорее какую-нибудь выгоду, за то они и берутся, не думая больше ни о чем. Им решительно все равно, что останется нашим потомкам...

Так рассуждали они между собой, сидя на куче камней, под теплыми лучами солнца.

Между тем Якову все хуже и хуже приходилось от потрав дичи. За потравы ему, правда, всегда платили. Но ценить их являлись егеря, любители охоты, и другие люди, живущие под властью или милостью Кампельгера. И не трудно представить, что люди эти всегда решали дела далеко не в пользу Якова.

Олени с'ели у него капусту, говорили они, что же стоит кочан капусты? За четыре крейцера можно было купить в Кребсау самую лучшую капусту. Двести кочней, уже по самой высокой оценке, стоят, стало-быть, восемь гульденов. Якову выплатили их наличными деньгами.

Получив бумажку, Яков сказал:

— Что же я с ней сделаю? Там, в долине, может-быть, можно купить на эти деньги капусту. Но кто же привезет мне ее сюда, когда все дороги испорчены? Или, может-быть, здесь, в Альтенмоозе вырастет теперь осенью капуста, если я посею эту бумажку? Для меня, господа, капуста имеет другую цену, чем для вас. Для вас это только приправа, — для меня же жаркое, с вашего позволения...

Однажды, когда дичь сильно потравила у него овес, ему, разумеется, тотчас же поставили на вид, что за потраву будет заплачено. Но платы этой пришлось долго ждать. Оставшийся овес уже созрел, и его пора было жать. Но на заявление Якова об этом лесничий прислал сказать ему, что если он снимет овес прежде, чем явится оценочная комиссия, то он ничего не получит за потраву. Яков ждал. Но прежде, чем она явилась, выпал снег и уничтожил весь урожай. Скоро после этого приехала и комиссия. Она с недоумением спросила; „О какой же потраве тут идет речь? Штейнрейтеру следует подать жалобу на господа бога, так как арендатор охоты не ответствен за снег“.

Нередко кулаки сжимались от негодования у бедняги.

— На что вам-то жаловаться, — сказал ему однажды какой-то крестьянин из Кребсау. — У нас дичь уничтожает здесь все фруктовые деревья... Однажды, когда старая Гардель ворчала: „Если бы хоть раз можно было понадеяться на капусту, я бы знала тогда, что мне варить“, — и когда потом снова забрался в огород олень, — Яков снял со стены винтовку, раскрыл окно и убил несчастное животное наповал...

И Яков пошел вниз к управляющему.

— Господин управляющий! — сказал он ему. — Я много раз уже просил и жаловался и ничего не добился. Я вытерпел всю вашу игру с возмещением убытков за потравы. Теперь, конечно, я не могу больше существовать, если не буду сам защищаться. Сегодня снова олень забрался в мой огород. Пойдите, возьмите его, — он лежит там же, где стоял.

— Штейнрейтер! — сказал управляющий, многозначительно взглянув ему в лицо.

— Да, — ответил Яков, — я застрелил его.

Управляющий молчал.

— Я застрелил оленя, — повторил Яков. — Господин лесничий застрелил мою телку, зашедшую на его землю, а я застрелил его оленя, забравшегося в мой огород. Так будет, по крайней мере, справедливо.

— Мне очень жаль, — пробормотал управляющий и дернул звонок. На звонок вошел плотный парень. — Мне очень жаль, — повторил управляющий, обращаясь к Якову, — что нам таким образом приходится разойтись с вами. Я всегда желал вам добра; я всегда жалел вас и, правду сказать, много вам прощал. Я не обращал внимания на крестьянское упорство, надеясь, что оно уничтожит себя само. Но злобы, злобы я не могу простить! Франц, отведи этого человека в окружный суд. Я скоро приду сам.

— Засадить меня в тюрьму? — воскликнул Яков.

— Засадить вас в тюрьму, милый Штейнрейтер, — ласково ответил ему управляющий.

— Засадить за то, что я был честным и пришел заявить сам о том, что убил оленя, тогда как мог легко скрыть это?

— Не за это, а за то, что вы застрелили оленя.

— Разве я украл его?

— Охотникам за дичью часто гораздо важнее застрелить, чем украсть.

— Я не охотник за дичью, я сделал это только ради самозащиты!

— Ради самозащиты? Разве олень угрожал вашей жизни?

— Да, он угрожал моей жизни—крикнул Яков.—Если кто-нибудь залезает в дом, чтобы отнять у меня хлеб, я защищаюсь. Разве олень в этой местности пользуется большим покровительством, чем человек?

— Не рассуждать!—прервал его управляющий.—В тюрьме у вас будет достаточно времени подумать об этом. Марш!

И так Яков попал в тюрьму. На двое суток.

Теперь у него было время подумать. Если государство ничего уже не могло дать ему само за все, что он платил ему деньгами, силами и кровью, то оно должно было бы позволить, по крайней мере, своему верному подданному защищать свою жизнь!.. Так полагал Яков в своей крестьянской простоте. А, между тем, теперь он сидел в кутузке и не мог опомниться от негодования.

В это время Кампельгер тоже сидел в рейхсрате и говорил блестящие речи „о честном рабочем человеке с мозолистыми руками, о священных человеческих правах бедных людей, о поте земледельца, скрепляющем государство“ и т. п.

(П. Розеггер—„Яков Последний“).

*Германия.*

## МОЛИТВА ВДОВЫ.

В деревне, в глубокую полночь, не спит лишь старушка одна: Стоит в уголку на коленях и шепчет молитву она:

„О, господи, господи боже! молю я тебя—сохрани Помещика нашего долго, на многие, многие дни!“

Нужда научает молиться!

Помещик проходит и слышит, что громко читает она;

В диковинку речи такие; он думает: „верно пьяна!“

И собственной барской персоной вошел он в сырую избу

И кротким вопросом изволил свою удостоить рабу:

„Нужда научила молиться?“

„Ах, барин! когда-то имела я восемь хороших коров;

Ваш дедушка—вечная память! из нас он высасывал кровь!—

Коровушку лучшую отнял, и—как там ни плакала я,

И как ни молила я горько—пропала корова моя.

Нужда научает молиться!

„Я долго его проклинала за горе мое; наконец,  
Услышал меня и за это послал наказание творец:  
Ваш дедушка умер, и править деревней ваш батюшка стал,  
И он у меня, горемычной, двух добрых коровушек взял.

Нужда научает молиться!

„Я батюшку вашего тоже и денно и ночью кляла,  
Пока и его, как и деда, могилка к себе прибрала;  
Тогда вы изволили сами приехать в деревню—и ох!  
К себе из моих коровенок угнали еще четырех!

Нужда научает молиться!

„Теперь, как помрете вы тоже, сыночка оставив у нас,  
Корову последнюю, верно, себе он оттянет тотчас.  
О, господи, господи боже! молю я тебя—сохрани  
Помещика нашего долго, на многие, многие дни!“

Нужда научает молиться!

(Шамиссо, Перев. П. Вейнберг).

*Франция.*

(Конец 18-го века).

...Ведь если в городе нищета была велика, то в деревне она превосходила все, что можно себе представить. Сначала еще крестьяне несли повинности наравне с горожанами; позднее же они были обложены массой других. Во всякой лотарингской деревушке находилась господская или монастырская ферма; вся хорошая земля принадлежала этой ферме; бедняку-крестьянину доставалась только самая негодная.

К тому же наш брат не смел сеять на своей земле то, что бы ему хотелось, и там, где бы ему хотелось: луга должны были оставаться лугами, пашни—пашнями. Если крестьянин обращал свою пашню в луг, он лишал священника десятины; если перепашивал луг под пашню, обрезал выгон; если сеял клевер на пару — не имел права запретить господскому скоту пастись на посевах. Земли его обесценивались еще фруктовыми рассадниками, которые сдавались ежегодно в аренду, при чем плата шла в карман владельцам или в монастырскую казну; уничтожить эти деревья он не смел и даже был обязан в течение года замснять почему-либо погибшие экземпляры. Тень от деревьев, отравы, производимые при сборе фруктов, неудобства пахоты по пням и камням—все это вместе причиняло ему большие потери.

А, кроме того, владелец располагал правом охоты, т.-е. мог безвозмездно круглый год топтать хлеба и портить жатву, крестьянин же, застреливший одну какую-нибудь штуку дичи, хотя бы на своей же собственной земле, рисковал попасть на галеры...

Мало того, господская или монастырская ферма пользовалась правом держать голубятню; поля покрывались бесчисленными стаями голубей. Приходилось засеивать двойное количество конопли, гороху, бобов, чтобы собрать хоть что-нибудь.

Затем каждый отец семейства должен был в течение года представить господину пятнадцать четвериков овса, десять цыплят и двадцать четыре яйца. За себя он должен был отработать три дня; каждый из сыновей или батраков — тоже три дня, и три же дня работы отбывала на барщине каждая крестьянская лошадь и повозка. При первом звуке колокола крестьянин был обязан скосить дуга около замка, высушить сено и свезти в ригу; за малейшую неисправность грозил штраф в пять грошей. Тому же владельцу крестьянин должен был возить камень и лес, необходимый для поправки фермы или замка. Господин выдавал ему на прокорм за рабочий день корку хлеба и головку чесноку.

Вот что такое была барщина.

Мне бы никогда не кончить, если-б я вздумал рассказывать о помещичьих монополиях, о монополии хлебных печей, мукомольных мельниц, прессов для винограда, где вся деревня принуждена была печь, молотить, давить, уж, конечно, за известную плату; о палаче, который имел право на шкуру каждой издохшей крестьянской скотины, и, наконец, о десятине — худшем из всех зол, — так как священникам нужно было давать каждый одиннадцатый сноп, когда из них уже приходилось кормить целую ораву духовных: монахов, каноников, кармелитов, капуцинов и нищенствующую братию всевозможных монашеских орденов. Если-б я вздумал, повторяю, говорить о всех этих повинностях и многом множестве других, гнетущих сельское население, я никогда бы не кончил...

Все бы ничего, если б еще приходилось платить только подати, но у моих бедняков была еще одна рана, горшая из всех крестьянских ран: они имели долги.

Я помню, что еще совсем маленьким ребенком слышал, как говаривал, бывало, отец, вернувшись из города после продажи корзин или нескольких дюжин метел:

— „Вот принес я соли, бобов да рису, но зато у меня не осталось ни гроша. Господи! Господи! А я-то надеялся, что хоть несколько копеек урву для Робена“.

Этот Робен был самым богатым кулаком в Миттель-Бронне: толстяк, с желтым лицом, обрамленным широкой, седоватой бородой, с толстым носом и круглыми глазами; носил он меховую шапку с ушами, повязанными под подбородком, широкий, мешковатый костюм в виде казакина. Ходил всегда пешком в ходящих гетрах по колено, с большой корзиной на руке; за ним по пятам выступал громадный волкодав. Человек этот вечно колесил по деревням за получением процентов: он всем давал займы, кому по три, кому по шести лиров, кому по одному, по два луидора. Зайдет в лачугу и, если денег на ту пору не окажется, заберет пока все, что есть на ту пору в доме: полдюжины яиц, четверку масла, штоф вишневого водки, сыр, словом, все, что нашлось у бедняка. На таких условиях он соглашался ждать. Разумеется, лучше было дать обобрать себя, чем иметь дело с судебным приставом...

У нас Робену взять было нечего; подойдет, обыкновенно, постучит в оконце и крикнет:

— Жан Пьер!

Отец в какой раз вздрогнет, сейчас же выбежит на пороги, скинув шапку, спросит:

— Что угодно, г. Робен?

— А, ты дома; отлично. Мне надо отработать две барщины на геранской и лексгеймской дороге, придешь?

— Да, господин Робен, приду.

— Смотри же, завтра, непременно.

— Будьте спокойны, г. Робен.

Тот уходил. А отец, бледный, как полотно, возвращался в лачугу: сядет в своем уголке у очага и, не говоря ни слова, снова примется за свои корзины, только голову ниже опустит да крепче сожмет губы. А на другой день ни за что не пропустит, идет отбывать барщину за Робена. Мать в таких случаях всегда долго убивается и причитает:

— Ах, ты распроклятая, проклятая коза! Кажись уж десять раз заплатили мы твою стоимость и подохнуть-то ты успела, а мы все плати да плати; в конец видно разорюся. И на что это нам пришла в голову несчастная мысль купить эту старую козу! И надо же было случиться такой напасти! Ох, грехи, грехи!..

И в отчаянии она ломала руки и плакала.

А отец тем временем давно шагал на барщину с киркой на плече. В такой день бедняк ничего не приносил домой; работой он уплачивал Робену проценты за месяц, либо за два. Надолго Робен нас никогда не оставлял в покое: едва, бывало, успеем вздохнуть свободно, как он уже снова тут и стучит в окно...

Эти ростовщики, эти люди, еще делающие вид, что они вам помогают, живут на вас, как паразиты, до тех пор, пока земля не примет ваши кости. Да и тогда еще они стараются присосаться к вдове и к сиротам.

Чего-чего не выстрадали только мои родители, благодаря этому Робену, просто слов не найдешь пересказать: они не знали, забыли и думать о покое, старелись от горя; единственной утешой еще могла служить надежда, что авось хоть один из сыновей будет признан годным для военной службы, тогда они продадут его и заплатят долг...

Мать зачастую говаривала, поглядывая на Николая, Клода и на меня.

— Не горюй очень, Жан-Пьер, одного из троих молодцов наверняка возьмут в солдаты. А тогда берегись, Робен! Как заплачу, я не я буду, если не прошибу ему голову тяпкой...

(Оркман-Шатриан. „История одного крестьянина“).

Франция.

(Середины 19-го века).

## СОН БЕДНЯКА.

Милый, проснись... Я с дурными вестями.  
 Власти наехали в наше село,  
 Требуя подати,—время пришло...  
 Как разбужу его? Что будет с нами?..  
 Встань, мой кормилец, родной мой, пора!  
 Подать в селе собирают с утра.

\* \* \*

Ах, не в добру ты заспался так долго!  
 Видишь, уж день... Всё до нитки, чуть свет,  
 В доме соседа, на старости лет,  
 Взяли в зачет неоплатного долга...  
 Встань, мой кормилец, родной мой, пора!  
 Подать в селе собирают с утра.

\* \* \*

Слышишь: ворота никак заскрипели?  
 Он на дворе уж... Проси у него  
 Сроку хоть месяц... хоть месяц всего.  
 Ах, если б ждать эти люди умели!..  
 Встань, мой кормилец, родной мой, пора!  
 Подать в селе собирают с утра.

\* \* \*

Бедные! Бедные! Весь наш излишек—  
 Мужа лопата да прялка жены;  
 Жить ими, подать платить мы должны  
 И прокормить шестерых ребятишек...  
 Встань, мой кормилец, родной мой, пора!  
 Подать в селе собирают с утра.

\* \* \*

Нет ничего у нас! Раьше все взято!  
 Даже с кормилицы—нивы родной,  
 Вспаханной горькою нашей нуждой,  
 Собран весь хлеб для корысти проклятой.  
 Встань, мой кормилец, родной мой, пора!  
 Подать в селе собирают с утра.

\* \* \*

Господи! Входят... Но ты без участия  
 Смотришь... Ты бледен... Как страшен твой взор!  
 Боже! Не даром стонал он вчёр,—  
 Он не стонал весь свой век от несчастья!  
 Встань, мой кормилец, родной мой, пора!  
 Подать в селе собирают с утра.

\* \* \*

Бедная! Спит он и сон его кроток.  
 Смерть—для того, кто нуждой удручен,—  
 Первый спокойный и радостный сон.  
 Братья, молигесь за мать и сироток...  
 Встань, мой кормилец, родной мой, пора!  
 Подать в селе собирают с утра.

(Беранже.—„Песни“),

*Франция.*

(Конец 19-го века).

Мы прошли мимо поля, засеянного люцерной, и вышли в лес через молодяк каштанов, и, когда мы дошли до широкой аллеи, выравненной граблями, точно аллея в парке, мы увидели, что идет какая-то бедная женщина, у которой сгибалась спина под тяжестью связки хвороста. За ней шли двое маленьких детей в лохмотьях и босоногие. Леша весь побагровел, в его глазах блеснуло пламя гнева, и, подняв свою трость, он кинулся на бедную женщину.

— Нищая воровка, — кричал он, — что ты тут делаешь у меня? Я не хочу, чтобы у меня в лесу собирали хворост, я не хочу этого, негодная бродяга! Ну, бросай хворост... Что же ты не бросаешь мой хворост, когда я приказываю?

Он схватил связку за ивовый прут, которым она была связана, и так сильно потряс ее, что женщина вместе со связкой покатилась по дороге.

— Кто позволил тебе ходить по моим аллеям твоими грязными ногами, — говори? Ты, может быть, думаешь, что это для тебя я велел выравнивать их граблями, эти мои аллеи, а, старая воровка? Что же ты мне не отвечаешь, когда я говорю с тобой?

Женщина, которая все еще лежала на земле, стонала:

— Добрый господин, я не сделала вам никакого вреда, мы всегда подбирали хворост... И никто из человеколюбия ничего не говорил нам... Мы такие несчастные!

— Никто тебе ничего не говорил, — отвечал на это свирепый земледелец, размахивая своею тростью. — Разве я никто, — я-то? Я, господин

Леша, ты слышишь, господин Леша, которому принадлежат Во-пердю... вот тебе, воровка, вот тебе, нищая!

Трость поднималась и опускалась на старуху, подбиравшую хворост, она плакала, билась, звала к себе на помощь, между тем как перепуганные маленькие дети испускали раздирающие душу крики... И слышно было, как эта бедняжка, стонала и, рыдая, кричала:

— Ай! ай! Вы не имеете права бить меня, злой человек... Ай! ай! Я буду жаловаться на вас мировому судье. Ай! ай! Я скажу жандармам...

При слове „жандармам“ Леша вдруг остановился... В его налитых кровью глазах вдруг показался испуг, и его побагровевшее лицо сейчас же побледнело. Он вынул из своего портмоне золотую монету и почти с умоляющим видом всунул ее в руку старухе.

— Вот тебе двадцать франков, бедная женщина,—сказал он ей.— Ты видишь—это двадцать франков, ха! ха!.. Ведь это хорошие деньги, двадцать франков, а? А потом, знаешь ли, ты можешь собирать хворост, сколько хочешь... Ведь ты видела, скажи? Это двадцать франков... Когда ты их истратишь, то опять приходи ко мне за деньгами. Ну, до свиданья.

Мы вернулись в замок молча.

— Ты видел старуху в лесу?.. Да?.. Ну, так ее муж—это еще голос за меня на выборах!.. Что ты еще хочешь? В настоящее время нужно подкупать народ!..

И, засмеявшись злым смехом, так, что были видны все его зубы, он прибавил:

— И бить его!

(Октав Мирбо. „Деревенские рассказы“).

### *Испания.*

Из всех фермеров дон Сальвадора лучшим был Баррет: хотя п ценой огромных усилий, но он выплачивал ему все в срок. И старик, ставя его в пример остальным арендаторам, доводил свою жестокость по отношению к нему до крайности и становился с ним все придирчивее, поощряемый кротостью крестьянина, обрадованный тем, что нашел человека, над которым мог безнаказанно измываться, удовлетворяя свои инстинкты притеснителя и хищника.

Наконец, он повысил-таки арендную плату за участок. Баррет запротестовал, даже всплакнул, напоминал о заслугах своей семьи, вложившей свою жизнь в эти поля, чтобы сделать их лучшими в уэрте. Но дон Сальвадор остался неумолим. Они лучшие в уэрте? Ну, так и платить нужно больше. И Баррет стал платить прибавку: скорее он отдал бы свою кровь, чем покинул участок, по капле высасывавший его кровь...

Хуже всего было для него то, что, надрываясь над непосильной работой, он принужден был отдавать половину заработка ненасытному мируду. Последствия его безумного труда не заставили себя ждать. Лошаденка дяди Баррета, терпеливое животное, верный товарищ, делив-

ший с ним все его горести, устав работать днем и ночью... пред печла околеть раньше, чем позволить себе малейшую попытку возмущения против своего бедняги-хозяина.

Тут крестьянин увидел, что окончательно погиб. С отчаянием смотрел он на свои поля, которых уже не мог возделывать, на груды свежих овощей, которые равнодушно поедались горожанами, не подзревавшими, каких мучений стоило их выращивание несчастному отцу этой семьи в его непрерывном поединке с землей и нищетой...

Гнусный скряга, алчный ростовщик, узнав о его несчастии, с трогательной отеческой добротой предложил ему помощь. Сколько ему нужно для покупки новой лошади? Пятьдесят дуро<sup>1</sup>? Дон Сальвадор рад помочь ему и показать тем самым, как несправедливы те, кто его ненавидит и распространяет о нем дурную славу.

И он ссудил Баррета деньгами, хотя и с соблюдением незначительной формальности — дружба дружбой, а дела делами: он заставил дядю Баррета подписаться на бумажке, в которой говорилось о процентах, о накоплении процентов на проценты и об обеспечении долга, в связи с чем упоминалось о мебели, о землевладельческих орудиях, обо всем, что только бывает у крестьянина в доме, включая и скот в его коррали<sup>2</sup>.

Баррет, ободренный приобретением лошади, молодой и сильной, с еще большим рвением принялся за работу и еще более надрывался над этими полями, которые извелили его и, казалось, росли по мере того, как уменьшались его силы, окутывая его, словно красным саваном.

Все, что ни приносили его поля, поглощалось его семьей, и горсти медяков, которые извлекались от продажи на валенсианском рынке, таяли, никогда не доходя до того, чтобы составить сумму, необходимую для удовлетворения дон Сальвадора.

Мучительные и тщетные усилия дяди Баррета уплатить свой долг пробуждали в нем некоторый инстинкт возмущения, рождали в его неразвитом уме смутные идеи справедливости. Почему эти поля принадлежат не ему? Его предки оставили все свои силы на этих землях; они полны потом его семьи; если бы не они, не Барреты, эти поля были бы так же пустыни, как берег моря... А теперь этот бессердечный старик хочет задушить его, загнать до смерти своими поучениями, так как хозяином оказывается он, хотя не умеет взять в руки мотыги и во всю свою жизнь ни разу не согнул спины. Господи! Как же странно устроили свет люди!

Но вспышки возмущения бывали кратковременные; к нему возвращалась безропотная покорность, традиционное суеверное уважение к собственности; надо работать и быть честным...

Старый скряга оказался неумолим. Нет, Баррет, это не может продолжаться. Как добрый человек — хотя люди и не верят, чтоб он был добрый — он не может допустить, чтобы крестьянин изнурял себя работой, возделывая земли, превосходящие его силы. Он этого не потерпит; это невыносимо для его доброго сердца. И так как у него есть в виду новый

<sup>1</sup> Монета около двух рублей.

<sup>2</sup> Коррали — скотный двор.

арендатор, то он предупреждает Баррета, чтобы он как можно скорее очистил хутор. Он вполне ему сочувствует, но он сам беден... Ах, да!.. По этой-то последней причине он напоминает, что следует вернуть долг, сделанный им для покупки лошади, сумма какого-то возросла до...

Несчастный крестьянин не обратил внимания на тысячи реалов<sup>1</sup>, до которых достигла сумма долга с волшебными процентами: так ошеломило и смутило его приказание покинуть участок...

Однажды его уведомили, что после полудня явятся судебные власти для того, чтобы согнать его с поля и, кроме того, описать для уплаты его долгов все, что есть у него в доме. Эту ночь он уже не будет спать у себя на хуторе.

Это показалось дяде Баррету до такой степени невероятным, что он недоверчиво улыбнулся. Это делают с жуликами, с теми, кто никогда не платит, а он всегда все выплачивал аккуратно; он родился на этом участке и должен арендную плату всего-то за один год... О, господи! Ведь он живет не среди дикарей, не знающих ни жалости, ни бога.

Но после полудня, когда он увидел идущих по дороге господ, одетых в черное, зловещих птиц с крыльями из свернутых в трубку бумаг подмышкой, он перестал сомневаться. Это приближается враг. Это шли его грабить...

Их выселили из хутора. Черные люди заперли дом и унесли ключи с собой. У них не осталось ничего, кроме этих узлов, которые лежали на полу, носильного платья и инструментов; это было все, что им позволили вынести из дома...

Старый ростовщик не без колебания вышел из дому: его несколько беспокоила история с дядей Барретом; это было свежее событие, уэрта на все способна; но опасение, что его отсутствием воспользуются в саду, превозмогло его страхи, и, успокаивая себя тем, что сад далеко от опасного по судебному взысканию хутора, он пустился в путь.

Сад был уже перед ним, он уже смеялся над своим рассеявшимся страхом, как вдруг увидел выпрыгнувшего из конопли Баррета, который показался ему огромным демоном с красным лицом и вытянутыми руками; он не оставлял ему возможности спастись, прицеливая его в краю оросительной канавы, которая шла параллельно дороге...

— Баррет! Сын мой!—прозвнес он прерывающимся голосом.—Это была шутка; не принимай этого так близко к сердцу. Все вчерашнее было только для остраски... ничего больше. Ты останешься на своем участке, приходи ко мне завтра... мы поговорим: ты заплатишь, когда захочешь...

Крестьянин улыбался, точно гиена, скаля свои острые, белые зубы бедняка.

— Обманщик! Обманщик!—отвечал он голосом, походившим на хрип.

И, размахивая серпом из стороны в сторону, он искал места, чтобы нанести удар, избегая худых рук, отчаянно простиравшихся вперед.

<sup>1</sup> Монета около 9 копеек.

— Но, Баррет! Сын мой! Что с тобой? Опусто это оружие... Не играй им. Ты человек честный... подумай о своих дочерях. Повторяю тебе, это была шутка. Приходи завтра, я дам тебе клю... Аааа!

Это был раздирающий вопль, крик раненого зверя. Серпу надоело постоянно наталкиваться на препятствия, и он одним взмахом отсек одну из этих судорожно сведенных рук. Она осталась висеть на сухожилиях и коже, и из красного обрубка с силой брызнула кровь, обдав Баррета, который взревел, почувствовав на своем лице теплую струю.

Старик закачался, но, прежде чем он успел упасть, серп горизонтально врезался ему в шею и, разрубив сложную оболочку из намотанных на нее платков, открыл зияющую рану, почти отделив голову от туловища...

Прежде чем кончился день, новость, как пушечный выстрел, уже привела в волнение всю вегу <sup>1</sup>... Все догадывались, что это дело рук дяди Баррета, но никто не сказал ни слова. Все хутора открыли бы перед ним самые сокровенные свои тайники, женщины спрятали бы его у себя под юбками.

Но убийца бродил, как безумный, по уэрте, прячась от людей, лежа на берегах канав, забираясь под мостики, убегая через поля, перепуганный лаем собак, пока на следующий день жандармы не захватили его спящим под стогом соломы.

Целых шесть месяцев в уэрте только и говорили, что о дяде Баррете.

По воскресеньям мужчины и женщины ходили, точно в паломничество, в валенсиянскую тюрьму, чтобы посмотреть через железные прутья решетки на бедного освободителя, с каждым днем все более худевшего, с ввалившимися глазами и беспокойным взглядом.

Наступил день суда, и его приговорили к смерти...

(В. Бласко-Ибаньес.—,Проклятый хутор\*).

С.-А. С. Штаты.

(Конец 19 века).

Все лето 1887 года я работал в одном отделении бесконечной фермы Дальрумль в долине Красной реки, в Америке. Кроме меня там было два других норвежца, один швед, десять-двенадцать ирландцев и несколько американцев. Нас было всего-на-всего двадцать человек в нашем маленьком отделении—незначительная часть сотен рабочих на этой ферме.

Зелено-желтая и безмерная, как море, лежала прерия <sup>2</sup>, ни одного дома не было видно, кроме наших конюшен и сараев, где мы спали посреди прерий. Там не росло ни дерева, ни куста, только пшеница и трава, пшеница и трава, насколько хватить глаз может. Там не было и цветов...

<sup>1</sup> Вега—название плодородных, искусственно орошенных равнин в южной Испании.

<sup>2</sup> Прерии—обширные степные равнины в Северной Америке.

И не пролетала ни одна птица, не было никакой жизни, только голы пшеницы в ветре, и единственный звук, который мы слышали, была вечная трескотня миллионов стрекоч, — единственное пение прерии.

Мы жаждали какой-нибудь тени. Когда телега с обеденной едой выезжала к нам около полудня, мы ложились на живот под лошадей, чтобы быть хоть сколько-нибудь в тени в то время, как мы улетали обед. Часто солнце было раскаленное. Мы ходили в шляпе, рубашке, панталонах и башмаках. Это было все, и меньше не могло бы быть, иначе мы были бы сожжены. Если, например, во время работы продерешь себе дыру на рубашке, солнце прожигало это место, и на коже вздувался пузырь.

Во время жатвы пшеницы мы работали до шестнадцати часов в день, десять косилок ездили одна за другой изо дня в день по одному и тому же полю. Когда один четырехугольник был скошен, мы ехали на другой и скашивали его. И так дальше, все дальше, между тем как десять человек шли за нами и складывали снопы в копны. И высоко на коне, с револьвером в руках, не отрывая глаз от наших пальцев, сидел надсмотрщик и наблюдал за нами...

Когда наступили сентябрь и октябрь, днем было невыносимо жарко, а ночи стали очень холодны. Мы часто страшно зябли. И затем мы не высыпались; нас часто будили в три часа утра, когда еще было совсем темно.

Когда мы тогда, накормив лошадей и себя, проезжали длинную дорогу до места работы, начинало, наконец, светать, и мы могли видеть, что нам предстоит делать. Затем мы зажигали копну пшеницы, чтобы растопить машинное масло, которое мы употребляли для смазки машин; мы сами грелись малость у огня, но уже через несколько минут мы должны опять влезать на машины.

У нас никогда не было праздников. Воскресенье проходило, как поведельник...

Мы пахали, сеяли, косили сено, убирали его, жали пшеницу, молотили ее, — теперь мы кончили и должны были получить расчет. С легким сердцем и деньгами в кармане мы отправились, человек двадцать, в ближайший город в прериях, чтобы сесть на поезд и ехать на восток...

Мы оставались еще до вечера следующего дня в городе. Мы вели ту же жизнь и выпили все, что было в кабаке. Многие из рабочих не имели больше ни гроша, когда покинули это место, и, так как им не на что было взять билет, они прокрадывались в товарные вагоны, где зарывались в пшеницу...

(К. Гамсун. — „В прерии“).

*С.-А. С. Штаты.*

(Период мировой войны 1914—18 г.г.).

Он начал прочитывать от первой до последней строчки свою воскресную газету и натолкнулся на объявление одного фермера, которому нужны были „рабочие руки“. Место было в шести милях за городом... Он совершенно не был знаком с сельскохозяйственными работами и так

и сказал. По заводы огнестрельных припасов вытянули из сельских местностей так много рабочей силы, что фермер рад был залучить хоть кого-нибудь. У него был „отдельный хуторок“ на участке...

Так Джимми снова вернулся на лоно своей древней Матери. Но увя: он вернулся, но не затем, чтобы найти радость и здоровье, не затем, чтобы в качестве свободного человека пробивать себе дорогу и создавать для себя новую жизнь; он вернулся в качестве раба, прикрепленного к земле, чтобы трудиться от зари до потемок за плату, которой только хватало ему на жизнь. Фермер был собственником джимминоного времени, и Джимми не любил его потому, что он был груб и скуп, дурно обращался со своими лошадьми и придирался к своим рабочим. Джиммино знакомство с сельско-хозяйственной экономикой было не вполне достаточным, чтобы он мог понять, что Джон Куттер был таким же рабом, как и сам Джимми, что он был прикован закладной на свое имущество к Аштону Чалмерсу, председателю правления Первого Национального Банка в Лисвиле. Джон трудился от зари до потемок совершенно так же, как и Джимми и, вдобавок, на его долю приходились все заботы и опасения...

Но Джимми сохранял свое радужное настроение духа... Все лето напролет он пахал, боронил и работал заступом, ухаживал за лошадьми, коровами, свиньями и цыплятами и ездил в город продавать разные продукты. Он слишком сильно уставал к вечеру, чтобы даже читать свои социалистические газеты...

Тем временем Джон Куттер убрал в погреб бочки с яблоками, провзял свое последнее зерно и отвез на рынок последнюю партию тыкв. А затем, однажды вечером, в субботу, когда воротились коровы, мокрые и дымящиеся от ноябрьского дождя, он сообщил своему батраку, что по окончании этого месяца больше не будет нуждаться в его услугах, не будет больше в состоянии держать „подручного“. Джимми уставился на него в изумлении, — он думал, что за ним обеспечено постоянное место, так как он научился делу и не слышал никаких серьезных жалоб.

— Видишь ли, — объяснил Куттер, — вся работа закончена. Или ты думаешь, что я буду платить тебе за то, что ты станешь сидеть сложа руки? Конечно, я рад буду взять тебя снова будущей весной.

— А что же я тем временем буду делать? — Джимми смотрел на него гневным взором, и вся его ненависть к гнусной системе прибылей закипала у него в сердце. Столько пищи помогал он вырастить и отложить про запас, — а ни один фунт из нее ему не принадлежит!

— Слушай, — заметил он, — я знаю, кого тебе надо. Дрессированного медведя, который все лето будет работать, а зимой уляжется спать и ничего не будет есть!..

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ  
В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### Крепостная фабрика.

#### НА КРЕПОСТНОЙ ФАБРИКЕ.

На дворе большой суконной фабрики было тесно и грязно. Далеко протянулись вдоль двора длинные и низкие каменные корпуса с крошечными слепыми окошками. Один возле другого теснились деревянные, щелястые, плохо сбитые из досок сараи и сарайчики...

Рано утром, еще на рассвете, на фабрике начиналась жизнь. Первым показывался сторож, старый отставной солдат в поношенном зеленом мундире. Медленно выползал он из своей будки, стоявшей возле ворот, и начинал звонить в колокол, висевший у самой фабричной конторы. Фабрика оживала. Отворялись ворота. И с улицы из-за ворот и с дальних концов двора, где были фабричные казармы, шли на работу мастеровые в грязных и рваных кафтанах. У иного всего одна заплатанная рубаха была на плечах, какой бы холод ни стоял на дворе... Рабочие разбрелись каждый в свою сторону и принялись за работу.

В сараях было холодно. От дождя, который лил съездов худую крышу и из-под корыт, в которых промывали шерсть, на плотно убитом земляном полу набралась лужи. Грязная, подмокшая шерсть ворохами лежала прямо на земле, ее клочки разлетались по всему сараю и втаптывались в грязь и лужи. Возле вороха шерсти копошились ребята. С трудом они расчищают ее руками и выбирают комки грязи, щепки, рпейник, солому. В стороне взрослые рабочие взбивают шерсть на решетках. Тучей поднимается шерстяная пыль, носится в воздухе и забивается в рот и нос рабочим...

Неуютно было у прядильщиков и ткачей в больших каменных покоех. Тесно друг к дружке были наставлены станы. В щели неплотных наставленных потолков прямо на станки сыпался сор и песок, марал и портил работу ткачей. В крошечные оконца мало попадало света, и ткачи едва могли разглядеть свою работу.

Работа плохо спорилась...

Не своею волею собрались сотни рабочих на фабрику. Старые из них еще помнили, как при Петре Великом была устроена их фабрика, когда царь спешил одеть в зеленые мундиры своих солдат. Тогда их, вольных крестьян, приписали к фабрике, а потом вместе с фабрикой отдали компании кушч в, и теперь до самой смерти они должны жить

и работать на фабрике. Среди старых рабочих встречались изуродованные люди с вырванными ноздрями. Это были преступники и бродяги, которых, по указу Петра, вместо каторги отправили на фабрику. До сих пор под рубахой еще видны были следы старых заживших рубцов, которыми палач исполосовал их спину, прежде чем отдали их в подневольную работу. Других рабочих сами фабриканты целыми деревнями накупили себе у помещиков. Там, в деревнях, у рабочих оставались их матери, сестры, братья, а их пригнали в город и поселили на фабричном дворе в сырой, полутемной казарме. Были на фабрике и вольные рабочие, это были слобожане и посадские. Нужда заставила идти в город на заработки и помещичьих крестьян, отпущенных на оброк... Подолгу они не заспживались на фабрике и только ждали случая, чтобы бросить ее. На фабрике работали и женщины. Жены и дочери мастеровых своею волею не шли на фабрику. Но полицейские команды забирали с улицы побиравшихся и так, без дела, бродивших женщин и отдавали их в работу на фабрику. С улицы было взято и несколько ребят. И они с утра выходили на работу вместе со взрослыми и работали наравне с ними 14 часов до самой ночи и за все получали от хозяев хлеб да кашу, да кое-какую одежду.

По субботам на фабрике бывал расчет. Крепостные рабочие на целый месяц вперед получали из фабричных лабазов муку, крупу и соль. Потом вместе с вольными шли в контору получать заработанные деньги. Они уже знали, что немного попадет в их карманы. За каждый из'ян в работе их ждали штрафы и плети. За каждый проступок, за испорченный инструмент, за дерзкое слово надсмотрщику, за прогул и пьянство приходилось подставлять спину под кнут и батоги...

Не подолгу жил на фабрике вольный рабочий. Но воля манила за фабричные ворота и крепостного. Когда ему становилось невмочь, он бежал. Но далеко не удавалось уйти ему: нередко находили его в ближнем кабаке и отправляли назад на фабрику, где ждала его расправа. На фабричный двор собирали всех рабочих и приводили виноватого. Сторожа разом стаскивали с него кафтан, расстилали его на земле и, сорвав с плеч рубаху, валили на-земь, на разостланный кафтан. Сторожа садились на ноги и на голову и до крови били по спине короткими батогами. Так наказывали беглого на страх и поучение всей фабрике; а потом отводили избитого человека в тюрьму...

(Вл. Сыроечковский. См. сборник «Из нашего прошлого»).

## ДЕТСКИЙ ТРУД.

Скучно и тягостно живется на наших, отделенных дремучими лесами и несвободной жизнью от вольного мира, заводиках, как большим, так и нам, хлопцам, когда долго-долго не заглядывают к нам вольные люди.

Темная гута, с своими пылающими жерламп, этот мрачный лес и из часа в час уныло и тоскливо раздающиеся удары заводского колокола немного веселили. И нас тянуло к себе село, отстоявшее версты на две

от завода. Малый и большой перед праздниками шли туда. Там и свирель пастушью услышишь, лихую трепачную песню и длинную-длинную хороводную. А кругом поля, луга рассеяны близ леса. Где у нас было все это, в нашем дремучем лесу? Не было ничего этого.

.....

Минуло мне семь лет вместе с двумя другими мальчуганами.

Помню, ранним-ранним утром пришел к нам десятник и сказал отцу, чтоб он „тащил“ меня в контору.

— Как есть время по справедливости... в конторской книге обозначено,—прибавил он,—да поскорее... Управляющий теперь чай пьет, в самый раз!

— Пора, пора уж... Чего тут шленды-то бить,—ворчала на меня моя старая тетка.

— Чего пора?.. Малыш еще совсем,—несмело вымолвил на эти слова мой смиренный тятка.

— Е-есть надо,—сказала тетка со своей старческой строгостью:— вот что!.. Провиянту надбавят... А то—малыш!

Ни слова не сказав по своей смиренности, надел тятка шапку, и мы пошли потихоньку к конторе: всю дорогу тятка смотрел куда-то от меня в сторону своими мутными глазами.

Управляющий в конторе со свежим ситным и медом пил чай. Удивил тогда меня он, потому что показался он мне таким сытым и толстобрюхим, что не сравняться с ним ни одному сытому мужику из села.

Близ дверей уже стояли со своими тятками мои сверстники и, сунув в рот пальцы, с завистью следили за мухами, храбро оплетавшими такой чудный мед.

— Ну, паршивцы,—так с добрым утром приветствовал управляющий нас, лениво прожевывая кусок ситного, — полно баклуши бить, дарма есть пора перестать, даром кормить мы вас не намерены...

— Рано бы, мотри, Ван Ваньч,—смирненно и здесь замолвил было мой отец, скосив жалостно как-то набок свою голову и глядя меня одной рукой;—очинно еще молод-бы...

— Мо-ола-ад!—протянул управляющий.—А ты балуй его еще... Вы благодарны должны, кажись, быть.. Молод,—так в мастера скорее выведу.

— По себе знаю, Ван Ваньч, тягостно с измалетства-то...

— А тебе плохо, што ли?.. Али вам все даром?.. Должны вы быть нам благодарны али нет, ежели мы вас такую араву содержим: хлеб, изба, одежда, водка—все... Должен ты быть благодарен, говори?!

— Благодарны... Что говорить!... — отвечали, кланяясь, тятки, вполне, кажется, соглашаясь, что содержать такую араву и-и как много стоит.

— Ну, то-то. Ты должен знать, как я за благодарность удовлетворить люблю.

Тятка поклонился низко-низко и смачно усмехнулся, так как он хорошо знал, в чем силаща этого удовлетворения.

— Жена!—крикнул управляющий, вставая, —поднеси-ка водки, вот ему... Он чувствительный...

— А ты учись, бестяга, у отца-то непослушности, — обратился он ко мне и отодрал при этом случае за вихор для внушения.

С этой самой минуты приобрела для меня заводская контора великое значение.

Смутное чувство мучительной истомы в теле до содрогания охватывает меня, когда встанут вдруг в памяти эти первые непосильные рабочие хлопцецкие дни.

— Шабаш!—громко крикнул в субботний вечер надсмотрщик, стоя у песочных часов,—это было в первый раз услышанное нами, хлопцами, заводское слово,—и что-то дрожью пробежало по истомленному хлопцецкому телу.

Как будто ошалелые, обеспамятелые неслись мы на село, а изможденное тело на каждый шаг твой отзывалось болью.

— Тяжко, бабушка, тяжко,—вопили мы перед вольным человеком, бабушкой Матреной, поверяя ей на разрыв голоса свое малое хлопцецкое горе.

— О-ох, знаю, касатки мои, знаю!—чуть не вопила вместе с нами старуха, словно всей своей душой проникая в ребячье горе.

— Посмотри-ка, бабушка, ты у меня ноги, обжег я их больно, как при таком огне работал,—вопит малый хлопец, показывая бабушке Матрене свои худые ноги с вздувшейся в нарывы кожей от обжогов раскаленным стеклом, которых, нет того дня, чтобы с неприявки не жгли мы, хлопцы, необутые, в летние работы, ноги свои.

— А мне вот, бабонька, брызнуло на руки стекло-то такой искрой огненной,—вопит другой хлопец, протягивая свои худосочные, чуть не до кости прожженные ручонки...

Так изо дня в день и потянулась наша 8 — 10-часовая рабочая хлопцецкая жизнь.

Справа — дымный смрад заводской гуты с конторой, в которой крепко-на-крепко закабалены были наши души, слева — темный дремучий лес, пятидесятиверстной стеной окруживший нас, а над всем этим серое, туманное осеннее небо,—так представляется теперь в моей памяти наша хлопцецкая, редко приглубленная близким сердечным словом, мальчишеская жизнь... „Жрать надо!“—и в этом заключалась суть бытия нашего...

(И. П. Златовратский.—„Хлопцы“).

## БОРЬБА НА „ПОЧВЕ ЗАКОНА“.

... На другой крупной помещичьей фабрике — Осокна, в г. Казани—столкновения рабочих с хозяином были хроническим явлением еще в прошлом веке. При этой фабрике по 5-й ревизии значилось 1.414 д. м. п., из которых работало на фабрике 984 (женщины не работали)...

В 1798 г. рабочие подавали жалобу императору Павлу на жестокости владельца и малую плату. Жалоба была признана несостоятель-

ной. В 1800 г. рабочие подали жалобу о том же министру юстиции. Жалоба поступила на рассмотрение мануфактур-коллегии, которая предписала сообщить мастерам, что за дальнейшие столь же неосновательные жалобы с ними будет поступлено по всей строгости законов и виновные будут сосланы в Сибирь на работы. Вместе с тем от рабочих была потребована подписка в том, что они будут повиноваться хозяину. Почти все рабочие отказались дать такую подписку.

Столыновения рабочих с фабричной администрацией не прекращались. В 1806 г., по просьбе владельца, его власть над рабочими была значительно расширена—указом сената разрешено, как владельцу фабрики, так и управляющему, назначенному владельцем, наказывать фабричных за уклонение от работы и другие вины. Осокин старался заставить работать на фабрике и женщин, но рабочие упорно противились этому и с полным успехом—женщины не принимали никакого участия в фабричной работе.

В 1817 г. рабочие подали просьбу великому князю Михаилу Павловичу. Повторяя свои прежние жалобы на владельца, они в то же время просили даровать им свободу, ссылаясь на то, что они происходят от свободных людей и не были куплены содержателем фабрики. Просьба была признана неосновательной, наряджено следствие, и от рабочих вновь потребовали подписку в повиновении фабриканту. Но рабочие подписки не дали и тайно отправили поверенных, Соколова и Ефремова, в Петербург для подачи жалобы самому государю. Оба поверенные были арестованы и отправлены обратно в Казань в кандалах. По дороге Ефремов, „претерпевши в пути неограниченное мучение, не могли снести его, умер“, а Соколов был заключен в тюремный замок.

Министр внутренних дел командировал в Казань для расследования дела того же Бурнашева, который составил Положение для фабрики Яковлева. Бурнашев донес, что нельзя рассчитывать на успокоение рабочих, „доколе фабричные не будут обращены к повиновению своему владельцу, доколе они не оставят ложного мнения, в уме их поселившегося, о свободе, и доколе не истреблен будет в них дух своевольства“.

Вместе с тем Бурнашев составил Положение и для фабрики Осокина. Этим положением заработная плата была повышена, но были повышены и уроки. Рабочий день был уменьшен с 14 до 12 часов. Рабочие остались, однако, недовольны и в 1818 году вновь подали жалобу министру внутренних дел на „бесчеловечное над нами Осокина обращение, употребление нас в другую работу, малое за работу довольствие“. Приведем несколько мест этой красноречивой жалобы. „Осокин усугубил над нами свои жестокости и чрез побойства многим причинил насильственную смерть... Горестные восклицания о бесчеловечном мучении все отринуты от разных лиц под разными видами—то неужели после сего никто не хочет обратить внимания на неистовство и жестокости и неужели никого нет, кто бы в точности исполнить мог права, законом установленные!.. Мы терпим неограниченную во всем нужду и жестокое обращение слишком 23 года, с коего времени жалобы наши простираются в разные места, и в столь долгое время по установленным правилам не можем получить той цели, каковая предположена в указах 1801 г., августа 18, а за

оним 1803 г., июня 30, и 1817 г., апреля 4... В зимнее время мы производим работу в промерзлых местах, в жестокие морозы, но вследствие у многих теплого одеяния не только нельзя производить работу, но и рук согреть негде". Положенне, составленное Бурнашевым, рабочие называли „бессмысленным, превратным и ни с чем не сообразным“, так как „при самом длительном прилежании... нет способностей и средств урок вышлнить“. „Прибытие Бурнашева, — заканчивают рабочие, — состояло в том единственно, чтобы нас обессилить, а Осокину дать способ к производству над нами бесчеловечного мучения“.

В виду всего этого, рабочие просили министра даровать им свободу, а до освобождения учредить над фабрикой Осокина опеку.

В 1819 г. Казанскую губернию ревизовали сенаторы Кушников и гр. Санти. Сенаторы пытались уверить рабочих в неосновательности их мнения, что они люди свободные, но рабочие говорили, что „государь людей не продаст“. Когда же сенаторы начали доказывать, „что воля государя была отдать предков их даром или за деньги“ .., то рабочие отзывались тем, что уже с того времени деньги, заплаченные за них, давно заработаны<sup>1</sup>.

Более 100 фабричных с женами и детьми явились в дом, где остановились сенаторы, с жалобой на Осокина.

Вместе с тем рабочие отказались работать на фабрике, и значительная часть их (около 200) совсем не явилась на фабрику.

В 1820 г. рабочие явились большою толпою к губернатору с жалобами на Осокина. Подписку, требующую губернатором в том, что они будут повиноваться содержанию фабрики, рабочие наотрез отказались дать, „ибо они Осокину никогда не принадлежали и не принадлежат“.

Все это побудило начальство прибегнуть к „морам строгости“. На фабрику была поставлена воинская команда, 4 окт. 1820 г. сенат утвердил Положенне, составленное Бурнашевым, и предписал губернатору немедленно обнаружить возмутителей рабочих, внушающих им „ложные мечтания о свободе“, и отправить их навсегда на иркутскую суконную фабрику. Губернатор лично прибыл на фабрику и прочел им сенатский указ, но рабочие „с грубостью объявили, что хотя они все то, о чем им было внушаемо, а равно и относящиеся к сему документы, и поняли совершенно, но все оное почитают за обман, погорячая прежние свои отзывы о непринадлежности Осокину и добавляя, что одному только именованному указу, самим государем императором подписанному, могут они дать вероятие“.

Губернатор приказал 10 человек фабричных взять под стражу, и 8 из них немедленно отправил на иркутскую фабрику. Вслед за тем были сосланы еще 3 фабричных, а прочие подвергнуты „полицейским наказаниям“.

Несмотря на это, рабочие не только отказались дать подписку в повиновении, но даже заключили между собой тайным образом письменное соглашение, которым обязывались ни в коем случае не уступать

<sup>1</sup> По словам сенаторов, главное домогательство рабочих заключалось в том, чтобы их плата была сравнена с платой вольнонаемных, и при том плата производилась бы не с изделия, а поделшал.

требованиям начальства. Это вызвало особое судебное расследование, и 14 дек. 1823 г. 10 рабочих были приговорены казанской палатой уголовного суда к наказанию плетьюми, а 11-го рабочего, некоего Михайлу Мясникова, суд приговорил к двухнедельному аресту, в виду того, что означенный рабочий не принимал участия в соглашении, а только передал своему отцу бумагу, на которой было написано это соглашение. Приговор казанского суда поступил на рассмотрение сената, а затем комитета министров, которому было сообщено высочайшее повеление от 25 ноября 1824 г., изменившее приговор в следующем смысле: приговор относительно 10 первых рабочих был утверждён, но что касается Михайлы Мясникова, то он должен был присутствовать при наказании плетьюми его товарищей, при чем ему должно было быть объявлено, что если он выдаст лицо, составившее соглашение, то будет избавлен от наказания, если же нет, то будет наказан тяжелее других. Приговор был приведен в исполнение; Михайло Мясников присутствовал при наказании плетьюми его товарищей, при чем его отец был засечен до смерти, но товарищей своих он не выдал...

18 июня 1829 г. поверенный рабочих Бабин подал императору Николаю I жалобу на Осокина. В феврале 1832 г. трое поверенных рабочих, Попов, Чудин и Сметанов, от имени всех остальных прислали новую жалобу государю на угнетения и жестокости Осокина, а также и на неудовлетворение их просьб казанским губернатором. В Казань был командирован чиновник министерства финансов Афросимов, который нашел, что жалобы фабричных, „имеющие глазным основанием мнимую свою вольность, суть без всякого основания и происходят не от чего иного, как от буйной их нравственности“.

В 1834 г. рядовой из фабричных Осокина, Сапожников, во время высочайшего смотра войскам в Нижнем-Новгороде, лично подал жалобу императору Николаю на притеснения мастеровых Осокиным и неправильную отдачу его самого в рекруты. Для расследования дела была назначена особая комиссия из представителей министерства финансов, внутренних дел и корпуса жандармов. Комиссия прежде всего постаралась убедить рабочих, что они по закону прикреплены к фабрике Осокина. Но „такое истолкование и вразумление фабричных мастеровых не только не имело желаемого успеха... но, по укореившемся в них духу своеволия, они решительно объявили членам комиссии, что не перестанут отыскивать избавления от рабства г-на Осокина до тех пор, пока не получат удовлетворения“. Подписку в повиновении владельцу дали 32 фабричных, а прочие отказались.

Рабочие показывали комиссии, что Осокин засекал до смерти трех фабричных, одного в 1814 г., двух—в 1826 г.; 55 рабочих, со времени 7-й ревизии, было сослано в Сибирь на поселение, 14 на иркутскую суконную фабрику и 76 отдано в рекруты.

Наконец, в 1836 г., во время пребывания императора Николая I в Казани, рабочие всей толпой отправились к месту, где проезжал государь, и подали ему новую просьбу, повторявшую прежние жалобы на Осокина. Для усмирения рабочих были приняты крайне строгие меры—большинство из них были жестоко наказаны розгами, а 51 человек уда-

лены с фабрики, из числа которых годные были отданы на военную службу, а прочие сосланы в Сибирь.

Вместе с тем министр финансов разрешил Осокину употреблять на фабричные работы женщин и детей мастеровых.

Но, несмотря на строгость наказания, несмотря на то, что значительная часть рабочих была удалена с фабрики, прочие отказались дать подписку в повиновении фабриканту. Когда полицмейстер прибыл на фабрику для об'явления приказа министра финансов—обязать работать на фабрике женщин и детей, то, „при об'явлении сего мастеровым, только 64 человека дали подписку, а прочие при всех его убеждениях отказались“. Губернатор лично явился убеждать мастеровых, „но люди сии, закосневши в упорстве... оказали себя и против его убеждений непреклонными, не оказывая впрочем сопротивления в исполнении из'ясненных распоряжений“...

(М. Туган-Барановский.— „Русская фабрика в прошлом и настоящем“).

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Падение крепостного права—1861 г.

#### ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЛИ НА ГОРНЬХ ЗАВОДАХ.

...В субботу утром попался одному рабочему соборный дячек.

— Слышь, ты новость,—воля вышла.

— Слышал, да што толку...

— Завтра читать будут царский манифест в соборе.

— Так от царя воля-то?

— Да. А ты от кого думал? Тут, брат, только царь и может уволить вас, потому вон у ваших господ сколько заводов да людей, говорят, тысяч пятьдесят, а у других и по двести тысяч есть

— Да как же толкуют: воля не нам, а крестьянам?

— Всем, кто крепостной.

— А казенные?

— Казенным воли нет, потому они казенные.

В этот же день все рабочие узнали, что завтра будут за обедней в соборе читать царский манифест о воле, и на работы никто не пошел.

Мужчины вымылись в бане, надели чистые рубахи и штаны с вечера; женщины тоже с вечера приготовили для себя подвенечные сарафаны, а худые сарафаны и шубейки постарались поскорее починить.

В воскресенье, еще далеко до обедни, площадь перед собором была полна народа. Тут были и старые, и молодые, мужчины, женщины и дети—в заводских одеждах, пестревших и ревавших глаза всевозможными яркими цветами.

Народ гудел. Каждый говорил, и разговоры касались заводского начальства. Отперли двери в собор, народ хлынул к собору, но у дверей стояло восемь солдат, неизвестно каким образом попавших сюда, которые заперли дверь изнутри.

Собор окружили со всех сторон, а боковые двери были заперты.

Приехал дякон с дяконницей и детьми. Их впустили в церковь. Начались рассуждения о дяконнице.

— Смотри, кагая худоба, а как вырядилась!..

— А вот ее пошто пустили?

— Напрям, братцы?

Приехал священник с женой и детьми; рабочие стояли у палсрти и на лестнице, и, как только отворили двери, человек пятьдесят ворвались

в собор. Так за священнослужителями и чиновниками, которых пускали беспрепятственно, рабочие мало-по-малу врывались в собор, и скоро в соборе было очень тесно, несмотря на кулаки солдат и сабли двух казаков, приехавших сюда будто бы с бумагами из города!.. Казаки объяснили рабочим, что и в городах так ведется, что наперед в соборы должны попадать начальники, а если праздник царский—то простой народ вовсе не допускается. Народу вокруг собора было очень много... Прочел час, и никто из стоявших и толкувшихся вокруг собора не знал, что делается в церкви; стоявшие у крыльца с завистью глядели на начальников, проходящих в собор, и жалели о том, что они раньше не пробрались к крыльцу; стоявшие на лупеньках крыльца то и дело заглядывали в собор сквозь стекла, сделанные в дверных рамках. Они ждали, когда дьякон будет читать бумагу.

— Што?

— Нету. Надо быть, скоро...

Открыли двери... Из церкви слышалось пение, как издали.

— Ну, што?—кричали рабочие, стоявшие перед крыльцом.

— Значит, обманули!—говорили задние.

— Погоди... Поны в ризах на середину идут, — подсказывали стоящие в дверях собора.

Началась толкотня.

„Божьей милостью“... слышалось глухо из церкви. Мужчины сняли шапки и фуражки, женщины открыли уши, все привстали на цыпочки.

Водворилась гробовая тишина...

— А долго читают!.. Эка оказия... Вот тем счастье. Хоть бы пробиться как,—и говоривший это пролезал, но на третьем шагу его оставили.

— Куда лезешь!

— Молчи!

— Накладем в спину-то!

Стали говорить громко; все были недовольны.

— Ничего не слышно, а дьякон бумагу держит, губами шевелит.

— Охрип, значит!

Наконец, чтение кончилось, кончилась и обедня.

Народ завслюновался и повалил из собора...

— Уж так много там написано, что и не разберешь. Всем крепостным сказана воля, и все отойдут в крестьяне али куда хошь; отберутся от помещиков через два года...

— Слышь! Даром отберут!

— Куда отберут?

— На волю. Куда хошь: хоть в купцы!—кричали со всех сторон.

— А покос?

— Покосы и земля наша!

— Одно, братцы, худо: об мастеровых не сказано и казенных рабочих нет.

— Не нам, бают, воля!.. Врут!...

Между тем начальство уже раз'ехалось, не обратив внимания на волнующийся народ, которому теперь никакого не было дела до управляющего, приказчика и прочего начальства.

Прошла неделя, а рабочие на работы не идут под тем предлогом, что они даром работать не хотят. Заявили приказчику, что они не желают быть под командой нынешних мастеров, нарядчиков и штейгеров. В понедельник рабочие стали советоваться, что им делать: есть нечего. Пошли толпы к конторе, вошли в контору и стали просить провианта, денег, заработанных за прошлый месяц, обещаясь сегодня же идти на работы. Им отказали. Вечером толпы народа самовольно вытащили из магазина всю муку и потом разошлись по домам.

Ночью послан был нарочный к начальнику горных заводов с донесением о беспорядках.

Дела рабочих были в скверном положении; взятая ими мука в кулах оказалась с песком, эту муку они высыпали перед господским домом; у них не было ни сена, ни дров. Многие захворали, дети и скот начали издыхать.

(Ф. М. Решетников.—Глумовы\*).

### „ВОЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ“:

Улицей узкою, шумной и бедной  
 Шел, опустив воспаленные очи,  
 В грязных лохмотьях, дрожащий и бледный,  
 „Вольный рабочий“...  
 Вольный! Он может, где хочет, скитаться,  
 Может бродить он по улицам шумным,  
 Может он плакать и может смеяться  
 Смехом безумным.  
 Может стучаться он в каждую дверь:  
 Голода муки никто не заметит,—  
 Сытые люди бездушны, как звери,  
 Смех лишь он встретит.  
 С громким проклятьем и жгучим укором  
 Может замерзнуть он ночью холодной  
 Иль умереть где-нибудь под забором  
 Смертью голодной.  
 Что же он слал? Иль себя он боится?  
 Дико глядят воспаленные очи...  
 Что ему нужно? Ведь волен, как птица,  
 „Вольный рабочий“.

(Из сборника „Перед рассветом“, сост.  
 В. М. Бонч-Бруевич—Ведличкиной).

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

# Развитие промышленности.—Начало рабочего движения (60—70-ые г.г.).

### ПЕРВЫЕ СТАЧКИ.

На работу нас поднимали в 4 часа утра. Я работал на ватерных машинах, и мне приходилось стоять все время на одной ноге, что было очень утомительно. Этот адский труд продолжался до 8 часов вечера.

Измученные этой работой до полного истощения сил, мы принуждены были в 9 часов вечера идти еще в школу, где нас учили или, вернее сказать, мучили до 11 часов. В школе нас обучали письму, чтению и арифметике. Но, конечно, учение наше шло очень плохо: до учения ли нам было в этот поздний час; тем более шло оно плохо, что наш учитель принадлежал к типу тех педагогов, которые признают кулак да розги лучшими средствами для воспитания детей. Мы очень боялись учителя; бывали случаи, что некоторые из нас падали в обморок, когда учитель набрасывался на них с поднятыми кулаками. Усталые, измученные, дрожа каждую минуту в ожидании толчков и затрепич, мы ровно ничего не выносили из школы. Я помню, например, как один ученик делал у нас вычитание так:  $2 - 2 = 2$ . И этот ученик учился уже 8 лет...

По воскресным дням и по вечерам, по окончании работ, я не смел выйти никуда без билета, который должен был брать у учителя. Он, выдавая билет, обыкновенно говорил: „Смотри, я отпускаю тебя на час; если ты просрочишь, то—в карцер или розги“. В карцер сажали на хлеб и воду, а розог давали от 25 до 100. Розгами били в казарме, и при этой операции находились: учитель, управляющий и десятник, а наказывали сторожа. На фабрике же наказывали директор и его помощник... Эти лица были настоящие тираны... На фабрике наказывали плетью... Я привожу несколько фактов, как били меня самого. Один раз я нечаянно сломал щетку, за что получил 25 ударов плетью, другой — 50 ударов за то, что проехал по под'емной машине с 4 этажа в третий; меня били так сильно, что на моей спине не осталось белого места—вся была черная, как сапог... На фабрике мастера и подмастерья явно убивали детей. Я сам видел, как один подмастерья бил одну девушку, которая на другой день слегла в больницу и там умерла. Детей ставили часа на два на колени на осколках старых кирпичей и на соль, таскали за волосы, били ремнями. Словом сказать, делали с нами все, что только хотели...

При поступлении на фабрику директор положил жалованья нам по 4 рубля; из этих денег нам давали лишь 8 к. в месяц, т.-е. по 2 к. с рубля. За такое жалованье я жил целых четыре года. До шестнадцати лет с меня хозяин брал за содержание 6 р. 50 к. Поэтому я оставался должен ему каждый месяц по 2 р. 50 к., а иной раз и больше, так как с нас часто брали штраф за разные провинности, и эти штрафные деньги присчитывались к долгу. Когда мне наступил двадцатый год, с меня хозяин стал брать за содержание по 10 рублей в месяц.

Таким образом и составилась мой долг, на покрытие которого шел почти весь заработок. Через три года мне удалось выплатить все, что я должен был хозяину. Но положение мое после этого не особенно улучшилось, так как мне все-таки не выдавали на руки весь мой заработок, а только 10 к. с рубля, остальные деньги шли в ссудо-сберегательную кассу, и я мог их тратить лишь под контролем хозяина...

В 69 году, на третий день Троицы, на нашей фабрике случилось ужасное событие. С моста свалилось в реку 150 человек женщин; некоторых удалось вытащить, но, как говорили, 75 из них пропали без следа. Обстоятельства этого происшествия были следующие. Кренгольмская мануфактура<sup>1</sup> считается самую большую фабрикой в России; здесь в это время работало более 12 тысяч вольного народа. По окончании работ хозяин каждый вечер производил строгий обыск рабочим, опасаясь, чтобы они не унесли чего-нибудь с собой из фабрики. Обыск этот производился на мосту, через который проходили на фабрику. Мост этот стоял у самых больших порогов реки, посредине которых стояла фабрика... Мост был деревянный и существовал уже с 48 года. Поперек моста стояли четыре рогатки... Через первые две рогатки проходили мужчины, а через остальные две—женщины. Женщин обыскивали сторожихи.. Случилось, что сторожихи куда-то пропали, и поэтому женщинам пришлось ждать довольно долго; а между тем с фабрики приходили все новые и новые толпы женщин и становились в ряды. Ожидание длилось долго. Наконец, женщины вышли из терпения, задние нажали на передних, которые, прижаты переплам, налегли со всей тяжестью на эту гнилую, хрупкую преграду, сломили ее и начали падать в реку. Между тем, задние, не зная о случившемся, продолжали напирать... Всех упавших в реку, как я уже говорил, было более 150, и около половины из них были убиты. Как вы думали, было за это что-нибудь хозяину? Нет, он никакой ответственности не подвергся. Это событие возбудило сильное негодование.

Было еще много и других причин, за что народ ненавидел хозяев, но он все терпел... Так дело протянулось до 72 года, когда терпение рабочих, наконец, лопнуло, и они решились устроить стачку...<sup>2</sup>.

(В. Герасимов.—„Жизнь русского рабочего полвека тому назад“).

<sup>1</sup> В гор. Нарве.

<sup>2</sup> Автор воспоминаний, социалист-рабочий, был питомцем воспитательного дома в Петербурге. Питомцев этих благотворительных учреждений правительство считало „казенной собственностью“ и обращалось с ними, как с крепостными. 11-летним ребенком Герасимов,—вместе с другими питомцами—



Служим потом, служим кровию  
 Мы купецкому сословию,  
 А и царское правительство  
 Покрывает все грабительство,  
 Издает законы многие,  
 Для рабочих очень строгие,  
 Да без всякого стеснения  
 Учиняет притеснения.  
 На купцах стоит теперь земля,  
 Нету силы против батюшки-рубля!  
 Ох, уж эти-то купцы, купцы, купцы,  
 Обиратели они да поддецы!

Вы, ребяташки фабричные,  
 К обирательству привычные,  
 Уж найдите вы управушку  
 На Морозога, на Саввушку,  
 Покажите молодечество,  
 Выходите на купечество,  
 На купцов, да на попов, да на царей  
 Подымайтеся скорей, скорей, скорей!

(Из сборника „Перед рассветом“,  
 сост. В. М. Бонч-Бруевич—  
 Величкиной).

### РЕЧЬ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА.

(Произнесенная им в заседании Особого Присутствия Сената 10 марта 1877 года).

Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени от непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Десяти лет, мальчишками, нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим, где попало—на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов... В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что только может выразить одна грубо воспитанная, всеми забытая, от всякой цивилизации изолдрованная, мускульным грудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закладывается у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.

Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются, всевозможными способами, отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабсж доходом. Самые лучшие для рабочих из московских фабрикантов—и те сверх скудного заработка эксплуатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту на задельную

работу, беспрекословно и с точностью исполняет все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесцельных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-тичасовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других...

Председатель сенатор Петерс. Это все равно. Вы можете этого не говорить.

Петр Алексеев. Да, действительно, все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-тичасовой дневной труд—и едва можно заработать 40 копеек! Это ужасно! При такой дороговизне естественных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей! Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимым потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку, и свободно можем тогда протянуть ее для помощи другим! Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю жизнь зарабатывал 17-тичасовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом наших собратьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных ночей проводят за чтением книг; напротив, там этим гордятся, а о нас отзываются, как о народе рабском, полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как „Бова корольевич“, „Юрслан Лазаревич“, „Ванька Каин“, „Жених в чернилах и невеста во щах“ и т. н. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно—забавное, а другое—божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас, в России, рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении—тогда уж держись! Ему прямо говорят: „ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги“. И страннее всего то, что и иронии не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животное. Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы и немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг

нас все бегают и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас, так называемая, всеобщая воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он не чувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силою и только для одного разнообразия ворочающую все с лица на изнанку. Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, ее станет поддерживать рутину и обеспечит материально крестьянина, выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но увы! Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день русского народа, день, в который он, с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить свою будущую судьбу, благодарил царя и правительство, — 19-го февраля. И что же? И это для нас было только одной мечтой и сном!.. Эта крестьянская реформа 19 февраля 61 года, реформа „дарованная“, хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы попрежнему остались без куска хлеба с клочками никуда негодной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него, за исключением праздничного дня, все рабочие под строгим надзором, и не явившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а, окружающие ихнюю, сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях, значит, они все крепостные! Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, — значит, мы крепостные! Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, — значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста, и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон, — значит, мы крепостные!

Из всего мною высказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи кроме от одной нашей интеллигентной молодежи

Председатель вскакивает и кричит: „Молчите! Замолчите!“

Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает): Она одна братски протянула к нам свою руку... И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) подыметя мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Председатель волнуется и, вскочив, кричит: „Молчать! Молчать!“

Петр Алексеев (возвышая голос)... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах...<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Петр Алексеев (1849—1891) — один из первых социалистов-рабочих. В 1875 г. был арестован за социалистическую пропаганду, которую вел на фабриках и среди солдат. В 1877 г. был предан суду по так называемому „процессу 50-ти“ (кружок пропагандистов). Он отказался от защитника и сам произнес речь, но не защитительную, а обвинительную против своих судей и против всего социального строя в целом. Речь эта усилила меру наказания. Алексеев был приговорен к 10 г. каторги, а после нее к ссылке на поселение в Якутскую область.

Речь Алексеева получила широкое распространение и многие годы служила целям агитации. И до сегодняшнего дня она сохраняет свое значение, как документ пережитой эпохи, как яркое и правдивое изображение жизни рабочих в 60—70 г.г. прошлого века.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

# Положение рабочего класса в конце XIX-го века (80-90 г.г.).

### ГИБЕЛЬ КУСТАРЯ.

— Вы видите,—сказал мой знакомый,—собственная семья, собственный дом и собственный садик с цветами... Здесь все элементы, указывающие, что рабочий остался человеком, а не превратился в винт сложного механизма...

„Собственные“ дома, правда, виднелись в изобилии, а один из них вскарабкался даже на кручу и виднелся в нескольких саженьях под моими ногами. Но что это был за домик! Какая-то игрушка, с крохотными стенами, крохотною крышей, игрушечной трубой, из которой вилась совсем игрушечная струйка дыма, и совсем уже смехогворными оконцами. И таких „собственных“ домов на отшибе, без плетня, без кола, виднелось всюду очень много. Кустарь хватается за последнюю возможность самостоятельной жизни с такими же усилиями, как эти домики—за каждый выступ глинистого обрыва. Но как жить и вместе работать в такой конуре?

И все Павлово, расстилавшееся подо мною по оврагам, по горам и обрывам, производило такое же впечатление. Как мало здесь новых домов! Свежего сверкающего тесу, новых бревен, которые бы показывали, что здесь строятся, что новое вырастает на смеву дряхлого и повалившегося,—совсем незаметно. Зато разметанных крыш, выбитых окон, подпертых снаружи стен—сколько угодно. Среди лачуг высятся „палаты“ местных богачей из красного кирпича, с претенциозною архитектурой, с башенками, шпицами и чуть ли не амбразурами...

Когда же над этим хаосом провалившихся крыш и нелепых палат взвились струйки белого пара и жидкий свист „фабрики“ прорезал воздух, то мне показалось, что я, наконец, схватил общее впечатление картины: здесь как будто умирает что-то, но не хочет умереть—что-то возникает, но не имеет силы возникнуть...

Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная нора, прилавок, трепетный огонек сального огарка в фанаре, освещающий фигуру

за прилавком и напряженные лица кустарей, напирающих с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, спокоен, — они взволнованы. Он развертывает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает цену за другие. Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежды у тех, кто подходит, страха у тех, чьи образцы в руках скупщика, вражды на лицах отходящих... „Вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру“, — невольно приходит в голову при виде этого человека, сидящего у фонаря за прилавком в середине загороженного входа.

Но, с другой стороны, если бы скупщик не засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если бы не явился ни один, все Павлово принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить работу за недостатком материала.

Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти замки и ножи, а отсюда, из его подвалов, они разойдутся по всему белому свету, попадут в Турцию и в Персию и на далекие недоступные рынки неведомых стран Средней Азии.

Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и в переулках, горят такие же огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цену до той степени, до какой только масса будет поддаваться. И он должен не отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже, и Москва возьмет у других.

И вот он окидывает толпу острым, пронизательным взглядом. Он ее давно изучил и думает, что „ноньче народ станет уступать до последнего“. Это его не радует и не печалит, он просто принимает это к сведению.

— Рука, что ли, Иван Иванович? — и кустарь кидает образцы на прилавок.

Скупщик медленно разворачивает и равнодушно отодвигает товар.

— Не рука.

Может-быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить свое положение и расшатать положение другой стороны. Для него отодвинутые образцы — несколько гривенников барыша; для кустаря, работавшего их целую неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому огню, а в оставшейся толпе этот эпизод уже посеял некоторую долю неуверенности и уныния...

Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым он ведет дело давно и с которым пускается иногда в приятельские разговоры.

— Не сойдут опять образцы у тебя с товаром. Личка у вас плоха, — говорит он.

— Личка у нас ноне, Иван Иванович, первый сорт. Ноне мы рабочих нажали несколько. Забудут спать-то.

— Почему?

— По шести гривен.

— Уступай, Потапыч, уступай.

— Уступлено, Иван Иванович, сами знаете, по восьми брали.

— Знаю, что по восьми. Да еще уступить надо. Ноне, сам видишь, до слез уступает народ.

Уступает до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ему? В общем, человек—все-таки человек, и слеза народа иному скупщику, может-быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше уж не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция—пресс... Кустарь—материал, лежащий под прессом, скупщик—винт, которым пресс нажимается.

К огню подходит молодой мастер и молча, угрюмо кидает товар на прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него скупщицкий пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик окидывает его пронизательным взглядом и с особенным вниманием присматривается к образцам. Мастер с стеньком презрения наблюдает эту процедуру. Он знает, что образцы у него безукоризненные, что скупщику это известно, что именно потому он и не может отдать товар дешево, как отдают другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее качество товара; форма остается та же, но вес и работа—другие. Он артист своего дела, гордый своим искусством, один из тех, которые до последней возможности не идут на компромиссы...

— Почему?

— Знаете сами, почему брали.

— Теперь дешевле.

— А как?

— Полтина.

Мастер сам берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет скупщик.

— За полтину этот товар отдавать—солому надо есть. Не научились еще дети у нас.

— Научатся,—говорит скупщик хладнокровно...

... Когда мы, согнув головы, вошли в эту избушку, на нас испуганно взглянули три пары глаз, принадлежащих трем крохотным существам.

Три женские фигуры стояли у станков: старуха, девушка лет 18 и маленькая девочка лет 13. Впрочем, возраст ее определить было очень трудно: девочка была как две капли воды похожа на мать, такая же сморщенная, такая же старенькая, такая же поразительно худая.

Я не мог вынести ее взгляда... Это был буквально маленький скелет, с тоненькими руками, державшими тяжелый стальной напильник в длинных, костлявых пальцах. Лицо, обтянутое прозрачной кожей, было просто страшно, зубы оскаливались, на шее при поворотах выступали одни сухожилия... Это было маленькое олицетворение... голода!..

Да, это была просто-на-просто маленькая голодная смерть за рабочим станком. Того, что зарабатывают эти три женщины, едва хватает, чтобы поддержать искру существования в трех рабочих единицах кустарного села.

... Эти три существа работают с утра до ночи, занимаясь отделкой замков. Нищета есть везде. Но такую нищету, за неисходною работою, вы увидите, пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь городского нищего, протягивающего на уликах руку, да это рай в сравнении с этою *рабочею* жизнью!..

(В. Г. Короленко—„Павловские очерки“).

## ПРИДАВЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ МАССЫ.

... Помню, я стоял за тисками, когда позади меня раздался отчаянный нечеловеческий крик. Я быстро оглянулся—и сам чуть было не вскрикнул. В трех шагах от меня лежал бородатый крупный человек и корчился от боли. От небольшого остатка руки горячим фонтаном била кровь. Кровь этого человека сочилась также с зубцов остановившейся машины. Под станком лежала оторванная рука, с мертвой, посиневшей кистью.

У нас в памяти жил еще образ сгоревшего литейщика, и нервы у всех были натянуты. И когда в мастерской раздался крик рабочего, люди в безумном смятении бросились вон из мастерской. У места катастрофы собралось начальство: мастер и все старшие.

— Сам виноват: смотреть надо. На то и глаза даны...—торопливо проговорил мастер, не зная еще, в чем дело и как все это случилось.

— Он подавал мне резец,—рассказывал токарь,—протянул руку... А вот как его рука попала в зубцы станка, и не заметил. Должно-быть, блузу захватило.

— Вот я же и говорю: сам виноват. Все они, эти серые черти, неосторожны. Эй, вы, ребята, снесите-ка его в лазарет. Я дам знать фельдшеру,—добавил мастер.

Пострадавшего подняли и вынесли из мастерской. Крики и стоны прекратились, а на том месте, где упал чернорабочий, стояла неподвижная лужа крови.

Кто-то нагнулся, полез под станок и вытащил оторванную руку, на которой висели ключья синей блузы. На лице того, кто это сделал, был написан ужас и отвращение. И когда он унесл руку из мастерской его пошатывало.

— Сам виноват... Глаза даны для того, чтобы смотреть ими,—чуть ли не в десятый раз повторял мастер, у которого, новидному, совесть была не на месте.

— Нет-с, извините, он не виноват,—вдруг неожиданно проговорил Арсений Глыбов, и карие глаза его сверкнули, как молнии.

Мастер от удивления отступил даже шаг назад и уставился рыбими глазами на Глыбова. Он был до того поражен неслыханной дерзостью, что в первое мгновение не нашел, что сказать. В те времена рабочие еще не разговаривали и безропотно переносили все обиды и невзгоды жизни.

— А кто же, по-твоему, виноват?—с трудом выговаривая слова, спросил мастер.

Видно было, как мастера душила злоба и как постепенно багровел его жирный короткий затылок.

— Виноват завод,—отчеканил Глыбов и медленно прошелся глазами по круглому, одутловатому, лицу мастера.

— Почему завод?—почти шопотом спросил Матвей Иванович и сделал шаг вперед.

— Потому завод виноват, что футляров нет перед машинами. Завод человеческую жизнь ни во что ставит. Сегодня вы сожрали двух человек и ни одним не подавились. Так будьте же трижды прокляты!

Я не узнал Глыбова: он весь преобразился. Высокий, стройный, с высоко поднятой пилой в руке, он говорил громким, звучным голосом.

— Вы—рабовладельцы! У вас заглохла совесть и жалость. Мы, рабочие, создаем вам вашу сытую жизнь, мы обогащаем вас, мы куем своими руками счастье и радость, которые вы целиком вырываете у нас, а нам оставляете одно горе, нужду и увечье. Но погодите, придет день и...

— Довольно!—изо всей силы гаркнул мастер.—Довольно, смутьян!.. Я покажу тебе, рыжему чорту... Марш в контору за расчетом!.. Сдавай инструменты.

Мастер топал ногами, ругался скверными словами, и лицо его налилось кровью. Я был уверен, что с этим маленьким толстяком случится припадок.

Через полчаса Глыбова не стало на заводе. Из девятисот человек нашей мастерской никто звука не проронил по поводу случившегося. Рабский страх сковал уста, и все безмолвовали...

(А. И. Свирский—„Записки рабочего“).

1-е МАЯ 1891 года.

(Речь рабочего Богданова на первой маевке в Петербурге).

Товарищи! Сегодняшний день должен неизгладимо остаться у каждого в памяти. Только сегодня, в первый раз, нам пришлось собраться со всех концов Петербурга на это скромное собрание и в первый раз слышать от товарищей рабочих горячее слово, призывающее на борьбу с нашими сильными политическими и экономическими врагами. Да, товарищи! Видя такого врага и не зная, в чем его сила, видя свою небольшую горсть людей, которые берут на себя эту борьбу, некоторые из нас не могут надеяться на успех нашей победы: они в отчаянии и трусости покидают наши ряды. Нет, товарищи! Мы твердо должны надеяться на нашу победу. Нам стоит только вооружить себя сильным оружием,—а это оружие есть знание исторических законов развития человечества,—нам стоит только этим вооружить себя, тогда мы всюду победим врага. Никакие его притеснения и высылки на родину, заточение нас в тюрьмы и даже высылки в Сибирь не отнимут от нас этого оружия. Мы всюду найдем поле победы, всюду будем передавать свое знание...

В этом залог нашего успеха!

Да, товарищи! Нам часто приходится читать или даже слышать о манифестациях рабочих на Западе, которые громадными и стройными колоннами движутся по городам и наводят страх на своих эксплуататоров; но стоит нам присмотреться к истории развития этой стройной массы, и тогда нам ясно станет, что эта масса произошла от такой же небольшой группы людей, как и мы. Взглянем, хотя бегло, на историческое развитие социал-демократической партии в Германии, этой самой сильной и стройной организации на Западе. Она тоже произошла от небольшой кучки людей, сгруппировавшихся в одной производительной местности, как наш Петербург. Эти рабочие первые сознали свои человеческие права и стали передавать свои убеждения другим рабочим, за что и стали преследоваться и высылаться правительством по провинциям. Но даже это распоряжение послужило на пользу рабочим. Эти рабочие нашли себе товарищей и, организовавшись все вместе, составили один нераздельный союз. Чего же нам, русским рабочим, отчаиваться, бежать от этих борющихся товарищей, которые идут за такое великое дело, как дело народного освобождения? Смотри на все исторические факты, которые нас смело заставляют надеяться на победу, мы должны также думать и о нашем русском народе. Он до тех пор будет нести взваленные на него тяжести, пока не сознает за собою человеческих прав и не сознает, что он-то, рабочий, должен иметь больше всех право пользоваться всеми богатствами, производимыми его трудом. Наш рабочий должен также знать, что труд есть двигатель всего человеческого прогресса, что он—создатель всей науки, искусства и изобретений. Липь только народ все это узнает, его тогда никакая армия не может удержать от самоосвобождения, а нести такое сознание в народ есть прямое, неотъемлемое право всех развитых рабочих. Это показала нам борьба нашей интеллигенции 70—80 годов. Взгляните, товарищи, на эту борьбу с исторической точки зрения, как и эти друзья и борцы народа несли в народ все свое знание и, нередко жертвуя даже жизнью, оправдали себя перед историей и не остались в долгу у народа. Они всюду откликались на народный стон и давали руки для помощи, но народ не признал в них друзей и смотрел на них с недоверчивостью. Так понесем же теперь мы товарищи, свое скромное знание в народ: но сумеем ли мы передать его народу и поймет ли он теперь нас, потому что мы ближе стоим к нему, как интеллигенция? Только жаль одного, товарищи, что у нас нет ниоткуда помощи, как прежним рабочим, исключая небольшой кучки людей, которым мы всегда отдадим сердечное спасибо. Нынешняя молодежь не слышит народного стона и не видит народного горя—она и не думает о народе. Эта молодежь не что иное, как паразитический элемент общества: они способны только истреблять продукты общественного труда, а и не думают платить за эти труды народу <sup>1</sup>.

(С. Валк.—„Материалы к истории первого мая в России“).

<sup>1</sup> „1891 г. был первым годом, когда организованные рабочие кружки отпраздновали первое мая. Форма этого празднования характерна для России

## ПЕРВОЕ МАЯ.

(Прочтено в тюрьме, в общей камере).

Братья-товарищи! Праздник весны, Светлый наш праздник свободы Празднуем здесь, и веселья полны Эти тюремные своды!	С гнетом-бесправием наша борьба Кровью не раз отмечалась. Наших героев-страдальцев судьба Всем нам примером осталась.
Братья-товарищи! В этих стенах Мы поневоле собрались,— Только бессилен над нами наш враг...	Братья-товарищи! Каждый из нас Пусть в этот час вспоминает Всех, в ком огонь боевой не погас, Всех, кто за правду страдает, Всех, кто в бесстрашной и славной борьбе
Братья на воле остались! И, что ни год, все растет наша рать,	С пламенем мщенья в груди, Не поддаваясь жестокой судьбе, Волю прозрел впереди!
Крепнут и множатся силы... Сладко за правое дело стоять, Знамя нести до могилы!	Душно нам, душно в тюремных стенах,
Братья, вот знамя святое труда, Красное знамя свободы!	Хочется радостной доли!
Близок уж час долгожданный, когда Встанут под ним все народы!	Пусть эти стены разрушатся в прах: Воли нам! Воли нам! Воли!..

(Из сборн. „Перед рассветом“, составл.  
В. М. Бонч-Бруевич—Величкиной).

## БОЙ ЗА ПРАВДУ.

Фабричный народ пред'являл фабричной администрации, что расценки мал на пуд или на кусок материи.

Фабричная администрация не приняла рабочих слов и делала по-своему. Тогда фабричный народ задумал сделать стачку.

В это время появились печатные листки. Фабричный народ читал листки 13-го декабря, в 12 часов ночи, а 14-го декабря была устроена стачка.

В это время приезжал инспектор и требовал с рабочих жалобы. А фабричная администрация в это время в главной конторе сняла рабочих фотографической машиной.

На 15-е декабря рабочие увидели гибель братьев. Тогда рабочие пред'явили писарю, который служил в доме фабриканта, чтобы не пускать

1891—1895 гг. и находится в прямой зависимости от состояния тогдашнего рабочего движения... Пока рабочее движение находится в периоде кружкового состояния, не агитация, а пропаганда является задачей дня... Поэтому именно празднование, которое было устроено организованными рабочими, вылилось в форму привычного кружкового собрания... и озаменовано было привычным же орудием кружкового общения—речью...“ (С. Валк „Материалы к истории 1-го мая в России“). На праздновании были произнесены четыре речи, все ораторы были рабочие.

полицию по ночам, на то день даден, чтобы ходить забирать; писарь не обратил на слова рабочих внимания.

Полиция каждый день убавляла рабочих. Тогда рабочие захотели открыть кровавый бой. На 17-е декабря в коридоре была полная партия русского народа; некоторые народы играли в карты, и у каждого человека было полено в руках или больше. В 11<sup>1/2</sup> часов ночи залаяла собака, которая была у двери входа. В это время рабочие были готовы приняться за бой, вдруг на пороге входа появилась полиция. Рабочие бросились на полицию, и полиция была разбита. Тогда сам пристав потребовал еще больше войска, конного.

Пристава приказ был исполнен, и приблизилось войска 310 человек, конных городских и жандармов.

В это время некоторые рабочие видали, что каждому городовому и жандарму было принесено водки для разгара сердца; откуда водку представляли, это неизвестно.

В это время открылся бой настоящий. Рабочие бросали в полицию ведрами, бочками, чашками, дровами и даже фабрикантовыми часами.

В эту несчастную войну, я знаю, много малых детей пострадало, потому что война была полных 4 часа, а в это время был очень большой шум и крик, потому что у русского народа не было командира, а также и городовые были все пьяные. От такого шума и крику малютки-дети испугались и кричали дурным голосом.

Каких-нибудь минут 15—тогда бы полиция сдалась в плен рабочим.

В это время рабочие видят, что нечем бросаться, а неприятель уже в 4-м этаже. Пришел неприятель уже в 5-й этаж.

Когда полиция вошла в 5-й этаж, в 5-м этаже была большая масса народа; в это время один городской ударил женщину опасную, и женщина через два дня выбросила малого мертвого ребенка, а полицмейстер кричал: „Я вас вышлю в Сибирь, а детей на отбросную яму выброшу“, а пристав кричал: „Все по местам!“ Рабочие видят—дело неустойка, и побежали кто куда, кто в квартиру убежал, а несколько человек ушли на чердак, а один человек ушел на крышу дома.

Пристав дал полиции приказ, чтобы у каждой квартиры было 15 человек городских. Приказ пристава был исполнен, некоторые городовые вытащили пашки наголо и рубали пашками лари; в ларях находились рабочего разные припасы: водка, мясо, сыр и т. п. Городовые водку пили, а мясом закусывали.

В 4<sup>1/2</sup> часа пошла кровавая переборка русскому народу. Пристав ходил по квартирам с писарем; еще было с приставом несколько сыщиков.

Когда выводили арестованного человека на волю, то на воле стояло два ряда городских, по обеим сторонам по двадцать городских; это происшествие называется „сквозь строем“. Городовые пихали рабочего сквозь строй, и рабочего секли плетью, после чего рабочий видал на своем теле раны, хоть не очень большие.

Пристав обходил все квартиры, а на чердаке еще не был. Идет пристав на чердак и видит там людей, эти люди были взяты в плен, также и с крыши дома был человек спущен и взят в плен.

Теперь пристав собрал вольных дворников в свидетели. Дворники с радостью шли в свидетели, а сами дела не видели.

Теперь русского народа взято в плен 50 человек слишком. Забранные люди были замечены сыщиком или писарем, а больше всего простым русским человеком, т.-е. русский человек не замечал ни в чем, а выдавал по осердке или чтобы защитить сам себя.

Кровавая битва кончилась в 12 часов пополудни. 17-го числа, в 9 часов утра, были пленники посажены на дилижаны и отправлены в Рождественскую часть.

Прибавлю, что я вам не все пред'явил притеснения министрации и также фабричных подмастерьев. Фабричная министрация очень притесняет рабочих совсем ни за что, так что за какие-нибудь безделушки дают рабочему расчет, не отработавши двух недель; еще фабричная министрация дала волю подмастерьям, а подмастерье, что хочет, то и делает. Однажды одного человека, т.-е. рабочего, мастер уволил и дал пропуск за ворота, а подмастерье Лисицын увидал и взял от рабочего пропуск и разорвал, а рабочего послал работать на старое место. Мастер Карла Карлович своего лакея поставил в подмастерья, а лакей не знает, как держать ключ в руках, а всячески занимает две должности: лакея и подмастерья <sup>1</sup>.

(Тахтарев. — „Очерк петербургского рабочего движения 90-х годов“).

## БЕСПРАВИЕ РАБОЧЕГО.

Около меня сидит молодой рабочий, Ардашев. Он пришел на костылях. Правая нога парня отрезана до колена и обмотана белой, еще совершенно свежей марлей.

Три месяца назад Ардашев приехал впервые из деревни в город и сразу же поступил на электрический завод чернорабочим. В первый же день работы ему вместе с другими товарищами пришлось перетаскивать в мастерской на вальках чугуиную колонну, весившую около 500 пудов. Ее тащили за привязанные канаты. Команды никакой не было, дубинушки не пели, стоял шум, гам,—трудно было что-нибудь разобрать... Оказалось, что колонну неправильно подкатили: валик не попал в пролет дверей и зацепил за косяк. Кто-то крикнул: назад! Десятки рук схватились за колонну и дернули ее обратно. Ардашев ничего не расслышал и остановился около колонны. Валик накатился на его ногу! Ардашев упал. Пятисотпудовая колонна проехала по ноге, раздробила на ней кости!

— За 80 копеек ногу отдал,—говорит он дрожащим голосом,—один только день проработал, а ноги нет. Предлагали мне копать огород 60 коп.

<sup>1</sup> В 90-х годах стачечное движение начало принимать массовый характер. Борьба за улучшение экономических условий велась с упорством и ожесточением, часто выходя на улицу. — В статье „Б'й за правду“, напечатанной в газете „Рабочая Мысль“—рабочий, участник стачки на ф. брике Максвелля, дает характерную для этой эпохи картину расправы правительства со стачечниками.

тоже поденно давали, а на заводе 80 можно взять. Думаю: коня нам надо купить — на заводе скорее... За 20 копеек ногу свою я продал, пущай бы на огород не предлагали!.. Ходил сегодня на завод... „Ничего мы тебе не дадим, — отвечают, — ты команды не слышал — сам виноват, и перед нами ничем не заслужил — всего один день работал“... И как подумаю я, барин, что свою ногу я за 20 копеек продал, так мне тошно, холодно станет... Двадцать копеек!..

Седой старик в очках молча садится на стул и степенно лезет рукою в карман; он протягивает мне четвертушку исписанной бумаги и прозительно смотрит поверх очков.

И я читаю:

„Знаки повреждения Петра Иванова.

1886 года 11 октября. Придавлен пассажирским колесом к Центры безымянный палец имею Знак.

1888 года 20 февраля Ушиблен Глас Струшкой во время действия резала и отскочила.

1889 года 22 марта Грудь ушиб об Цупарт и правое плечо, соскочил ключ с гайки.

1890 года 17 декабря, Котили товарное колесо и накатили помяло Ступню и три пальца, чувствую ужасную боль.

1892 года 16 июня Билитень № 204. Получил грыжу от тяжелова под'ема и надорвался.

1892 года 7 августа, Получен Бандаж от Доктора г-на Яковлева.

1898 года 26 августа Лопнули зубья в Шестярне и отскочил зуб мне в бок, у доктора не явлено.

1898 года 30 сентября, с Голдарей в дыру наждачного точила упал медный кран весом 5 фунтов ударил в правое плечо имею боль у доктора не был Мастеру заявлено.

1898 года с 23 Декабря, имею Большую Хроническую кашель по сие время и большую Слабость Слепой глухой руки болит поясница порвана в ногах большая боль и голова кружения. Петр Иванов“.

— Двадцать лет служил в вагонных мастерских, — говорит старик, — теперь отставлен; неужели ничего нельзя?..

— Да, старик, знаков отличия много, словно под Шипкой побывал, а пенсии не заслужил!..

(В. Беренштам. — „За право“).

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

# Гнет капитала.—Пробуждение классового самосознания (900 г.г.).

### СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА.

Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом высоко торчащих в воздухе, законченных труб, город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушающий вечным, несмолкаемым грохотом. Четыре доменных печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ним возвышалось восемь кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха,—восемь огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи и т. д.

Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сповали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели вверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались в том хаосе, который представляла из себя местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича различных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая, тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман в воздухе.

Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда, толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам,

спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, топкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный, бесформенный гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщицких зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб покрывались то и дело глухими подземными взрывами, заставляющими дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный сложный и точный механизм. Тысячи людей: инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов собрались сюда из разных концов земли, чтобы, повинаясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса...

— Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что „дарь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий“. Что-то в этом роде... Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы...

При последних словах Боброва точно подбросило на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги.

— Пользы!?!—закричал он иступленно.—Вы мне говорите о пользе? В таком случае, уж если подводить итоги пользе и вреду, то позвольте, я вам приведу маленькую страничку из статистики.—И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры:—Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках... Пойдите, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видали на фабрике рабочих старше 40—45 лет? Я положительно не встречал. Иными словами это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю—в месяц, или, короче, шесть часов в день... Теперь слушайте дальше... У нас, при шести домнах, будет занято до 30.000 человек,—царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки 180.000 часов своей собственной жизни, то-есть семь с половиной тысяч дней, то-есть, наконец, сколько же это будет лет?

— Около двадцати лет,—подсказал после небольшого молчания доктор.

— Около двадцати лет в сутки!—закричал Бобров.—Двое суток работы пожирают целого человека. Чорт возьми! Вы помните из библии,

что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды пред теми цифрами, что я сейчас привел...

А. И. Куприн—„Молох“.

## П Р О Б У Д И Л И С Ь.

— Братцы, счастье наше в наших руках!.. Оглянитесь, сколько нас голодных... И все это—эксплоатация, и все это—народ... пролетарий... Ведь ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?..

Точно радостное похмелье разливалось по всему его щедрому телу, пробиваясь на бледных щеках непривычным румянцем. Все эти новые понятия, новые слова: „буржуазия“ вместо „хозяин“, „эксплоатация“ вместо „кровь нашу пьют“, „пролетарии всех стран, соединяйтесь“ вместо „ребята не выдавай“—ворвались в его серую, замкнутую жизнь, жизнь изо дня в день, которую он проводил, поджав ноги на катке, ворвались чем-то праздничным, ярким, сверкающим и огромным. И хотя эта серая, скучная жизнь все также серо, монотонно тянулась, над ней, как утреннее солнце, стояла, заслоняя жестокую, неумолимую действительность, каторжный труд, стояла радость ожидания огромного, всеобъемлющего счастья грядущего освобождения.

В молчании и неподвижной тишине слушали тяжело и трудно этого маленького человека с востреньким носом и тонким голосом... Кто-то кашлянул. Переглядывались, ожидая, что еще будет. Все свое тоненько и заунывно тянула лампочка.

С впалой грудью, с втянутыми щеками и длинными морщинами на лбу вышел слесарь. Он был не стар, а пальто и сапоги были стары, потерты и рыжи. Он постоял, расставив ноги, сутулый, шевеля черными от масла и железа пальцами, и вдруг густой, какого не ожидали от него, с хрипотой голос наполнил казарму:

— Все на свете меняется, одно, товарищи, не переменается—рабочий люд,—как был, так и есть гол, как сокол, ни кола, ни двора, один хребет да руки мозолистые.

— Правильно,—сдержанно и угрюмо отозвались голоса...

— Была прежде барщина, теперь барщины нету, ну, что ж, легче стало народу? Как не так! Все одно: гни спину по четырнадцати часов в сутки, да вилай хвостом...

— Куды-ы!.. Легче! Кабы не так... По миру идет народ...

— Край приходит, рази жизнь?.. Могила...

И в пустом, с холодными стенами помещении шевельнулось что-то живое, беспокойное, понятное и близкое всем.

— Так вот, братцы, речь о том, чтоб помочь рабочему люду.

— Кто ж ему поможет? Не хозяева ли да подрядчики?

— Помогут! Подставляй шею...

— Жмут они нас, аж сок из нас бегать...

— Ну попы, может?

— Тоже... им что! Отзвонил да с колокольной долой...

— Ну, так полиция, может?..

— Гляди, эта зараз поможет... Вот, брат второй месяц в больнице.

— Что?

— Да помогли... С подрядчиком зарезонился, не доплатил, вишь,— ну, в участок... Теперь ребра заращивают дохтора...

— Так вот, братцы, куда же деваться? На кого понадеяться?

— На гроб надейся, больше ничего.

— В могилу закопают, вот и покой... Тогда все хозяева добрые станут.

И, точно ветер тронул, закачалось, заговорило по верх леса, подержался над толпой говор укоризны и насмешек. Но и этот говор как бы говорил: знаем мы это... давно знаем.

— Э-эххх-выи!..—тяжелым комом кинул слесарь,—овечье стадо... козлы отпущения... Вас гни, вы кланяться будете, да благодарить...

— Не лайся... Что лаешься?..

— Сам из козлова царства...

— Да што, не правда, што ли?—выкрикнул, раздвув ноздри, блестя раскосыми глазами, мастеровой в сапогах дудкой и с вытянутой, как у зашипевшего гусака, шеей.—Вон у нас сорок ден стачка была... с голоду пухли... жена в ногах валяется: „брось“... У ребят голова не держится, вповалку лежат... руку бы свою вырвал, сварил... вот, а добились своего, а то—моги-пла!..

— Тебе хорошо... вишь сапоги—гармония... продашь—восемь целковых, месяц и сыт, а на нас лапти,—угрюмо протянул грязную, обвитую веревкой по онучам ногу шоссейный.

— Не украй... слава те, господи, не доводилось еще... Я, брат, их заработал... во, соком...

— Сто, ребята, помолчите...

— Товарищи, не об этом речь...

— Это все одно, как у нас в Панафидинке... Приходит единожды пономарь...

— Помолчите...

— Братцы... Ведь все мы пролетарии,—остро выделяясь из всех голосов, зазвенел тонкий голос,—все пролетарии...

— Я и говорю,—вдруг снова покрыл всех густой галос, и все голоса смолкли,—я и говорю: овца, когда с нее шкуру дерут, только мемекает, а мы—люди. Ежели будем по-овечьи, так и дети, и внуки, и правнуки наши...

Он с минутой молча оглядел всех. Все слушали и глядели на него.

— Матери вашей кила?..—вдруг неистово заорал слесарь,—да ведь понимать надо, за что стоять, чего нужно добиваться, в чем спасение рабочего люду... Бурдюги проклятые! Вот, как собаки, перли сюда по ночам... темь, того и гляди голову сломишь, а почему?.. Что ж нам о своих делах поговорить нельзя?.. Как воры... да ведь люди мы!.. А соберись, зараз за шиворот... Бедность заела, а нам нельзя собраться,

поговорить, обстроить свою судьбу... А от кого это все?.. Ну?... Понимаете вы... чего нужно рабочему люду?..

Тяжело злыми глазами обвел он всех, торопливо шевеля черными от масла и опилок пальцами. И среди выжидающего молчания раздался голос:

— Землицы бы...

В ту же секунды дрогнули самые стены.

— Земли... Земли!..

— Наделы нарезать...

— ...Потому земля...

— ...Кормилнца...

— ...Без нее, матушки...

— ...Куда мы без земли... бездомники...

— ...Семейство—его и не видишь, так и бродишь, как Каин по чужой стороне...

Красные, мгновенно вспотевшие лица, со сверкающими глазами, поминутно оборачивались друг к другу, гневно лоя не согласно мыслящих, тянулись руки, сжимались кулаки, дергали друг друга за плечи... Точно всплывая в водовороте, оторванно выделялось:

— Да ты трескаться будешь ее, землю-то?

— Панов покрываете...

— Голыми руками.

— Все одно и с землей сожрут...

— ...Она, матушка, все сделает, все произведет... Всем хорошо будет...

Среди разбившегося неровного гула голосов выросал хриплый голос слесаря. Он со злобой бросал ядовитые, язвительные слова, вставляя неписанные выражения.

— Задолбили... кабы можно, всю бы землю забрали, я-б и сам в первую голову... Да то-то вот, которые все земли дожидает, давно без порток ходят, а вот он земли не дожидает, вишь — сапоги гармонией... Потому гужом друг за дружку, а не как вы, как баранье стадо, куда вас гонят, туда и идете, все мордой в землю... Э-эхх, остолопинье!.. Вон Митрич десять годов из казармы не выходит, все землю дожидает, тут и сдохнет, и отец его сдох, пухлый с голоду, все дожидался... Кабы понимали, анафемы!..

Он ненавидел эту толпу, ненавидел острой, жадной ненавистью фанатика. Лет двенадцать скитался он из города в город, из мастерской в мастерскую, с завода на завод, перебиваясь и голодая с семьей и всегда пользуясь вниманием полиции. И каждый раз, когда, высланный, он снова пристраивался и попадал в рабочую толпу, его опять схватывала ненависть, едкая, жгучая ненависть к этому непроходимому, самопожирающему непониманию и темноте. И его агитация состояла в том, что он жгуче, отборно клеймил своих слушателей. Иногда подымался протест, но большей частью покорно сносили брань и уходили со сходки, унося конфузливо в душе зерно прсыпающегося сознания.

И теперь угрюмо и молча слушали этого лохматого черного человека, такого же закорюзлого, мозолистого, покрытого морщинами трудовой жизни, как и они сами. И если они не отказались от того, что было так же неизбежно и неуничтожимо для них, как жизнь и смерть, то впервые за всю жизнь в цельном, нетронutom, как гранит, представлении „землица“ что-то надтреснуло, тонкой, невидимой, недоступной глазу трещиной...

„Вставай“...

— ...„народ... роод... оод“...

— ...„бра-ат го-ло-од-ны-ый“...—дружно подхватили молодые голоса, и над все так же чуждо, сурово и равнодушно волнующейся равниной поплыло, теряясь умирающими отголосками:

— „...а-а-ат оооо-оодны-ы“...

— Товарищи, кабы да отсюда, да гаркнуть всему рабочему люду, да так, чтобы по всему миру слышать было: подымайся, ребята, будя спать!..

(А. Серафимович.—„Среди ночи“).

## „ВОСЕМЬ ЧАСОВ“.

(Из Бланчарда).

Братья, нет сил для терпенья! Мы слишком устали  
 Вечно бороться за жизнь—эту жизнь нищеты и печали!  
 Хочется воздуха, красного солнца, простора, душистых цветов...  
 Прямо и смело заявим: мы требуем—„восемь часов!“  
 Всюду—на фабриках, в шахтах, в толпах возглашайте народных:  
 „Восемь часов для труда, восемь—для сна, восемь—свободных!“  
 Наши волю, что пасутся, покончивши труд,  
 Птицы небесные, звери лесные счастливей живут.  
 О, если так... Для чего же душа в нас живая?  
 Сдвинемся, братья, сомкнемся! Всюду от края до края!  
 С бою возьмем нашу долю, сбросив покорность раба;  
 Знайте, цари и народы, что не страшна нам борьба!  
 Грянь же, наш клич боевой, и в полях и в собраньях народных:  
 „Восемь часов для труда, восемь—для сна, восемь—свободных!“

(П. Я.).

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### В годы первой русской революции (1905—1906 г.г.).

#### ЗУБАТОВЦИНА.

— А зачем этот союз?—спросил он, заинтересованный.

— Та кажу ж, щоб наша кровь меньше лилась—с чувством сказал Карпо.

Это было красноречиво, но не столь понятно, и поэтому Даров снова обратился к хохлу с вопросом:

— А что этот союз делает?

— Хозяевам, щоб им ни дна, ни покрывки, стачки об'являе.

Карпо об'яснил, что такое стачки. Дарову самому приходила мысль о стачке, но он считал ее беспцельной. Он и теперь был того мнения.

— Ведь на место одного станет другой,—хозяину от этого что; по моему, самое лучшее бить их, проклятых,—сказал он.

— Ну, за битье и нас побьют,—проговорил Карпо,—у богатых на то есть казаки и солдаты.

— Да тюрьмы,—добавил Даров,—ведь начальство всегда на стороне хозяев.

— Було колысь, та не тэперь,—с удовольствием сказал Карпо,—от самого царя приказ для начальства получився, ще в тим году: быть им на нашей стороны и не давать нас в обиду. И в виду такого дела один энерал устроив для работников суюз и сказав: ось вам суюз, тильки не бунтуйте против короны; теперь ми вси за вас, щоб вам було хорошо и нам гарно.

Даров плохо верил в силу союза, однако, захотел побывать на его собрании и ближе с ним познакомиться. Хохол обрадовался.

— Добре, добре, хлопец, завтра я тэбэ сведу, побачишь ты там, свит,—говорил он ласково...

...Председатель взял вступительное слово.

— Православные русские люди, Россия проснулась,—заявил он торжественно.—Пробудился от векового сна наш великий народ, почувствовал, что дальше так жить нельзя. Довольно ему жить в грязи, невежестве, темноте. На широкую, светлую дорогу вышел он, на дорогу, по которой давно уже идут соседние народы к светлой цели своих устремлений.

Все рабочие, широко раскрыв глаза, не дыша, слушали откровения популярного деятеля Лицемеровского союза, названного так по имени организатора союза, генерала Лицемерова.

Председатель говорил:

— И как только народ открыл глаза и захотел встать на ноги, к нему на помощь поспешил начальник, священник и образованный человек; и всякий из них, по мере своих сил и знаний, старался помочь и служить народу.

— Но не дремали враги народа, — размахивая руками, возвышал голос председатель, — не нравилось им просвещение народа (ведь рыбка ловится в мутной воде), и вот начали они возмущать еще темный народ против его учителей, против исконного его начальника, духовенства и даже против самого его императорского величества, самодержца всея России!..

Рабочие беспокойно задвигались на своих местах, а Даров удвоил внимание и напряг слух.

— Эти злодеи называются социал-демократами..

„Демократы!“ — в ужасе подумал Даров, — это те, которые антихристскую печать на теле имеют.

А председатель, страшно поблескивая глазами, вопил:

— Этим злодеям нужна революция, чтобы всю Россию затопить кровью. Чтобы казнить царя, распустить армию, и править миром!

„Наступают последние дни, — с жутью думал Даров, — скоро появится антихрист и будет творить чудеса“.

— Они созовут парламент и будут издеваться над церковью, над верой и над обычаями русского народа!

— Это ложь! — перебил оратора ясный голос.

Все головы повернулись назад.

— Это ложь, — повторил синеглазый юноша, почти мальчик, под самой иконою вскочивший на парту.

Страшно побледневший, председатель резко бросал:

— Что ложь?

— Ложь — ваша речь, — ответил мужественно юноша, — вы под своими вымыслами стараетесь похоронить правду. Вы клеветецете на тех людей, кто искренно желает народу добра.

— Это — демократ, это — враг царя, хватайте, держите его! — со злобой, с пеной у рта вдруг завыл председатель, кидаясь вперед.

Рабочие в помрачении рассудка, повскакали с своих парт, вытащили из угла мальчика и стали бить. Дамы попадали в обморок...

Шум поднялся невообразимый.

Толстый, с пушистыми усами пристав отдавал распоряжение:

— Обыскать, оружие отобрать, арестовать.

Выводимый из зала, мальчик, с окровавленной головой, несмотря на удары, со всех сторон сыпавшиеся на него, собрав силы, крикнул:

— Да здравствует социал-демократия, да здравствует рабочий класс!..

Его увели, но в зале еще стоял невозможный шум.

— Слово мне, слово мне! настойчиво кричал кто-то в толпе...

— Слово, дайте слово!—ге унимался кто-то в рядах.

— Братцы, успокойтесь и сядьте на свои места, тихим голосом попросил секретарь.

Порядок постепенно восстановился.

— Шариков, даю вам слово.

Поднялся рабочий с эспаньолкой.

— Говорите, Шариков.

— Господа, наши начальники и наставники и вы, рабочее сословие, к которому я принадлежу—скороговоркой засыпал Шариков, — все мы купно, воедино, должны бороться против этих окаянных демократов, которые никому покою не дают.

Шариков говорил, а Даров думал:

„Так вот какие демократы, совсем обыкновенные люди“.

Ужасный лик демократа померк, а на месте его Даров видел синеглазое лицо мальчика, крикнувшего „да здравствует рабочий класс“, и ему стало жаль избитого юношу и стыдно за своих, которые, как звери, бросились на одного.

— Эти демократы,—сыпал Шариков,—тайно печатают прокламации, где говорят: бога нету, царя не надо, а духовенство, попы там косматые—грабители есть. Потом они эти листочки по дворам подметывают, всем рабочим в карманы запихивают. Конечно, рабочий тут ни сном, ни духом, а однако начальство его в тюрьму сажает и в далекую Сибирь высылает. Нам ихние листки нужно рвать, они нам без пользы, нам нужно делать свое рабочее дело и в политику не вмешиваться. Потому паны дерутся, а у нас бока болят!

— Правильно,—подтвердили рабочие.

Господа улыбнулись нескладной фразе оратора.

Потом Шариков начал говорить о содержании петиции, которую следует послать министру внутренних дел, но тут секретарь перебил его:

— Обо все этом правление союза позаботится. Оно выработает на-днях программу экономического и правового улучшения жизни рабочих и пошлет ее в министерство.

— Ну, если так, так я кончил,—заявил Шариков, садясь.

После пошли жалобы рабочих на плохие расценки, на скверные санитарные и гигиенические условия на работе, на грубость администрации, и т. д. <sup>1</sup>.

(П. Безсалько.—„Бессознательным путем“).

<sup>1</sup> Под именем „Лицемеровского союза“ автор изображает один из союзов, организованных московским начальником охранного отделения—Зубатовым в 1901—04 г.г. в Москве и провинции, позже в Петербурге. Целью „зубатовщины“ было, с помощью фиктивной поддержки правительством стачечного движения,—парализовать влияние социал-демократии на рабочую массу. См. часть II-ую Хрестоматии.

## МАССОВОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.

Перед толпой, гудевшей, как пчелиный рой, стоял Золотко и пробовал что-то говорить. Его бесцеремонно обрывали и требовали директора. Заставили-таки уйти. А вскоре явился бледный и взволнованный директор.

— Чего вы хотите?—обратился он к рабочим.

Все молчали.

— Почему вы не работаете?—Что?

Молчали. Из передних рядов старались юркнуть назад.

Директор брезгливо пожал плечами и вдруг приказал:

— Ступайте-ка, господа, по местам.

Толпа дрогнула.

— Стой, товарищи!—крикнул Игнат.

— Держись, ребята! Держись!—подхватили сзади.

— Держись кум за кума!

И все загудело, задвигалось.

— Довольно терпеть! Отдавай, что заработал!

Директор пытался говорить, но голос его терялся в расходящихся волнах толпы. И только минуты через две-три, уловив момент затишья, он сказал с усталым раздражением:

— Я не могу говорить со всеми. Выберите кого-нибудь. Я так не могу.

Снова долгий, беспорядочный гул, и гладь черного озера покрылась кругами—воронками. А когда, наконец, шум поутих и на поверхности осталась лишь мелкая зыбь, перед директором стояли сконфуженные, сердито озирающиеся назад пять человек депутатов. Один из них обнажил голову, и ему сейчас же кто-то посоветовал:

— Ты еще штаны сними!

Загоготали. Потребовали переменить. Переменяли на старого Рохлю, который и начал, неловко разводя длинными, как жерди, руками и смотря в землю:

— Из-за полочки все, Федор Мосенч.

У меня, господа, нет с собой денег!—отрезал директор.

— Это не ответ!—отозвались в толпе. — Нам никто не верит в долг.

— И опять же эти книжки,—заговорил другой депутат.

— Вот-вот!—подхватили в толпе.—К чорту их!

— Да и книжки,—подхватил Рохля.—Работали без них, и ладно было.

Директор был возмущен. Видя, однако, как растет раздражение рабочих, он предложил депутатам:

— Господа, пойдемте ко мне в кабинет.

Те потянулись было за ним. Но в задних рядах толпы Асмоловский неожиданно зашел:

„Ах, как смешно в отдельном кабинете“...

Покатился отчаянный хохот, и депутаты в смущении остановились. Директор вышел из себя.

— Это—фиглярство! Безобразие! Я не позволю со мной так разговаривать!

— Фу-ты, ну-ты? — пробовал ущипнуть его Павел, но старики, на которых заметно действовало присутствие директора, запротестовали.

— Оставь! Зачем зря человека!

Директор же продолжал:

— Двадцать лет работает завод! Целых двадцать лет он кормит тысячу ваших семей. И за все за это вы платите черной неблагодарностью. Ну, скажите, господа: что вы будете делать, если я закрою завод?

Толпа затихла и слегка оттянула назад.

В это время Артем выпалил:

— А что с вами будет, господин директор, если мы не будем работать?

— Пра-вильно сказанул! — степенулись. — Ишь, благодетели! Как же!

Директор еще раз взял себя в руки и, как только мог, спокойно и убеждающе заговорил:

— Господа... послушайте... Ну, будем говорить так: у меня дом. Я хочу выкрасить его в белую или черную краску. Какое до этого дело квартиранту?

— Да какие же мы, чорт возьми, квартиранты, — возразил Артем, — когда вся жизнь, вся наша жизнь, проходит на этом заводе?!

— Что правда, то правда! — оживленно подхватили голоса. — Иди вперед! Слышишь? В депутаты! Жарь, Артем, по правде!

— Игната тоже? И Павла! Пускай молодой Рохля вместо старого! Требования были так настойчивы, что все трое вышли вперед и стали на место прежних депутатов. Рохля погрозил сыну пальцем и скрылся в толпе.

Новых депутатов директор встретил проницески.

— Ну-с, что же вы скажете, молодые люди!

Прятели переглянулись. Павел толкнул локтем Игната, и тот начал:

— Вы все говорите о ваших правах. А где же наши права?

— Какие? — улыбнулся директор.

— Да вот вы предлагаете нам работу, мы — свой труд. Вы даете капитал, а мы создаем товары, с которых вы получаете прибыль.

Дальше Игнат немного запнулся, но его выручил Артем.

— Значит, есть две стороны. Поэтому нужно заключать договоры!

— А вы только в свою пользу гнете! — резко кричал Павел.

Журба откинул на затылок картуз и весело рассмеялся.

— Вот это я понимаю! Га? Слышали?

Рабочие выражали живое одобрение. Но директор вдруг нахмурился, посмотрел зачем-то на часы и сердито произнес, не глядя на депутатов:

— Ну, это, знаете... длинная песня. Говорите короче, что вам угодно.

Тогда Игнат неожиданно вынул наскоро составленную им памятку и стал читать требования.

Директор вначале слушал с любопытством. Но по мере того, как выростала цепь требований, лицо его багровело все более и более, и вдруг он затопал ногами и закричал:

— Это бунт! Грабеж! Кто смеет вмешиваться в мои распоряжения! Марш по местам! Слышите? Казаков позову, жандармов! Завод закрою!

Толпа затихла. Отхлынули назад. Кое-кто пробирался к мастерским. В этот момент кто-то коротко крикнул:

-- Тю!

В миг вся масса затюкала, засвистала.

— Тю-тю. Тачку ему. Тачку. Го-го-го-го-о...

Словно плотину прорвало вдруг, и вода, долго сдерживавшаяся крепкими запорами, неудержимо хлынула на волю, ожила и в безумном весельи, бурля и брызжа, ринулась вперед...

После одной из массовок, только что пошла машина, Артем вышел на середину токарной и крикнул:

— Эй, вы! Слесаря, токаря! Гамузники, пьяницы!

Громко постучал по щиту соседнего станка и опять позвал.

Один за другим бросали рабочие начатую уже работу и, недоумевая, подходили к нему.

— Что случилось? В чем дело?

Когда вокруг него собралось человек сорок, он резким движением сбросил с себя блузу, стал снимать сорочку — она пристала к свежим ранам. Было страшно больно, однако, стиснув зубы, он сорвал и ее.

— Вот смотрите!

Глазам собравшихся представилось могучее, мускулистое тело, почти сплошь покрытое кроваво-синими полосами; во многих местах, где пристала сорочка, выступала яркая кровь и ползла вниз, будто кровавые слезы.

Пронесся изумленный ропот.

— Видели?—спросил Артем, вздрагивая от возбуждения.—Хорошо?— Эта наша рабочая программа! По всем пунктам!

— Да где это? За что? За что?

— Где?— Артем засмеялся.— Это на нашей православной родине! А за то, что мы хотим знать: кто мы такие и кто наши грабители? Поняли?.. Сдвинув брови, тяжелым и гневным взглядом обвел он толпу...

— Видели? Ну, а теперь можете расходиться.

И, уходя во двор с презрительной улыбкой, стал надевать рубашку.

— Братцы, что ж это такое?—воскликнул кто-то в толпе.

— Вот так про-кла-ма-ция,—протянул другой.

Старики расходились в угрюмом молчании, а молодежь собралась в „клубе“ и долго, до самого обеда, взливая свой бессильный пока гнев и делилась впечатлениями. А еще дольше стояли в глазах кровавые полосы прямого и близкого им Артема.

Один только старый Костычев не утерпел и язвительно процедил:

— Дочитались.

Игнат вслыхнул и едва не ударил его в лицо. Но удержался и только сказал, скорее с болью, нежели со злобой:

— Это вас, чертей старых, били, с правдой вашей гнилой!

...Наступила ночь. Тюрьма спала, и было удушливо тихо. Лампа скупо освещала два ряда коек, бросая на лица лежащих мертвые тени. Кто-то заговорил во сне, другой заскрежетал зубами. В коридоре смеялись надзиратели, и с минуты позвякали ключи. Новый прошел, попробовал замки.

Кто-то начал хрипеть, как в предсмертной агонии. Батько заворочался, койка под ним жалобно проскрипела. Сбросил одеяло и сел, тяжело отдуваясь.

— Ну-ну... жизнь!—забормотал про себя и тихо окликнул:

— Кузьма, а Кузьма? Это ты хрипишь?

Подошел к спящему и тронул за плечо.

— Того, братику... перевернись... перевернись на бочек...

Потом подошел, ступая на цыпочках, к койке Артема и наклонился.

— Ты не спишь?—спросил шопотом.

Артем не спал.

— Давай, голубчик, покурим. Так что-то... сумно...

Артем достал табак. Молча свернули по ножке и осторожно закурили. Сделав несколько затяжек, Батько глубоко вздохнул и тихим печальным бормотом заговорил:

— Так-то, голубок. Жил себе на свете коваль Рохля. И ковал себе Рохля тот шворни да крюки. А пришли до него гости в мундирах та ночью—царап! И—в острог. Тесперь, значит, Рохля уже не коваль. Эге, братику, теперь коваль „птыцею“ стал! Понял? Подстрекателем стал, сицилистом. И там вон лежат... сицилисты все та подстрекатели.

Помолчав, он добавил:

— Немного, признался, и раньше я знал, а теперь и того меньше.

Артем начал было говорить о грядущих днях бить, о дворцах будущего... Батько долго слушал его убежденный, страстный шопот, подперев свою большую голову; потом мягко дотронулся до руки Артема и сказал:

— Пускай... пускай будет так, как вы хотите. Но, мы старые... нам-то жить не в дворцах, а в старых хатах. А на них и крыши текут. Понял? Вот где, брат, история. Охо-хо... Ну, спи себе, спи...

Праздник, так страстно жданный, пришел.

На одной из главных площадей города стояли друг против друга, в напряженном ожидании, два отряда солдат. Они были вооружены, имели запасы боевых патронов. Их разделял молодой, снегом запушенный скверик, и каждую минуту могло начаться побоище. Тревожно настроенных солдат по эту сторону окружало кольцо людей чуть ли не всех возрастов и положений. Главная же масса была из рабочих. Многие в этом кольце были вооружены: двое или трое удачников пошевеливали

старыми саблями, там и сям попадались пикносоцы, некоторые старательно прятали под одеждой охотничьи ружья. Были здесь, несомненно, и браунинги и бульдога, при чем пули последних имели обыкновение не покидать дула; были, по слухам, даже маузеры; а кое-кто знал и то, что в дальнем конце сквера, там, где стояла артиллерия и пулеметы, расположилась группа самоотверженных гранатчиков. Но это были только слухи, а мало ли в эти дни было слухов.

Эта стойка длилась уже часа три. Ранним утром солдаты, с угрюмым нетерпением стоявшие по эту сторону, вышли с музыкой из казарм и направились в город. В городе их встретили другие солдаты,—и вот те и другие стали друг против друга.

— Вот, брат, загвоздка, — произнес Журба, обращаясь к Игнату, с которым он стоял в цепи.—Ужс и надоедает. То или се...

— И все-таки хорошо,—отозвался Игнат.—Право, хорошо. Ты только посмотри на наш сброд: с чем пришли? С одним лишь горячим сердцем. Но знаешь, как-то так... плакать даже хочется!

— А мне так даже не верится!

— Хорошо, брат, так жить!..

На крайнем конце цепи, с той стороны, где отряд демонстрирующих не был еще окружен, произошло заметное движение, раздались приветственные, заметно сдержанные возгласы.

— Ба! Наши пришли!—воскликнул Журба, взглянув туда через головы.—С пиками! Побей меня бог, с пиками! Это с Павлом пришли. Только и чудно-ж как-то выходит с этими пиками! Будто краснокожие, что ли. Еще бы танец какой индейский присочинить!..

Оттуда, откуда вышли рабочие с пиками, теперь вынырнула еще группа рабочих с небольшим оркестром и красивым, старательно расшитым красным знаменем. Уткнувшись прямо в вооруженных солдат, оркестр как-то конфузливо затих, только знамя осталось маячить.

На той стороне то появлялись, то снова скакали куда-то курьеры. Иногда движение становилось слишком заметным, и все настораживались. Где-то там, на задних улицах по ту сторону, раздалось беспорядочное ура. Волнение передалось и на эту сторону.

— Кажется, начинается, — произнес Игнат, слегка побледнев и осторожно вынимая из кобуры браунинг...

— А что, Игнатко, скоро нам ижицу пропшут?

— Вероятно скоро,—к тому идет...

В это время раздалась негромкая команда; солдаты взяли ружья „на плечо“ и двинулись в город, окруженные цепью своих союзников. На той стороне также брякнули ружья, взятые на руку. Там их было раз в пять больше, и жутко было итти под зловещим взором их маленьких черных точек. На штыках слабо и холодно играли лучи послеобеденного солнца.

Проходя мимо угрюмых пушек, оркестр зарокотал похоронный марш. В ту же минуту печально-торжественный мотив подхватила тысячная толпа, обнажились головы.

Еще минута напряженных ожиданий,—и колонна, обогнув угол, вышла из каменного кольца площади и влилась в широкую и светлую

улицу. Грудь вздохнула свободнее, точно кошмар исчез, и оркестр дружно грянул марсельезу. И вся толпа, как один человек, с бурной страстью и рвущимся от радостного под'ема голосом подхватила ее.

— Гнатко!—возкликнул Журба со слезами восторга,—та до чего же это хорошо!

Игнат ответил горячим пожатием руки.

— Запомни это, дружище. Завтра, быть-может, опять наступит ночь, но это,—он широким жестом показал вокруг,—это пусть живет в нас. В этом вся правда! Жизнь! Красота!..

События пошли вперед быстро. В Москве уже грохотали пушки, и не сегодня-завтра нужно было ждать наступления по всей линии. Ждали... Но все же никто из шпаловцев не предполагал, что сегодняшней митинг будет последним...

— Дело, братцы, такое, что нам супротив, значить, друг дружки никак нельзя. Это Игнат правильно. Ну, только что, скажу по совести, и нам обиды большая.

— Верно. Это ты в точку!—пронеслись голоса из задних рядов, где обычно теснились старики.

— Я того... правду буду говорить!—сказал Перегудов, оправляясь от смущения.—Конечно, был и наш грех. Думали, к примеру, по евангелию и прочее... Ну, только что правда вышла на вашей стороне,— у молодых-то глаза, стало-быть, вострее.

— Учились ведь.

— Ну-ну! И я ж про то. Ну, а только девятое число и прочее... одним словом, крышка!

— Осиротели, значит.

— Кругом. Без царя-батюшки.

— Именно. Вот я, братцы...

...Митинг разрастался. Забрела толпа молодцеватых матросов. Пришли рабочие соседнего завода. Но особый восторг вызвало появление, с красивым, расшитым шелком знаменем, группы работниц. Их приветствовали, как только могли. Подходила и городская публика. Игнат осмотрелся кругом.

Пара коренастых, промасленных козел, на них что-то в роде широкой двери, это—трибуна. На ней оратор тепло и просто рассказывает о двух борющихся мирах. Он избегает мелких деталей и спокойно и уверенно кладет один мазок за другим, отчего картина рисуется живо и ярко. С боков и над головой у него тихо колышутся знамена,—одно из них держит застенчивая девушка. Прямо вперед вся средняя широкая аллея огромной мастерской сплошь занята рабочими. Стоят они так густо, что видно лишь макушки голов, да ближе сюда—лица, старые и молодые, суровые и жизнерадостные, и все—жадно ловящие каждое слово, мучительно вдавливающие в память новые мысли, чтобы потом еще мучительнее поставить их на должное место в ряду других мыслей. С боков выселись, точно остовы огромных чудовищ, обнаженные котлы и части машин...

— Товарищ Игнат,—позвал его рабочий, дергая за пальто.—  
Во двор пришли солдаты!

--- Какие?—не понял Игнат.

--- Настоящие...

Быстро побежал во двор. Там стоял взвод солдат. Трубач играл последний сигнал. Несколько рабочих стояли вблизи и кричали что-то солдатам, но лица солдат были злы и странно бессмысленны. Они были пьяны

--- Сейчас будут стрелять,—подумал Игнат и невольно оглянулся, лица прикрытия. Слева был выступ стены, а в двух шагах справа—заброшенный старый котел...

Ружья на прицеле. Рабочие в недоумении и страхе отшатнулись. Один из них отбежал назад и, потрясая длинными руками, бросил солдатам!

— Палачи! В кого целитесь?

— Уйдите!—крикнул ему Игнат, толкая в плечо.

В это мгновение раздался трескучий залп. Пули клюнулись в котел, вонзились в стену и с визгом пронизали несколько стекол... Еще залп.

В ушах Игната стоял звенящий шум. В лицо дохнул холод, и, подняв руку ко лбу, он почувствовал холодную влажность. Прислушался к себе,—цел. Его потрясла животная радость. Цел!

Солдаты снова целились и, как ему показалось, прямо в него. Тогда он, не оглядываясь и шагая нарочито медленно, направился в здание.

Там все бурлило и двигалось. Бледные, с широкими от ужаса глазами, люди безумно бросились во все концы, боясь выйти в ворота. Вбегали по узким лестницам под самую крышу, бегали и прятались там по пыльным галереям, ударяясь о балки. Вбегали в контору и, не найдя защиты и выхода, с тихим воем, как волны, отраженные утесами, бросались назад и сталкивались с волнами, бегущими навстречу. Прятались под котлами, в грязных, мокрых каналах...

На спине одного котла стоял одинокий рабочий; торопливо вынимал зачем-то из кармана пули, где-то добытые, и бросал вниз; они ударялись о железные бока и падали в мятущихся людей, вызывая в них ужас.

Из канав слышались стоны...

... Минут пятнадцать тому назад была канонада. В главном корпусе завода, как раз над воротами, зияла огромная пробойна. В больших и многочисленных окнах не осталось почти ни одного не пронизанного пулями стекла.

Осажденным назначили срок. Ждали. Завод угрюмо и зловеще молчал. Над крышей все еще развевался красный флаг.

Вначале пальбы, движимые огромным чувством солидарности и гнева, рабочие ринулись было, безоружные, на площадь. И скоро отхлынули назад, потеряв десятки товарищей—убитых и раненых...

(Библик.—, К широкой дороге\*).

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

### Рост классового самосознания. От 1905-го— к 1917-му г.

#### СИЛЬНЕЕ СЛОВ.

Наждачное отделение в заводе было отгорожено от мастерской стеклянными стенами. Сухая наждачная и стальная пыль садилась на окна и сделала их матовыми. Ничего не было видно, что делалось там. Пожары искр быстро освещали стеклянную клетку, и по окнам пробегали тени не то людей, не то призраков. Непрерывный гул несся из клетки.

Работу на сухом наждаке выдерживали немногие. Уже через полгода люди казались полумертвыми. Они становились бледны, неразговорчивы. Человеческого и живого в них оставалась одна только злость. Самое большее через год уже все покидали работу. Собирали инструменты, бросали залпами в стеклянную будку проклятия, плевали и требовали расчета.

Удержался только один. Это старик. Кости его были геркулесовские, рост необычайно высокий, грудь широчайшая.

Когда-то он был лучшим борцом в городе, красавцем, казался даже баловнем жизни.

Теперь у него остались те же геркулесовские кости, но мускулы высохли, грудь вдавилась. Голова его начала сесть, но пыль с'ела седину, волосы стали серы, как пепел.

Начальник любил пробегать по мастерским перед гудком; он требовал, чтобы кончали работать минута в минуту, ровно в двенадцать.

Он как то забежал в наждачную клетку.

Отворил дверь... и окаменел.

Перед ним привидение: высокий силач, весь в сером—серая одежда, серая голова, зерое лицо, руки. На глазах черные очки.

Человек, привыкший к заводскому шуму, может сквозь железный грохот слышать легкий шелест двери: старик остановил работу, снял очки. Начальник увидел у него слезы.

— Вы плачете?

Старик помотал головой и показал на пыль.

— Ах, она едкая... проговорил начальник.

— Вы давно работаете?

Старик уже несколько лет ни с кем не говорил: работа приучила его молчать, сухая грудь отвечала кашлем на каждое слово старика.

— Тридцать пять...—процедил он.

Его голос показался начальнику страшен.

У него сразу мелькнула мысль: это один из тех, которые держатся на заводе для агитации. Они вербуют людей в союз, в партии, они говорят на собраниях. Такие люди могут потрясать миллионы своим загробным голосом.

— Скажите, вы в пятом году не выступали на митингах?

— Нет... оборвал старик.

— Вы не были депутатом?

— Голосу нет—прохрипел ответ.

Начальник терялся в догадках.

Закашлявшийся старик что-то произносил, но начальник не понимал.

— Вам бы надо на покой...—подходил к нему начальник.—Я буду хлопотать вам о пожизненной пенсии от завода.

Старик закачал головой.

Попытался говорить, но не мог.

Наконец, он преодолел тиски, сжимавшие ему грудь, и твердо сказал:

— Я—делегат.

— От кого?...—испуганно и удивленно спросил начальник.

— От тех—показал старик на землю.

— Это от кого же? От каких?

— Которые ушли...

— Куда?

— Туда...—показал старик вниз,—под ставки.

— В могилу?..

Трансмиссии вздрогнули, сбавили тон.

Заревел гудок.

Старик сбросил куртку.

Завод стал. Послышался крик, говор и смех выходящей толпы.

Старик, не откланиваясь с начальником, быстро вышел из клетки.

Тихо шел за ним начальник.

Старик прорезал толпу, он был выше ее на целую голову.

Сразу крик и смех отлетели.

Завод онемел. И по его сводам, как в могильном склепе, неся и бился кашель старика.

Он так гулко и глухо бухал, что капель казался самым совершенным словом, словом так, что ушли, что в могилах.

И на мгновение казалось, что завод остановился не по гудку, а колеса застыли от этого кашля.

Один, единый общий вздох в толпе. Вдохнул великан-завод, и наждачная пыль, проникая из клетки, тихо садится на голову толпы. Толпа движется, затихшая сразу, как будто потерявшая молодость. Шаги ее, замедленные и нервные, говорят о том, что в жизни иногда сам и обыкновенный выход превращается в процессию.

Старик на этот раз закашлялся так, как никогда.

Он стал задыхаться и, окруженный толпою, упал.  
И умер без агонии.

\* \* \*

Старика хоронили через два дня.

Стали все заводы нашего „Черного предместья“. Не работали и на промыслах.

Тихо, только для поддержания огня, горели кочегарки. Заводские трубы ровно дымилась и стояли на фоне неба, как потушенные свечи в храме капитала. Вышки, немые и черные, казались траурными великанами, склонившими головы.

Рабочая толпа шла без песен и молитв, как приговоренная к молчанию.

Ни слов, ни речей не было сказано.

Не было ни одного венка; все знали, что наждачная пыль, которую унес в своей груди старик, что эта пыль завтра пройдет сквозь могилу, загубит венки, и сердце толпы еще раз будет поругано.

На могилу положили тот самый наждачный камень, на котором работал покойный: это была его последняя воля.

На камне алмазом вырезали надпись:

„Агитатору Черного предместья, не знавшему слов“.

(Алексей Гастев.— „Поэзия рабочего удара“).

## ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ.

Главными действующими силами в разыгравшейся в сибирской тайге весной 1912 г. трагедии было Ленское золотопромышленное т-во, рабочие и царское самодержавие...

Программа, которую поставило себе Ленское т-во по отношению к рабочим, была выражена в колоритном заявлении г-на Белозерова. Вступая в обязанности главноуправляющего приисками, он буквально заявил рабочим следующее: „Я заставлю работать всех так, что у меня от коней останутся хвост да грива, а от людей нос да глаза“. И эту программу Ленское т-во проводило неуклонно в жизнь, поставив рабочих в конце концов в нечеловеческие условия...

Работа в шахтах Ленского т-ва производилась на глубине от 18 до 36 сажен под землей. Шахты разрезаны штольнями, вдоль которых идут забои. В каждом забое работают четыре человека, на обязанности которых лежат: во 1-х, выработать обязательный урок, во 2-х, отвезти его на тачках к зумпфу (так называется устье шахты) и, в 3-х, погрузить его в бадью, которая подается наверх. Поднятый наверх песок или отвозится на промывательную машину, или свозится на особые отвалы... Этот каторжный труд происходит в вечной мерзлоте. Эту мерзлоту приходится оттаивать так называемыми пожогами, которые зажигают на ночь в шахтах. Эта работа почти всегда сопровождается страшными угарами. Иногда угары достигают такой степени, что рабочие замертво падают в шахтах... Иногда работу приходится вести в мокрых шахтах, с сильным

притоком воды, который „хлещет, по выражению рабочих, как из ведра, с потолка и стен“. Ленское т-во, вопреки горному уставу, или не выдавало совсем непромокаемой одежды, или выдавало ее в таком потрепанном виде, что через четверть часа рабочий становился совершенно мокрым... При шахтах у Ленского т-ва не было ни раздевален, ни сушилок. Проработав 11 часов, рабочие, промокшие до костей, должны были возвращаться домой при 40° мороза. Вы можете себе представить, в каком виде они приходили домой, пройдя нередко 1½—3 версты... Тяжесть работы осложнялась плохим освещением и скверными лестницами-стремлянками, которые вели в шахту. Насколько скверны были технические условия труда, можно судить по красноречивым цифрам несчастных случаев с рабочими в шахтах. Так, на Ленских приисках на каждую тысячу рабочих приходилось 164,6 увечий!..

Этому тяжелому труду в адских условиях рабочий на Ленских приисках должен был отдавать, согласно договора о найме, 11 часов в день осенью и зимою... и 11½ час. весной и летом... Рабочий на Ленских приисках не знал почти совсем праздничных дней. Работая круглый год, он не имел права отказываться от праздничных и сверхурочных работ, за которые его немилосердно обсчитывали...

После 11 или 11 с половиной часов работы в вышеописанных условиях рабочий шел отдыхать. Куда?—в свои казармы. О!.. Если бы вы видели эти казармы, у вас сердце закипело бы и зубы заскрежетали бы злобою. Когда пишущий эти строки увидел и обошел казармы, он сделал такое заявление своим коллегам по расследованию Ленских событий: „Товарищи, нам здесь делать нечего, нам остается одно—посоветовать рабочим поджечь эти прогнившие вонючие здания и бежать из этого ада куда глаза глядят“...

Уже внешний вид казарм говорил против них: стены покривились и поддерживались подпорами, в стенах и крышах щели, вместо вентиляторов дыры, заткнутые тряпьем. Стекла разбиты. Встречались казармы, одна половина которых была отведена под конюшню для лошадей, другая—под жилье для рабочих. В этих казармах пол часто бывал ниже наружной почвы, вследствие чего весной и летом в казармы протекал жидкий навоз. Внутренний вид казармы таков: вдоль казармы шел коридор, в середине которого помещалась железная печка. Эта железная печка с тянущимися по всей казарме железными трубами была центром казарменной жизни рабочих. На ней варились обеды и ужины, около нее грелись продрогшие рабочие, над ней сушилось мокрое платье, обувь и ошуби. Грязь с последних капала густыми и обильными каплями в готовившуюся тут же пищу. От печи поднимались густые испарения, которые, соединяясь с испарениями тела, отравляли атмосферу. Вдоль наружных стен шли каморки для рабочих. Каморки отгораживались одна от другой досками или горбылями, или просто ситцем... Полы были все в щелях. С потолка сыпалась земля, во избежание чего рабочие подвешивали к потолкам свое платье.

Летом в казармах стояла невероятная духота, зимою невыносимый холод. Рассказывали, что зимою по ночам волосы рабочих иногда примерзали к наружным стенам... Для семейных полагались нары такой

величины: 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2 аршина в ширину и 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3 арш. в длину. В такой семейной наре иногда жило 5—6 человек, муж, жена и дети и обязательно один холостой рабочий... На одной койке спал холостой, на другой—вся семья. Тут же висели люльки для грудных детей...

Получая низкую заработную плату, работая 11 и 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов в день в каторжных условиях, прескверно питаясь и живя в сверх-антигигиенических условиях, рабочий на Ленских приисках имело одно „удовольствие“—посылать свою жену к служащим из приисковой администрации „для мытья полов“. Таким своеобразным выражением на Ленских приисках называлась обязанность женщин удовлетворять похоть приисковой администрации... Рабочие обязывались посылать своих жен и детей на работу по требованию приисковой администрации. Этим противозаконным правом приисковая администрация широко пользовалась для своих гнусных целей... И женщина шла. Она не могла не идти, ибо, если не пойдет—мужа рассчитают...

3-го марта рабочая масса Ленских приисков вступила в борьбу с Лензото. За что? Во имя каких целей? Ответ на этот вопрос дают те 16—18 требований, которые были выработаны и предъявлены от имени рабочих промышленному управлению 3-го марта. Если обратиться к разбору этих требований, то окажется, что из 18 требований 15—16 были направлены на то, чтобы заставить Ленское т-во исполнять правила, установленные горным уставом и обязательными постановлениями. Эти требования касались доставления рабочим доброкачественных съестных припасов, нормальных жилищных условий, правильного подсчета сдельной работы, выдачи заработной платы деньгами, а не талонами, достаточной медицинской помощи, праздничного отдыха и т. д. И только три требования были требованиями в собственном смысле этого слова. Одно из них касалось повышения заработной платы... Другое—введения восьмичасового рабочего дня. И третье—увольнения тех служащих, поведение которых лишало рабочих возможности спокойно работать и вынудило к забастовке. К этим требованиям была прибавлена, по предложению одного из выборных,—гарантия представителей рабочих от преследования их приисковой и общей администрацией...

Желая ускорить ликвидацию забастовки, правление Ленского т-ва предложило своему юрисконсульту... предъявить к рабочим иски о выселении из казарм и приисков, а промышленному управлению—прекратить отпуск пищевых продуктов. Другими словами, правление решило выгнать среди зимы несколько тысяч рабочих с их женами и детьми на мороз, без всякого довольствия, при полной невозможности выехать куда-либо до открытия навигации...

Было решено арестовать выборных и начать против них преследование...

Для большего устрашения, казармы были окружены солдатами... Арест мирных людей при такой обстановке произвел гнетущее впечатление на рабочих... К утру весть об аресте распространилась по всем приискам...

Настал страшный день 4-го апреля.

Утром этого дня рабочие Андреевского прииска отправились к инженеру Тульчинскому, чтобы выяснить, за что и по чьему распоряжению были арестованы выборные... Тульчинский об'яснил прибывшим рабочим, что арест выборных, по словам г. Трещенкова, был произведен за участие в стачечном комитете. Сказав это, Тульчинский добавил, что освобождение выборных зависит от судебных властей, которые находятся на Надеждинском приiske...

Рабочие Андреевского прииска, уйдя от окружного инженера Тульчинского, решили пойти на Надеждинский прииск. По дороге к ним примкнули рабочие Васильевского, Утесистого и Пророко-Ильинского приисков. Пройдя 16 верст, они дошли до Александровского, где к ним примкнули и александровцы. Все эти рабочие, в числе 2.000—3.000 человек, шли с тем, чтобы... просить об увеличении пайка семейным и об освобождении арестованных...

„Все шли с простою душою“. „Открытые сердца были у них“. „Пошли, как в церковь“. „Шли, словно к причастию; нарядились“... „Пошли потому, что дети голодали“. „Пошли просить об освобождении выборных“. „Все шли спокойно“... „Впереди шли выборные, за выборными семейные, за семейными все остальные“. „Шли, растянувшись узкою лентою от одной до двух верст по два по три человека“...

Шедшую толпу на всем протяжении дороги видели урядники и стражники, которые обо всем доносили Трещенкову. Как этот человек реагировал на пествице? Он неизменно отвечал всем, доносившим ему в разное время, лицам одно и то же: „пусть идут“. И рабочие шли. Они приближались к Надеждинскому прииску. И когда до Народного Дома оставалось от 120 до 250 сажень, тогда Трещенков поехал в Народный Дом, где были сосредоточены солдаты. Там он обратился к солдатам следующими словами: „Торопитесь, вас хотят обезоружить“. Такими словами он хотел возбудить солдат против рабочих. И, конечно, он достиг своей цели. Ему поверили. Перед 110 солдатами предстала грозная опасность со стороны тысяч рабочих...

Был сыгран сигнал „сбор“.

Солдаты, построены в две шеренги, вытянулись цепью, поперек дороги.. Толпа остановилась. Передние ряды окружили Тульчинского и подали ему заявление. Тульчинский начал читать. Рабочие теснились около него. Часть села на штабеля бревен, часть на пзгородь... Начали курить

Но вот Трещенков сделал знак руками, как дирижер, и неожиданно раздался залп.

За залпом последовала стрельба пачками. Послышались крики, стоны. Потеряв самообладание, солдаты продолжали стрелять по бежавшим и лежавшим рабочим... Кончилось.

Стали собирать и увозить убитых и раненых. Один из урядников стоял около подвод, считал и записывал, сколько положено на каждую подводу мертвых тел.

Убитые и раненые были увезены.

На месте остались победители...

Рабочие телеграфировали членам Государственной Думы: „Мы мирно ждали полного расчета, обратились к иркутской адвокатуре за законной защитой. В конце марта были присланы солдаты и жандармский ротмистр Трещенков с полномочиями начальника полиции. Наши выборные пытались переговорить с ротмистром о наших нуждах, последний затопал ногами и с площадной бранью выгнал. Третьего апреля наши выборные арестованы и препровождены в Бодайбинскую тюрьму. Считая арест незаконным, мы 4 апреля направились на Надеждинский прииск, к окружному инженеру Тульчинскому и ротмистру, с просьбой освободить арестованных. Во время переговоров с Тульчинским раздалась команда „пли“—270 убитых и 250 раненых. Тульчинский уцелел чудом. Раненые умирают. После первого залпа толпа полегла, стреляли в лежащих и убежавших... Повторяем, никаких насильств мы себе не позволяли целый месяц. Вопли отчаяния вдов и сирот. Окружающее население в паническом ужасе, мирные рабочие терроризованы, краю грозит разгром, немедленно внесите спешный запрос правительству...“

... Расстрел 4-го апреля совершенно заслонил собою весь тот ужас, который был на приисках до этого времени. Если ранее рабочие искали виновника ужасных условий труда, то теперь они стали искать и виновника пролитой крови...

(Тючевский—„К истории забастовки и расстрела рабочих на Ленских приисках“).

## Л Е Н А.

4 апреля 1912 года.

(Ленский расстрел рабочих).

Жена кормильца-мужа ждет,  
Прижав к груди малюток-деток.  
— Не жди, не жди, он не придет:  
Удар предательский был меток.

Семья друзей вокруг них лежит,—  
Зловещий холм на поле талом!  
И кровь горячая бежит  
Из тяжких ран потоком алым.

Он пал, но пал он не один,  
Со скорбным, помертвелым взглядом,  
Твой старший, твой любимый сын  
Упал с отцом, убитым рядом.

А солнце вешнее блестит!  
Иль бог злодейства не осудит?  
О, братья! Проклят, проклят будет,  
Кто этот страшный день забудет,  
Кто эту кровь врагу простит!

(6 апр. 1912 г.)

(Демьян Бедный.—„Песни прошлого“).

## НАКАНУНЕ 1917 ГОДА.

Атмосфера весной 1914 года в фабрично-заводских районах была напряжена до крайности. Все конфликты, от малого до великого, независимо от их происхождения, вызвали стачки протеста, демонстративные окончания работ за час до конца работ и т. п. Политические ми-

тинги, схватки с полицией были явлениями обыденными... Четвертого июля по городу среди рабочих распространился слух, что на Путиловском заводе совершилось зверское нападение полиции на рабочих, в результате коего было несколько рабочих убито. Возмущение рабочих было очень глубокое, и было ясно, что разгоряченная атмосфера приведет к кровавой битве. Кое-где работы в тот день были закончены, в виде протеста, ранее обычного.

Утром пятого пришли на работу в обычный час, но уже спустя полчаса стали поступать сведения об остановке то той, то другой фабрики. К работам не приступали... На Б. Сампсониевский проспект со всех сторон стекались группы рабочих, образуя более чем десяти тысячную толпу демонстрантов. В воздухе загревели революционные песни, засверкали красные ленты и платки. Полиция была смята и заперлась в своем участке. Выступали ораторы с призывами к вооруженной борьбе за свержение царизма. Трамваи на Выборгской стороне были остановлены и в течение более часа ряды рабочих с революционными песнями двигались по улицам. На помощь полиции были присланы казаки, которые с гиканьем, держа ружья на изготовке, врываются в толпы рабочих, избивали своими нагайками, стреляли по незакрытым окнам рабочих квартир. Рабочие группами рассыпались по всему району, по огородам и садам и осыпали из своих убежищ полицию и казаков камнями...

Выступлением руководили коллективы нашей партии<sup>1</sup>. Эти события происходили как раз во время приезда президента французской буржуазии господина Пуанкаре, и власти были озабочены организацией встречи. Ко дню приезда Пуанкаре в самый Питер, полиция мобилизовала для встречи в качестве фигурантов „русского народа“ — дворников. Полицию и казаков стянули туда, и на местах, соединяющих окраину с городом, были поставлены патрули, чтобы не пропускать рабочих демонстрантов.

Стачка протеста против насилий над рабочими, против избиваний и арестов перебрасывалась с Нарвской и Выборгской сторон на Васильевский остров, в Коломенский район, за Невскую заставу, разливаясь мощным потоком по всему городу... Начиная с 6-го и до 12-го июля забастовка имела почти всеобщий характер, число стачечников достигло 300.000 чел. Всюду происходили митинги, демонстрации, кое-где воздвигались баррикады...

Столкновение около клиники Вилье имело характер организованного сражения; при этом обороняющиеся были почти без оружия и пользовались баррикадой и проволочными заграждениями как прикрытием, из-за которого осыпали полицию и казаков камнями... Только револьверной и оружейной стрельбой удалось полиции и казакам взять баррикаду и очистить площадь...

Июльские события в Петербурге всколыхнули дремавшую провинцию, и стачечная волна катилась буквально „от хладных финских скал до пламенной Колхиды“...

Уличные выступления петербургских рабочих закончились к 11—12

<sup>1</sup> С.-д. большевики.

июля, но еще значительная часть из 300-тысячной армии стачечников на работу не стала. Общество фабрикантов и заводчиков решило наказать „рабочую вольницу“ легоньким локаутом.

Многие фабрики, а также почти все частные металлообрабатывающие заводы назначили полный расчет всем своим рабочим.

Однако, приближение „критической развязки“, т.-е. начала военных действий, заставило правительство, во избежание „сюрпризов“, внести „мир“ в жизнь столицы. Вывешенные объявления о локауте, под видом „расчета“, были вдруг переделаны на открытие заводов, вместо угроз— рабочих вежливо приглашали занять их прежние места... Дня за два до мобилизации рабочая жизнь Петербурга вошла в обычную норму...

Всеобщая мобилизация Петербургского округа (как и по всей Европейской России) была объявлена 19-го июля ст. стиля, с шести часов утра. Полицейские участки работали всю ночь, разносили по домам призывные ведомости... Около полицейских участков, превращенных в сборные пункты, толпились сотни семей рабочего люда. Женщины плакали и проклинали войну.

В мастерских и заводах мобилизация произвела большие опустошения. От тисков и станков было взято до 40% рабочих. Пустотой и унылостью повеяло всюду. Заводчики потребовали у власти, чтобы им были возвращены их квалифицированные рабочие, иначе они не могли выполнить казенные заказы. Их просьба была уважена: через несколько дней все мобилизованные металлисты, работавшие на заводах, имевших казенные заказы, были возвращены, но считались на „учете“ у воинского начальника.

Когда рабочие пришли на работу утром в день мобилизации, о работе никто не думал. Не раздеваясь, сходились по мастерским, стоварились и выходили на улицы под звуки революционных песен. На некоторых заводах были общие собрания с присутствием мобилизуемых, с которых рабочие брали клятвы не забывать в при первой же возможности, с оружием в руках, добиваться „освобождения славян в самой России“.

И опять, как в дни мобилизации сил труда для протеста против режима угнетения, улицы пригородов наполнялись людьми, и тысячные толпы манифестировали по улицам с пением революционных песен и с криками „долой войну!“ Нередко и стоявшие около участка заплаканные и убитые горем женщины кричали сквозь слезы: „долой!“ и призывали кричать других...

Около полудня потянулись к центральным городским сборным пунктам первые партии мобилизованных, окруженные слабым конвоем городовых. К ним быстро примыкала толпа, и создавалась манифестация, с красными лентами или плакатами, привязанными на тросточки...

Из пригородов особенно грандиозный характер манифестации имели за Невской заставой и на Выборгской стороне. В первом случае толпа в несколько десятков тысяч людей провожала запасных с пением революционных песен и красным знаменем вплоть до Знаменской площади, где имела столкновение с патриотами, и была рассеяна полицией...

Мобилизованные, но оставленные при заводах рабочие подвергались притеснениям. Предприимчиватели решили использовать это состоя-

ние, превращая рабочих-солдат в крепостных, своего рода „военно-обязанных“...

Мелкие предприниматели и подрядчики широко пользовались военным положением, чтобы посредством участка избавлять себя от беспокойного элемента или от уплаты рабочим заработной платы... В укромных уголках мастерских появились любопытные надписи: „Товарищи, если Россия победит, нам лучше не будет, нас будут еще сильнее давить“...

(А. Шляпников, — „Накануне 1917 года“).

---

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

# В годы Великой русской революции (1917—1920 г.г.).

### „ИЗ НОЧИ В ДЕНЬ“.

#### I.

Как преступник, прикованный к та-  
к<sup>с</sup>,  
Каждый день на работу ходил...  
—Отдохнуть бы,—как нищий подач-

ки,  
У судьбы беспощадной просил.  
Уж мерещился крюк да веревка,  
Но случайно открылись глаза:  
На заводе росла забастовка,  
На душе загоралась гроза.

#### II.

Сломали нас скоро: солдат привели,  
Схватив кой-кого, посадили...  
А нас... нас простили! Веревки

сплели  
И снова к станкам привинтили!

И снова вопросы: так что-ж впереди?  
Могила? Хозяйская милость?  
И злоба в больной, истомленной груди  
Копилась, копилась, копилась...

#### III.

Это был не взрыв негодованья,  
Не мольба, не вызов, не протест...  
Это был конец тупым страданиям  
И над Молохом разбитым—крест!  
Как река, прорвавшая запруды,  
Как могучий горный водопад,  
Закипел, запенился повсюду...  
Вольный всем и радостный набат!

(А. Крайский. ... „Улыбки солнца“.)

### М И Т И Н Г.

Море голов—в картузах, в кепках, в бараньих шапках. Море исхудалых, закопченных, хмуро-суровых рабочих лиц.

Не только стоят вплотную, теряясь в отдаленном конце, несколько тысяч, но, как гроздь, обвисли до самого потолка на сквозных переплетах железных ферм, на котлах, на трубах, на частях ремонтируемых паровозов.

На эстраде левый социалист-революционер. Он читает телеграмму со страшными условиями мира германцев.

— Вот, товарищи, как нас ухватили за горло.

Громадное здание замерло, как будто нет ни одного человека. Мрачно сверкают глаза, иногда оборачиваются и молча взглядывают друг на друга.

Социалист-революционер страстно призывает к борьбе, к партизанской борьбе, — бить немцев из-за угла, из за изб, из-за деревьев и или отбиваться от германских, русских, украинских и других капиталистов и помещиков, схвативших рабочих и крестьян за горло, или умереть революционерами.

Он говорит страстно и сильно, и странно мешаются с его речью гудки и свистки паровоза за железной стеной.

Ему аплодируют, но все покрывает невыносимо звенящий металлический грохот — сорвались железные листы. И пронзительный ребячий визг прорезает синеющую громаду простора.

Это протест.

На него дружно несутся крики:

— Молчать, собаки!

— Долой!..

— Сорвать захотели.

— Вот позвените еще!

Выходит меньшевик-интернационалист. Говорит мягко, вкрадчиво, без мыла влезаящим в душу голосом, ласково, красиво и образно.

— Мы, меньшевики-интернационалисты, давно предсказывали то, что теперь совершается, как по писанному, но мы не злорадуем, потому что это общее страшное несчастье, из которого нужно выбиваться общими силами.

Он не злорадствует, но говорит, что большевики и левые социалисты-революционеры обещали мир—и дали страшный мир, обещали землю—и дали погромы имений; обещали хлеб—и дали голод; обещали волю—и наполнили тюрьмы и теперь приглашают итти партизанами под немецкие виселицы.

И говорит: выход один — в об'сдпнении, и в об'единении всех партий, всех направлений, всех социалистических течений и в созыве Учредительного Собрания. Оно одно только приведет все к благополучному концу.

И его голос мешается с тудками за стеной.

И ему аплодируют, как и первому, и с нетерпимо звенящим металлическим грохотом валятся железные листы, и пронзительный ребячий визг нижеет млеющий от табачного дыма воздух. И я не разберу, кого же они — эти несколько тысяч — принимают в своей массе и принимают ли. Я не разберу.

Мало этого. Возле меня пожилой, грузный, с крепкой, густо заседевшей бородой рабочий говорит:

— Это который социалист-революционер? Не то большевик, али меньшевик?

Я с удивлением и страхом гляжу на это море голов. Неужели там такая каша и неразбериха?

Какие же у них желтые, усталые, ввалившиеся лица...

На кафедру взбирается рабочий, тоже такой же исхудалый, закопченный, весь отрепанный, и говорит, тихо мотая руками, сгибаясь вдвое,

запинаясь поминутно и сейчас же пригребая к себе руками, точно это помогает выбраться из затруднений.

— Эх, товарищи, они не злорадствуют! А только гражданскую войну мы, большевики, это... то-есть, выдумали, затеяли.

— Брехня. Каледин да Рада,—прокатилось по рядам.

— И голод большевики устроили...

— А восемь месяцев соглашатели что делали?—грязнуло кругом.

— И железнодорожную разруху мы, и напор германцев мы...

— Кабы Рада не продалась, германцы не осмелились бы.

— Нет, товарищи, не германцы, а кайзер да капиталисты.

— Вон!

— Так что-ж, товарищи, это называется не злорадствовать?

— Это есть брехать,—покрыли его тысячи голосов.

— Долой меньшевиков и правых брехунов!

— Вон!

— На чорта они влезают. Адвокаты...

— Звонари...

— Товарищи, выслушайте меня!

— Мы понесли... Революция понесла поражение от всемирного капитала. Ну, что ж! Опять будем собираться с силами, опять схватим капитал за глотку, только со всем мировым пролетариатом. Невдолге это...

Его провожает гул рукоплесканий.

И чей-то резкий, слышный во всех углах голос:

— А выход какой же? Выход укажите.

В ответ раздраженно несколько голосов:

— Сам-то не осилит! Голова-то на плечах?

— Мамку ему—разжуй да в рот положи.

На кафедре выходит меньшевик, повидимому, оборонец. Ему не дают говорить.

— Долой!

— Слезай!

— Назвонился... проваливай!

На смущаясь и зло он кричит им:

— Вас тысячи, а я один, и вы меня боитесь.

— На чорта ты сдался нам.

— Наперед знаем, что скажешь... Слезай!..

Вступается председатель, просит соблюдать свободу слова.

— Да ведь знаем, чего будет брехать. Кабы не соглашатель...

Так и стащили меньшевика.

Вносятся две резолюции: от меньшевиков-интернационалистов и от большевиков.

Меньшевики—насчет объединения, насчет исцеляющего Учредительного Собрания и проч.

Подымается несколько десятков рук. Хохот.

— Разбогатели!..

— Густо.

Резолюция большевиков — связать нашу революцию с мировой борьбой пролетариата; если нет выхода, бороться до последнего с наседающим империализмом. Никаких соглашений.

Поднялся лес рук. Дружные аплодисменты.

Фиолетово под потолком загорелись ослепительные лампы, и синие тени легли на лица, подчеркивая их суровость. Даже смеются люди, не смеясь лицом.

Стали расходиться. И я слышу вокруг себя:

— Чем возьмешься-то?.. Голыми руками?..

— Пуцай послужат те, которые не служили.

Но я чувствую, что все, по крайней мере большинство, встанут под ружье, если понадобится, и их настроение выражает молодой рабочий, злобно бросив:

— Надо, и пойдем. Чего там боталом болтать...

И пойдут.

(А. Серафимович.— „Впечатления“).

## Б О Ж А Н Ы Е К У Р Т К И.

Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бумаги писал, потом метался по городу и заводу — по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал неумело. На собраниях говорил, слова иностранные выговаривал так: константировать, энегрично, литифонограмма, фукцировать, бюджет, — русское слово могут выговаривать. В кожаной куртке, с бородой как у Пугачева. Смешно? — И еще смешнее: просыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку книги зубрил: алгебру Киселева, экономическую географию Кистяковского, Историю России XIX века, изд. Гранат. „Капитал“ — Маркса, финансовую науку Озерова, счетоведение Вейцмана, самоучитель немецкого языка и... и зубрил еще маленький словарь иностранных слов, вошедших в русский язык, составленный Гавкиным.

Кожаные куртки.

Большевики. Большевики? — Да. Так. Вот что такое — большевики.

Белые ушли в марте. И в первые же дни марта приехала из Москвы экспедиция, чтобы ознакомиться, что осталось от заводов после белых и шквалов. В экспедиции были представители — и от Отк. и Хму, и отдела металлов и Гилцы, и Цепти, и Промбюро, и Р. К. П. и В. Ц. К., и проч., и проч., все спецы — на собрании в областном городе было установлено, как дважды-два, что положение заводов больше чем катастрофично, что нет ни сырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива, и заводы пустить нельзя. Нельзя... Когда по поезду был дан приказ готовиться к отъезду (а были в поезде мы отрядом с винтовками), я, автор, думал, что мы поедем обратно в Москву, раз ничего нельзя сделать... Но мы поехали — на заводы, ибо нет такого, чего нельзя сделать, ибо нельзя не сделать. Поехали, потому что не-спец большевик К. Лукич очень просто рассудил, что если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки все сделают.

Большевики.

Кожаные куртки.

„Энергично фукцировать“.—Вот что такое большевики. И черт с вами, со всеми,—слышите ли вы, лимонад кислосладкий?..

Белые ушли в марте, и заводу март. Белые ушли с артиллерийским боем, все разбежались по лесам в страхе от белой чумы, лишь Красная армия, в драных шинеленках, мелкими кучками и тысячами перла и перла вперед. Долго после белых в механическо-сборочном ветре на кране висел человек, зацепленный за ребра: в шахтах по горло стояла вода, и посиневшие плавали трупы.—Мартовский ветер ревел метелями и ел снег, из мартовского снега по ложине вокруг завода и в лесах кругом, из с'еденного ветром снега, торчали человеческие руки, ноги, спины—из'еденные не ветром уже, а собаками и волками. В мартовском ветре сиротливо, в сущности, трещали пулеметы, точно старик хлопшкой бьет мух по стенам, ахали пушки.

Без экивоков. Завод возжпл удивительно просто,—в силу экономической необходимости. Ушли белые, и из лесов после страха стали собираться рабочие, и рабочим нечего было есть, вот и все. Власть менялась восемь раз,—у рабочих осталась одна мать—машина. На заводе не было власти,—рабочие кооперировались артелью. На заводе не было топлива, шахты были затоплены: за заводом был конный завод Ордынских, под ипподромом шли пласты угля,—без нарядов стали рыть здесь уголь, коксовать времени не было, и чугунное литье пустили на антраците. Машинны были налажены,—первой пустили инструментальную. Не было смет на деньги, чем платить рабочим, и решили на каждого отпускать в месяц по пуду болванки, чтобы делать плуги, топоры, косы—для товарообмена. Завод—самовозродился, сам овозжпл. Это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря... Архип Архипов и инженерик, такой взлохмаченный, в овчинной куртке и треухе, с поговоркой эдакой—тарарам... Архип Архипов и инженерик этот металсь по заводу, в цеха, на шахту, а в конторе вечерами грандпознейший проект писали—вырабатывали калибры и допуски нормализации. Веял по ветру черный дым мартена и полыхала ночами в завалы домна.—От цехов пошел скрежет железа, умерла стальная тишина.

„Могут энергично фукцировать“.

(Б. Пильняк.—„Голый Год“).

## МЫ РАСТЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗА.

Смотрите!—Я стою среди них: станков, молотов, вагранок, и горн  
и среди сотни товарищей.

Вверху железный кованый простор.

По сторонам идут балки и угольники.

Они поднимаются на десять сажен.

Загибаются справа и слева.

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю железную постройку.

Они стремительны, они размахисты, они сильны:

Они требуют еще большей силы.

Гляжу на них и выпрямляюсь.

В жилы льется новая железная кровь.

Я вырос еще.

У меня у самого вырастают стальные плечи и безмерно сильные руки. Я слился с железом постройки.

Поднялся.

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу.

Ноги мои еще на земле, но голова выше здания.

Я еще задыхаюсь от этих пчеловеческих усилий, а уже кричу:

— „Слова прошу, товарищи, слова!“

Железное это покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпением. А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.

И не рассказ, не речь, а только одно, мое железное, я прокричу:

„Победим мы!“.

(Алексей Гастев. „Поэзия рабочего удара“).

## РАБОЧИЙ ДВОРЕЦ.

На темных могилах, из щебня Былого,

Из смеха и слез изнуренных сердец

Мы, гордые, строим,—мы, гордые, строим,

Мы строим Рабочий Дворец.

Нас бодрость волнует. Крепки наши руки.

Мы знаем, как строить, хоть ночь так темна,

И камень за камнем, и камень за камнем

Встает за стеною стена...

Над нами нахмурилось темное небо...

Усталый упал не один наш боец...

Мы, гордые, строим,—мы, гордые, строим,

Мы строим Рабочий Дворец.

Он встанет в тумане ночей молчаливых,

Как солнце, разрежет миражи судьбы,

Железною ратью придем мы, придем мы,—

Без слез, без цепей,—не рабы...

Смелее, товарищ, не бойся кошмара!

И, кто бы ты ни был, за нами иди!..

И, если ты веришь, в восходы ты веришь,

Тс камень в основу клади!..

На темных могилах, из праха Былого,

Из крови и слез изнуренных сердец

Мы, гордые, строим,—мы, гордые, строим,

Мы строим Рабочий Дворец.

(А. Поморский.—„Цветы восстания“).

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

# Фабрично-заводский пролетариат на Западе.

*Германия.*  
(40 г.г. 19-го века).

### Т К А Ч И.

Глаза их сухие не блещут слезами,  
Сидят у станков и скрежещут зубами:  
„Германия, саван тебе мы соткем,  
В него мы тройное проклятье вплетем.  
Мы ткем, неустанно мы ткем!

„Проклятие богу, пред кем мы с мольбою  
Склонялися в голод и холод зимою!  
Напрасно мы ждали, надежды полны,  
Он нас обманул, одурачены мы.  
Мы ткем, неустанно мы ткем.

„Проклятье ему, королю всех счастливых!  
Не жаль ему нас, бедняков терпеливых!  
Последний он грош отнимает у нас;  
„Стрелять по собакам!“—он отдал приказ.  
Мы ткем, неустанно мы ткем!

„Проклятье тебе, о наш край лицемерный,  
Где царствует стыд и позор беспримерный,  
Где вянет без света цветок полевой,  
Где кормится тленем червяк гробовой.  
Мы ткем, неустанно мы ткем!“

Челнок снует, станок гремит,  
И день и ночь все ткач сидит:  
„Мы старой Германии саван соткем,  
В него мы тройное проклятье вплетем,  
Мы ткем, неустанно мы ткем!“

(Из Гейне).

Старик Баумерт. Всяду горе. Где бедность, там всегда беда за бедой. И никакого спасенья.

Ткач Гейбер. Что у тебя завернуто в платочке?

Старик Баумерт. У нас дома совсем пусто стало, — пришлось зарезать собачку. Немного на ней мяса-то — с голоду бродила еле живая. А такая махонькая, славная собачонка была. Сам я не в силах был ее зарезать, — духу не хватило.

Пфейфер (*осмотрев работу Бекера, выкрикивает*). Бекеру тринадцать с половиной зильбергрошей.

Бекер. Я за платой пришел, а не за милостыней.

Пфейфер. Кто получил расчет, выходите! Повернуться негде.

Бекер (*окружающим, не понижая голоса*). Это жалкая подачка и больше ничего. Ты тут гнешь спину за станком с утра и до вечера, восемнадцать часов работаешь, каждый вечер встаешь из-за станка в поту, ошалевши от пыли и жары, — а за все получаешь тринадцать с половиной зильбергрошей. Мыслимое ли это дело?

Пфейфер. Здесь запрещено кричать.

Бекер. Не вам мне затыкать глотку!

Пфейфер (*вскакивает с места, с криком*). Это мы еще увидим! (*Подходит к стеклянной двери и кричит в контору*) Господин Дрейсигер, господин Дрейсигер, будьте любезны пожаловать сюда.

Дрейсигер (*толстый человек, лет сорока, с одышкой; строгий вид*). Что случилось, Пфейфер?

Пфейфер (*злобно*). Бекер грубиянит.

Дрейсигер (*принимает внушительный вид, откидывает голову назад и пристально глядит на Бекера, с дрожавшими от гнева ноздрями*). Ах, вот как, Бекер. (*Пфейферу*) Это тот, который?.. (*Служащие утвердительно кивают головой*).

Бекер (*дерзко*). Да, да, господин Дрейсигер. (*Указывая на себя*) Это тот, который?.. (*указывая на Дрейсигера*), а это тот, который...

Дрейсигер (*возмущенно*). Что этот человек себе позволяет?

Пфейфер. Слишком ему хорошо живется. Ну, да он и допляшется. Поживем — увидим.

Бекер (*грубо*). Не дери горло, скареда! Мать твоя, верно, загляделась на сатану, когда на помеле вылетала из трубы в полнолуние, — оттого ты и уродился таким чортом.

Дрейсигер (*встлвив, ревет*). Молчать, не то!.. (*Он дрожит и делает несколько шагов вперед*).

Бекер (*поджидая его, с решимостью*). Я не оглох. Я еще хорошо слышу...

Дрейсигер. Еще одно слово, и я сейчас же пошло за полицией. Я долго не раздумываю. Скручу я вас, молодчиков. Не с такими справлялся.

Бекер. Еще бы! Порядочный фабрикант может справиться с двумя-тремястами ткачей так быстро, что не успеешь оглянуться. У порядоч-

ного фабриканта четыре желудка, как у коровы, и зубы, как у волка. Он всех слопаёт.

Дрейсигер (*служанцим*). Не давать ему больше работы.

Бекер. Да мне все равно—за станком ли умпрать с голоду или в канаве на улице.

Дрейсигер. Вон! Сюю минуто вон!

Бекер (*твердо*). Прежде я должен получить расчет.

Дрейсигер. Сколько ему следует, Нейман?

Нейман. Двенадцать зильбергрошей и пять пфеннигов.

Дрейсигер (*поспешно берет у кассира деньги и сердито бросает их на стол; несколько монет падает на пол*). Вот... вот... и проваливайте! Вон с глаз монх!

Бекер. Сначала мне должны заплатить.

Дрейсигер. Вот деньги, и если вы не уберетесь... Теперь двенадцать часов. Красильщики сейчас придут обедать и...

Бекер. Деньги я должен получить в руку—сюда (*касается пальцами одной руки ладони другой*).

Дрейсигер (*мальчику*). Поднимите, Тильгнер.

Мальчик (*поднимает деньги и кладет в левую руку Бекера*).

Бекер. Вот так,—чтобы все было в аккурате (*не спеша прячет деньги в старый кошелек*).

Дрейсигер (*видя, что Бекер все еще медлит, говорит нетерпеливо*). Уж не помочь ли мне?

В толпе ткачей происходит движение. Слышится глубокий, долгий вздох, затем стук падающего тела. Общий интерес сосредоточивается на этом новом происшествии.

Дрейсигер. Что случилось?

Голоса. Его повалили на пол. Он почти ребенок. Что с ним? Болезнь приключилась или что другое?

Дрейсигер. Кого повалили? (*подходит ближе*).

Старый ткач. Вот он лежит.

Толпа расступается. На полу лежит восьмилетний мальчик в глубоком обмороке.

Дрейсигер. Кто-нибудь знает этого мальчика?

Старый ткач. Он не из нашей деревни.

Старик Баумерт. Да, ведь, это как будто Генрихов мальчик? (*Внимательно разглядывает его*) Ну, конечно, это Густав, сын Генриха.

Дрейсигер. Где живут его родители?

Старик Баумерт. У нас, в Кашбахе, господин Дрейсигер. Огед по вечерам ходит играть—он музыкант, а весь день он у станка. У них девять человек детей, и скоро будет десятый.

Голоса мужчин и женщин. Им плохо живется, у них крыша протекает. У матери нет и двух сорочек для девяти мальчиков.

Старик Баумерт (*трогая мальчика*). Ну, что с тобой, малыш? Проснись!

Дрейсигер. Давайте поднимем его вместе. Какое безрассудство посылать слабого ребенка так далеко. Принесите воды, Пфейфер.

Ткачиха (*помогая поднять мальчика*). Лучше-б уж тебе здесь умереть, родимый!

Дрейсигер. Принсите лучше коньяку, Пфейфер.

Бекер (*о котором все забыли, стоял все время, следя за происходящим. Теперь, уже взявшись за ручку дверей, чтобы уходить, он кричит громко и насмешливо*). Дайте ему лучше жрать,—он быстро очнется! (*Уходит*).

Дрейсигер. Этот человек плохо кончит... Возьмите мальчика под руку, Нейман... Осторожно... осторожно... Вот так. Мы его поведем в мою комнату. Ну, что же?

Нейман. Он что-то хочет сказать, господин Дрейсигер. Он шевелит губами.

Дрейсигер. Что тебе, мальчик?

Мальчик (*едва слышно*). Я го...лоден.

Дрейсигер (*бледнея*). Ничего не понимаю.

Женщина. Кажется, он сказал...

Дрейсигер. Мы его потом спросим. Ведите его, не останавливаясь. Положите его у меня на диване. Доктор скажет нам, в чем дело.

Дрейсигер, Нейман и ткачиха отводят мальчика в контору. Среди ткачей оживление, как в школе после ухода из класса учителя. Все вытягиваются, расправляют члены, перемпываются с ноги на ногу,—и через минуту начинается обычный громкий разговор.

Старик Баумерт. А, ведь, Бекер-то был прав.

Несколько голосов. Мальчик сам сказал. Разве в первый раз это здесь, что с голоду валяются? И что-то еще будет зимой, когда вот так все будут высчитывать да урезывать плату? Картофель в нынешнем году не уродился—одно горе! Так все и будет хуже да хуже, изо дня в день, пока все мы не повалимся с голодухи.

Старик Баумерт. Лучше всего сделать так, как ткач из Нентвиха—набросить петлю на шею и повеситься на станке...

Пфейфер (*убегая*). Господин Дрейсигер, у черного входа тоже уже толпа людей. Они взламывают дверь. Кузнец Виттиг колотит в нее ведром, как бешеный.

Снизу все явственнее доносится: „*Подавайте нам сюда приемника Пфейфера!*—*Пфейфера сюда!*“.

Фрау Дрейсигер (*убегает, пасторкиа следует за нею*).

Пфейфер. Милый, дорогой, бесценный господин Дрейсигер, возьмите меня с собою! Я вам всегда верно служил, я всегда хорошо относился к рабочим. Не от меня, ведь, зависело повышать им плату. Они меня убьют, если я здесь останусь. Ах, господи помилуй! Моя жена, мои дети...

Дрейсигер (*уходит, тщетно пытаясь отделаться от Пфейфера*). Да оставьте вы меня. Все это уладится, как-нибудь уладится! (*Уходит с Пфейфером*).

Несколько секунд комната остается пустой. В гостиной дребезжат стекла. Слышится страшный треск, затем громовое „ура“, и, наконец, все стихает. Прохо-

дит несколько секунд, потом слышны осторожные шаги, поднимающиеся в первый этаж; при этом раздаются робкие восклицания: „влево“, „наверх“, „осторожней, осторожней“, „да не толкайся“, „ага, вот те и на“, „долой цепи“, „идем плясать“, „да иди же ты“, „ну, иди же“.

Появляются в сенях молодые ткачи и девушки; они не решаются войти и толкают друг дружку. Через несколько секунд робость проходит, и худые болезненные, одетые в лохмотья фигуры, наполняют кабинет Дрейсигера и гостиную.. Старик Баумерт и несколько молодых и старых ткачей вбегают, как на охоте, друг за другом и кричат наперерыв схиришими голосами.

Егер. Где он?

Бекер. Где живодер?

Старик Баумерт. Небось, послал нас жрать траву, так мы тебе напишем земли в рот.

Виттиг. Как только его поймем, так сейчас и вздернем.

Первый старый ткач. Возьмем за ноги и выпшвырнем в окно, на камни, чтоб уже не поднялся.

Второй молодой ткач (*входя*). Удрал?

Все. Кто?

Второй молодой ткач. Дрейсигер.

Бекер. А где Пфейфер?

Голоса. Ищите Пфейфера! Ищите Пфейфера!

Старик Баумерт. Ищите Пфейфера, пусть придет морить голодом ткачей! (*Смех*).

Егер. Если он сам не попался нам в руки, так мы разгромим его дом... Пусть его по миру.

Старик Баумерт. Он будет беднее церковной крысы.

Все бросаются в комнаты с намерением разнести дом.

Бекер (*побежавший вперед, поворачивается и останавливает дружку*). Стойте, слушайте меня! Когда мы здесь покончим, тогда только и начнется. Отсюда двинем в Билау, к Дитриху. Он завел механические станки. Все наше горе от проклятых фабрик...

Голос (*в окно*). Ткачи, выходите!

Старик Хильзе. По мне, делайте что хотите (*садится за станок*). А я буду работать.

Готлиб (*после короткой борьбы*). Я пойду и буду работать. Будь, что будет.

Уходит; доносится песня ткачей, которую поют много голосов совсем близко; она звучит, как глухой однообразный стон.

Голоса соседей (*в сенях*). О, господи Иисусе, они, как муравьи, со всех сторон ползут... Откуда это взялось столько ткачей?... Не толкайся, я тоже хочу видеть... Ах! Ах! Они целой тучей идут.

Хорниг (*появляется среди дружки в сенях*). Ну, и представление, скажу я вам, не каждый день это увидишь. Сходите-ка к верхнему Дитриху. Там опять такого наделали, что просто любо-дорого. Ни дома, ни фабрики, ни погреба, ничего не осталось... Теперь они к здешнему Дитриху идут.

Массовое пение замолкло.

Голоса соседей. А они совсем не злые на вид.

Хорниг. Подождите, что еще будет. Они теперь со всех сторон замок облепили. Вот видите маленького толстого человечка с ведром

в руках? Это кузнец из Петерс-Валдау... Страх какой силач! Он с самыми горячими лошадьми умеет справляться! Когда он схватит кого-нибудь из фабрикантов—не сдобровать.

Голоса соседей. Ишь ты, как свистнуло... Вот камень в окно влетел... Вот-то, верно, перепугался старик Дитрих... У него что-то вывешивают... Доску... Что на ней написано?... Ты читать умеешь?... На что бы я был годен, если бы читать не умел... Ну, так прочти:.. „Вы все... будете... удовлетворены“.

Хорниг. Напрасно он это сделал. Все равно не поможет. Они решили разнести фабрику. Хотят истребить механические станки. Ведь они ручной ткацкий промысел погубили: это и слепой поймет. Сегодня ткачей не усмирить—разошлись больно. Ни ландрат, ни полиция не образумят их,—а тем более доска с надписью. Кто видел, как они хозяйничали, знает, что это не шутки.

Голоса соседей. Смотрите, смотрите, сколько народу!... Что им нужно? (*Торопливо*) Они через мост перешли. (*Со страхом*) Верно с другой стороны обойти хотят. (*С удивлением и страхом*) Они к нам идут, к нам идут... Они пришли звать ткачей.

Все убегают, сени остаются пустыми. Толпа бунтовщиков, грязных, запыленных, с раскрасневшимися от волки и напряжения лицами, одичалых, оборванных, врывается в сени с криком: „Ткачи, выходите!“ и рассыпается по отдельным ткацким. В комнату старика Хильзе входят Бекер и несколько молодых ткачей, вооруженных кольями и кнутами. Узнав старика Хильзе, они останавливаются несколько одумавшись.

Бекер. Отец Хильзе, бросьте работу. Пусть работает, кому охота,—вам пора уже отдохнуть. Об вас мы позаботимся.

Первый молодой ткач. Вы никогда не пойдете спать без ужина.

Второй молодой ткач. У ткачей опять будет крыша над головой и рубаха на теле.

Старик Хильзе. Откуда вас чорт принес с кольями и топорами? Бекер. Их мы обломаем о Дитрихову спину.

Второй молодой ткач. Мы их запищем фабрикантам в горло, чтоб и они знали, как от голода жжет.

Третий молодой ткач. Идемте с нами, отец Хильзе. Мы им спуска не дадим.

Второй молодой ткач. Нас они тоже не жалели. Ни бог, ни люди над вами не сжалились. Теперь мы сами стоим за себя...

(Г. Гауптман.—„Ткачи“).

*Германия.*

(Конец 19-го века).

Янек (*входит в среднюю дверь. Одет в рабочий костюм углекопа, грязен, едва держится на ногах от усталости*). Здравствуйте.

Рейнер. Здравствуй, Янек.

Янек (*не снимая фуражки, совершенно обессиленный, опускается на стул у стола. Маниакально берет кусок хлеба, но сейчас же опускает руку*).

Рейнер. Что, измучился, Янек? Скверно?

Янек (*глядит бессмысленно*). Скверно. 39 градусов. Работал — все долгой (*делает жест раздевания*). Как роился. И весь день на брюхе. Вода сюда вот... (*проводит рукой по горлу*) вонючая... а сверху... капает... кап... кап... кап... на голову... С ума сойти... можно... Голова... лопается... И газы... у! Лампа не светит... огонь синий... Приложишь ухо к породе... а там... хррр... шшш... Несчастье там, сегодня... завтра... и я... туда больше... ни шагу...

Пахальский. Да ты расскажи толком, что у тебя вышло на „Анжелике“?

Вегенер. Из-за подпорок дело началось,—с оберштейгером. У нас столбов не хватило, а он кричит: „Почему не разбираете подпорки в обработанной штольне, собаки вы этакие?“

Пахальский. Вот, вот! Ругаться—это у них главное!

Вегенер. Ну, я ему отвечаю, что неравно там порода осядет, придавит нас всех, как блох. Зачем же, мол, нам на верную смерть идти! Потом спросил его, знает ли он горные законы. Тут он совсем взбеленился: „Я вам приказываю!“ кричит:—„здесь я для вас закон! Слышите?“ Я говорю, что слышать-то слышим, да не пойдем. Он пробормотал: „За это вы мне дорого заплатите!“ И правда. Как кончили работу, смотрим, а за нашей сменой десять марок штрафа записано—за непослушание.

Пахальский. Пся крев! Штрафы да штрафы, как на каторге.

Шварцмайер. А то как же? Ведь им тоже надо наши заработанные гроши назад отнять!

Вегенер. Ну, хорошо. Я, стало-быть, пошел к инженеру жаловаться. А тот говорит: „Не вы отвечаете за вашу жизнь, а мы, управление. Законы вас не касаются,—вы должны слушаться, и basta!“

Шварцмайер. Так, так! Намедни и наш директор говорит: „Очень нужно обращать внимание на десятков-другой мерзавцев. Свежие будут!“

Пахальский. А кто у вас директор?

Шварцмайер. Тиль,—американец.

Пахальский. Наш Кауфман—тоже хорош... Одно название, что человек, а то... тьфу!

Вегенер. Ну, хорошо. Я инженеру спокойно так отвечаю, а он: „не смей глядеть на меня! Молчать! А то сию минуту вылетит!“

Пахальский. Вот, вот! И мне штейгер говорит: не гляди, говорит, а то—в шею. Они мне штраф закатили, будто бы за недогруз, а я в шахте не был—к доктору ходил. „Не гляди“, говорит, „собака проклятая!“—Вишь ты! Самсобака! Потому—только собаки не любят, когда на них человек глядит.

Вегенер. Ну, хорошо. Я и пошел прямо к самому хозяину...

Пахальский. К Клингбергу?

Вегенер. К нему. А он без дальних слов велел мне расчет дать, вот и все. Я, было, хотел на завтра в горный округ идти жаловаться, да куда тут! Наши все поднялись, как один человек. Вечером устроили

митинг и отвели душу. Все высказали, что годами наболело, накишело. Уж сколько я старался, чтобы их успокоить—ничего не помогло. На другой день полторы тысячи не вышли на работу. Клингбергу бы тут уступить, он заупрямился, ну, через день забастовали 12 тысяч, а еще через день—и все 25 тысяч. Теперь слышно, что и на „Германии“ 17 тысяч бастуют.

Эверт. Да! Уж раз поток прорвал плотину, его остановить не легко. Все дело в том, что терпению конец пришел, что захлебнулись люди в злобе и горе...

Шварцмайер (*сильно ударил кулаком по столу*). Лучше пропадать, чем дальше такую собачью жизнь вести.

Аббес. Какие требования вы считаете наиболее важными?

Шредер. Мы хотим восьмичасовой смены, как она была установлена еще при наших отцах. Потом... обидно, что наши заработки делаются все меньше, а доходы хозяев растут...

Аббес. Гм...

Шредер. Дальше... чтобы отменили штрафы за недогруз, а то штейгеры нам с ними житья не дают.

Аббес. Еще что?

Шредер. А еще... чтобы никого не уволили за забастовку.

Клигберг. Ага!

Рейнер. А прежде всего мы требуем признания наших организаций.

Клигберг (*через плечо*). Конечно! Чтобы вы, агитаторы, могли без помехи гнать рабочих в пропасть вашей социал-демократии!

Шредер. Нас не так-то легко куда-нибудь гнать. Мы тоже люди. А только вы ведь тоже устроили себе союзы и синдикаты, так почему же нам не иметь своих организаций?

Клигберг. Да? Под руководством социал-демократов.

Рейнер. А от чего бы не так? Дураки мы были бы, если бы мы не воспользовались почвой, которую вы подготовили для нас своими жестокостями.

Клигберг. Придержите язык, пока вы у меня в доме!

Веер. Позвольте, я ему отвечу... Послушайте вы, которого я стыжусь назвать своим братом по крещению! Неужели вы серьезно думаете, что наш народ настолько прогнал, что он позволит вам вести себя по пути богохульства, по пути язычества?

Рейнер (*спокойно*). Взгляните-ка лучше на себя. Это вы толкаете народ к богохульству. Вы загоняете его в ваших церквах в темные углы, чтобы очистить место богатым, живущим его потом и кровью... Всем своим поведением вы показываете народу, что для вас деньги дороже бога, дороже религии. А мы... мы только объясняем ваше поведение...

Слева с улицы доносится гул толпы.

Клигберг. Что там еще? Ну?

Фриц и Герман (*бросились к окнам, смотрят вниз...*).

Клигберг. Ну, что там творится?

Фриц. Толпа, г. советник!

Герман. Сотня, тысячи, мужчины, женщины—все углекопы.

Клингберг. Здесь, перед моим домом?

Фриц. Так точно, г. советник—вся площадь полна народу.

Клингберг. Ну, и что же им нужно?

Рейнер (*спокойно*). Они, вероятно, ждут нашего ответа.

В среднюю дверь входит Бальдер и Вегенер.

Кауфман. Ответа? Хорошо. В таком случае пойдите и скажите им, что мы не уступим ни одного шага. Пусть лучше шахты пропадают.

Тиль. Даже если это нам будет стоить миллионы.

Клингберг. Вы, Вегенер, можете еще добавить, что тот, кто у меня завтра не встанет на работу, может приходить за расчетом. Согласно правил внутреннего распорядка, рассчитанные рабочие обязаны в течение трех суток очистить квартиры. Не забудьте им это напомнить. И вам, Вегенер, тоже придется выехать с квартиры. Завтра же я выпишу себе других рабочих из Силезии, а рассчитанных за забастовку не смеет принять на работу ни один предприниматель нашего района. Так. Баста.

Вегенер (*поражен*). Это... это...

Рейнер (*возбужденно*). Посмотрим! Рабочие — не собаки и позволяют ли выгонять себя на улицу...

Клингберг. Я раздам новым рабочим оружие.

Рейнер. У нас тоже найдутся револьверы.

Беер. Вы, кажется, угрожаете убийствами?

Кауфман (*цинично*). Не запугаете! Эти песни мы слышали не раз.

Беер. У нас еще есть солдаты.

Рейнер. Если стрелять в своих отцов и матерей, братьев и сестер на вашем языке, значит, „стоять за правду“, то вы, г. оберпастор, правы! Пусть их стреляют! От пули умирать легче, чем от голода. И, может быть, наша кровь освободит настоящую правду, которую вы связали и спрятали, чтобы она не обличала перед народом ваши гнусности!..

Клингберг (*вскочил*). Молчать!

Беер. Вы осмеливаетесь говорить о правде? Вы, забытый богом грешник из грешников?

Рейнер. Да, осмеливаюсь. (*Спокойно*) Я говорю о той высшей правде, которой вы никогда не знали. Она живет в сердцах миллионов людей, которых вы поработили. Она живет в них с незапамятных времен. И настанет время, когда во имя этой правды живой поток сметет вас, угнетателей, тунелдцев!

Клингберг. Вон отсюда! Убирайтесь вон!

Вегенер, Шварцмайер, Шрейдер, Эверт и Рейнер (*идут к средней двери*).

Рейнер (*идет последним; в дверях оборачивается и кричит Клингберту*). Борьба на жизнь и на смерть!

Клингберг (*слухам*). Вышвырните его вон!

Рейнер ушел. Наступило тяжелое молчание.

Кауфман (*залпом выпил бокал шампанского*). Это дьявол какой-то!

Клингберг (*прислушивается. Гул на улице стихийно нарастает. Слышны крики: „к чорту их всех“, „вынать“, „перебить штрейкбрехеров“, „к чорту Туля“, „убрать Клингберга“, „воры проклятые“, „бастовать“ и т. д. Клингберг Бахмайеру*) Это возмутительно! Неужели у нас нет полиции?

Бахмайер. Кто бы мог подумать...

В окно влетает камень, разбивает стекло и падает на стол.

Кауфман (*вскочил и кубарем откатился к другой стене; кричит Клингбергу*). Чего вы ждете? Возьмите револьвер и стреляйте в эту сволочь!

Шварцмайер. Нешто эти дьяволы зажившие могут что-нибудь чувствовать, кроме кулака? Вот почистим им машины, остановим все, зальем шахты водой... Пусть они тогда чешутся со своими штрейкбрехерами. Небось, взвоят, как всякий день у них из машины тысячи полетят! Иначе их не проймешь!

Мальчик (*затыхавшись*). Полицейский? Где, где здесь полицейский?

Шварцмайер. Зачем он тебе понадобился?

Мальчик. Там... громят шахты... ломают машины... поджигают.

Шварцмайер (*злорадно*). А! началось! (*Мальчику*) Полицейский там, в кабаке, возьми его себе на память. Только он, поди, намок весь, паша постарались. Сушить его сначала придется.

Мальчик убегает налево.

Шварцмайер. Значит, пора и нам (*делает шаг к калитке*).

Сторож. Погоди, пока хозяин не выйдет из шахты.

Шварцмайер. Пожалуй, долго ждать придется. Он и не подумает вылезать, когда у нас здесь веселье пойдет.

Пахальский. У него всегда револьвер с собой.

Шварцмайер. Ну, что-ж, потягася! (*Достает из кармана револьвер, потом снова прячет его*).

Шварцмайер (*выходит на середину улицы и вытягивает кверху руки*).

Янек (*высоко поднимает в воздухе молоток. Сразу слышится гул голосов*).

Иммерман (*прибежал от умывальной, в окнах и двери которой появляются полудетые рабочие*). Что вам надо? Зачем вы пришли? Уходите!

Янек (*махает тяжелым молотом*). Не уйдем! Мы пришли работать! И поработаем!

Шварцмайер. Мы тебе покажем страшный суд на земле, ты, поповский прихвостень!

Рэйнер. Вы не хотите бастовать? Хорошо! Так пусть же машины бастуют!

Иммерман (*оцепенел от ужаса*). Вы... вы с ума сошли. Матерь божья! Пресвятая троица! Да вы что же это? А? Бунтовать? Да я... Уходите отсюда, пока целы, а не то дам тревожный свисток!

1-й рабочий (*замкнулся молотом*). Попробуй!

Иммерман (*молится*). Отче наш... на небеси и на земли... оставь нам долги наши... избави нас от лукавого...

2-й рабочий (*ладонью ударяет его по шапке*). Смех).

Рейнер. Вперед! Шварцмайер, Пахальский и еще шестеро—марш в машинное отделение! Остальные—за мной, в шахту! Если кто будет мешать, не стесняться! Оружие есть. Сначала ломайте цепи, чтоб никто не мог подняться снизу! Дрезер! Ты становись к воротам и никого не впускай!

Раздается тревожный свисток, продолжается непрерывно до начала пожара в машинном отделении. На улице начинают показываться люди.

Клингберг (*одет улькомом, появляется в раме разбитой двери*). Это что значит? Чего вам здесь надо, мерзавцы?

1-й рабочий. Сам мерзавец!

Гаральд (*тоже в костюме улькомом; появляется сзади отца, но сейчас же снова исчезает*).

Рейнер. Чего нам здесь надо? Нам надо поставить вам ультиматум. На размышление одна минута. Вы должны прогнать отсюда всех штрейкбрехеров, другими словами, немедленно прекратить работы, впредь до мирного окончания общей забастовки. Те, кто у вас работает,—предатели, шпионы! Против них дозволены все средства борьбы! (*Пауза*). Вы не согласны? Оглянись. В таком случае прочь с дороги! Вы нам мешаете!

Клингберг (*кричит назад, в глубь здания*). Все наверх! На защиту машин!

Рейнер. Эй, одумайтесь! Еще не поздно!

Клингберг. Убирайтесь вон отсюда, а то я разделаюсь с вами по-своему!

(Крик негодования среди рабочих).

Рейнер. Товарищи, вперед!

Группа рабочих, во главе с Пахальским и Шварцмайером, бросается в машинное отделение, откуда через несколько секунд раздаются глухие удары молотов по металлу и треск ломающихся деревянных частей. Из окна кочегарки показывается пар. Свисток умолкает, из паротводной трубы пар идет слабой непрерывной струей.

Клингберг (*выхватив револьвер целится в наступающего Рейнера*). Ни шагу дальше! Всякого, кто двинется с места, убью, как собаку!

Движение перешительности среди рабочих.

Рейнер. Чего вы стали?! Разве не все равно, когда умирать? Вперед! Ура! (*бросается вперед, остальные за ним*).

Клингберг. Назад! (*стреляет*).

Рейнер (*покачнувшись, оперся на ближайшего рабочего*). Собака... убийца ..

Я нек. Товарищи! Отмстим! Вперед!

Клингберг. Ни с места (*целится*).

Рейнер. Трусы! Бабы! Чего стали! Вперед! Раздавим этого гада!

Ну! Вырвем ему его подлый язык! Растопчем его! (*падает*).

Из машинного отделения несется грохот, появляется красный отблеск пламени...

(М. Бетхер.— „Шквал“).

*Франция.*

(50—60 г.г. 19-го века).

..Из глубины шахты доносились правильные удары молота. Ветер жалобно завывал и казался стоном голода и усталости, доносившимся из глубины ночи. Глядя на вздрагивавшее пламя, старик продолжал вспоминать, немного понизив голос... Да, не со вчерашнего дня он и его родные работали в шахте. Со дня открытия копей в Монсу его родные стали работать; а с того времени прошло уже сто шесть лет. Его дед, Гюйом Магё, бывший тогда пятнадцатилетним мальчишкой, нашел залежи угля в Рикийаре, в первой шахте компании, теперь уже заброшенной. Она вон там, возле сахарного завода Фовелля. Это было известно всему округу; первая шахта была названа шахтой Гюйома, в честь его деда.

Он его не помнит. Говорят, что это был толстяк, силач; он умер шестидесяти лет. Потом его отец, Николай Магё, прозванный Красным, поступил сюда в Ворё—тогда шахта только открылась. Он совсем здесь потерял здоровье, шахта пожрала его с мясом и костями. Позже здесь погибли двое из его дядей и три брата. Сам он, Венсен Магё, вышел почти целым, только ноги плохо служат. Его считают счастливым. Да и что делать? Нужно работать. Его сын Гуссэн Магё, в свою очередь, надрывается теперь в шахте и все его внуки тоже; они живут в поселке напротив. Сто шесть лет убийственного труда, малыши за стариками, и все для одного и того же хозяина, каково? Многие ли из буржуа могли бы рассказать так, как он, историю своего рода?

— Ну, если, по крайней мере, сыты!—снова прошептал Этьен.

— И я тоже говорю, пока есть хлеб, жить можно.

Бонмор смолк, устремив глаза на поселок, где один за другим начали зажигаться огоньки. На колокольне Монсу пробило четыре часа; стало холодней.

— Она богата, ваша компания?—продолжал Этьен.

Старик поднял плечи и снова опустил их, словно согнувшись под тяжестью эю.

— Да, да... Не так богата, может-быть, как соседняя компания Анзэн. Но все-таки—миллионы и миллионы. Не сосчитать... Девятнадцать шахт, из которых тринадцать работают... да еще шесть отдыхают, как, например, Рикийар... Десять тысяч рабочих, шестьдесят семь поселков, ежедневная добыча угля в пять тысяч тонн, железная дорога, соединяющая мастерские, фабрики... Да, да, деньги есть!

Грохот вагончиков заставил большую рыжую лошадь насторожить уши. Клеть починили. Вагончики снова покатались. Погонщик произнес ласково, пристегивая вагончики к постромкам лошади:

— Не приучайся болтать, глупая лентяйка! Вот если бы господин Геннебо узнал, на что ты тратишь время!

Этьен задумчиво всматривался во тьму и спросил:

— Значит, копн принадлежат господину Геннебо?

— Нет,—объяснил старик.—Господин Геннебо—главный директор. Он, как и мы, на жалованьи.

Юноша широким жестом обвел безграничный мрачный горизонт.

— Кому же все это принадлежит?

Бонмор снова закашлялся и на этот раз чуть не задохнулся. Сплюнув и отерев черную мокроту на губах, он сказал, возвысив голос, так как ветер усилился:

— Чье все это?.. Это неизвестно... Это принадлежит каким-то людям.

Он указал рукой куда-то, на неведомое ему отдаленное место, где жили люди, для которых семья Магё работала уже больше столетия. В его голосе звучал почти религиозный страх, словно он говорил о недоступном святилище, где притаился, сидя, поджав ноги, откормленный идол, которому они отдавали жизнь и никогда его не видели.

— По крайней мере, были бы хоть сыты!—в третий раз произнес Этьен.

— Чорт возьми! Если бы всегда ели хлеб, было бы совсем уж хорошо!..

— Магё с товарищами,—сказал помощник кассира.—Жила Филоньер, забой седьмой.

Кассир выдал деньги.

— Извините, пожалуйста,—пробормотал пораженный забойщик.—Вы уверены, что не ошиблись?

Он глядел на деньги и не брал их. По его телу пробежала холодная дрожь. Он рассчитывал получить немного, но все же не думал, что получка будет так незначительна. Когда он раздаст деньги Захарии, Этьену и углекопу, заменившему Шавая, ему останется каких-нибудь пятьдесят франков, включая сюда же заработок его отца, Катерины и Жанлэна.

— Нет, я не ошибаюсь,—возразил кассир.—Нужно вычесть два воскресенья и четыре прогульных дня. Вам заплачено за девять рабочих дней.

Магё высчитывал про себя. За девять дней он получал тридцать франков, восемнадцать Катерина, девять Жанлэн. Дяде Бонмору следовало получить за три дня. И даже если к ним прибавить девяносто франков, которые нужно отдать Захарии и двум товарищам, то все же должно быть больше.

— Не забудьте о штрафах,—добавил помощник кассира.—Двадцать франков штрафа за плохую обшивку.

Забойщик ответил жестом, полным отчаянья. Двадцать франков штрафа, четыре прогульных дня! Расчет, значит, верен. Он приносил домой до ста пятидесяти франков, когда дядя Бонмор работал и Захария не был еще женат.

— Берете вы деньги?—спросил нетерпеливо кассир.—Вы видите, что другой дожидается очереди. Если не хотите брать, скажите прямо. Магё взял деньги огромной, трясущейся от волнения рукой...

Отчаяние росло. Это было зловещее отчаяние: толпа глухо роптала, не позволяя себе резких жестов. Некоторые из рабочих, умеющих считать, произвели раскладку, и рассуждение о двух сантимах, выреченных компанией на обшивке, возбуждали даже самых неподатливых. Больше всего раздражала эта жалкая получка, возмущали даже штрафы и прогульные дни. И без того уже голодали; что же будет, если заработная плата еще понизится? В кабачках громко ругались; от гнева горло пересыхало так быстро, что полученные гроши оставались на стойке.

До самого поселка Этьен и Магё не обмолвились ни словом. Магё сидела одна, с детьми. Увидев мужа с пустыми руками, она сказала:

— Как ты мил!.. Ну, а кофе, сахар и мясо? Кусок телятины не разорил бы тебя.

Он ничего не ответил. Он не мог вымолвить ни слова от волнения, которое старался подавить. Потом его широкое лицо, огрубевшее от работы в шахте, исказилось отчаянием, и крупные слезы полились градом.

Убав на стул, он зарыдал, как ребенок, и бросил пятьдесят франков на стол.

— Это все, что я тебе принес...—пробормотал он.—Это все, что мы заработали...

Магё взглянула на Этьена, стоявшего с мрачным и удрученным лицом, и тоже заплакала. Как может прожить в течение пятнадцати дней семья в девять душ на пятьдесят франков?..

— Признавайтесь лучше, что вас гнусно подстрекают. В воздухе теперь носится зараза, развращающая даже лучших рабочих... Я не хочу, чтоб вы мне исповедывались. Я и сам вижу, что вас подменили. Вы были раньше рассудительными. Ведь вам обещали молочные реки и кисельные берега, вам говорили, что наступила ваша очередь стать господами... Вас записали в члены знаменитого интернационала, представляющего собой шайку разбойников, мечтающих о разрушении общественных устоев...

— Вы ошибаетесь, господин директор,—сказал Этьен.—Никто из рабочих Монсу не записан в члены интернационала. Но они все запишутся, если их к этому принудят... Это будет зависеть от компании...

— Компания благодетельствует рабочим, и вы напрасно ей угрожаете. В этом году она истратила триста тысяч франков на устройство поселков, выплачивающих ей только два процента. Я уже не говорю о неспехах, об угле, о лекарствах...

— Мы, наоборот, желаем, чтобы компания поменьше обращала на нас внимания и, вместо того, чтобы играть роль провидения, честно платила бы нам за наш труд. Ведь во время каждого промышленного кризиса рабочие должны умирать с голоду, чтобы спасти дивиденды акционеров.. Вы можете говорить, что угодно, но все же ваши условия не что иное, как замаскированное понижение заработной платы. Если компания должна

уменьшить свои издержки, она поступает дурно, заставляя платить одних рабочих, и это нас возмущает.

— Я к этому был готов!—закричал г. Геннебо.—Обвинение в намерении морить парод и пить его кровь! Как можете вы говорить такие глупости, раз вы знаете, какому огромному риску подвергаются промышленные капиталы?.. Оборудованная шахта стоит полтора-два миллиона. А сколько времени должно пройти, пока получишь хоть небольшую прибыль! Половина угольных компаний во Франции обанкротилась... Нелепо обвинять в жестокости те компании, дела которых идут хорошо. Они тоже страдают, когда страдают рабочие. Вы думаете, что во время настоящего промышленного кризиса компания мало терпит? Она не может по своему желанию устанавливать заработную плату, она должна считаться с конкуренцией, под риском собственной гибели. Обращайте свой гнев на условия промышленной борьбы, а не на пес... Но вы не хотите этого понять!

— Да, мы понимаем,—сказал Этьен,—что пока все идет так, как шло до сих пор, нам нечего надеяться на лучшую участь. В виду этого, рабочим придется когда-нибудь перестраивать существующие условия.

Эти сдержанные слова были произнесены вполголоса, но в тоне их чувствовалась такая убежденность, они дышали такой ненавистью, что в комнате воцарилась глубокая тишина. Некоторые из рабочих испугались. Другие же, хотя и плохо, поняли, но все же почувствовали, что товарищ говорил о законности их прав. Они опять стали искоса поглядывать на нагретые ткани, мягкие кресла и роскошные вещи, наполнявшие комнату. Если продать самую маленькую из них, им хватило бы на суп в течение месяца.

— Это все, что вы нам скажете, господин директор?.. Мы передадим товарищам, что вы не соглашаетесь на наши условия...

... Они ушли в грозном молчании. Дверь захлопнулась со стуком...

Был уже полдень. Отощавшие за шесть недель стачки, измученные усталостью, люди проголодались... Голод мучил, и еще больше заставлял негодовать на изменников!

— В шахту! Прекращать работу! Хлеба!..

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

По дороге в Гастон-Мари толпа еще увеличилась. Углемоов было теперь больше двух с половиной тысяч. Толпа была в бешенстве и разрушала все на своем пути, подобно вышедшей из берегов реке. Часом раньше по дороге проезжали жандармы, но они, сбитые с толку крестьянами, направились к Сен-Тома. Они так торопились, что не догадались оставить хотя бы несколько человек караулить шахту. В четверть часа огни были погашены, паровые котлы опустошены, все переломано и перебито. Но главным образом обрушились на насос. На него набросились, как на живое существо, у которого хотели отнять жизнь...

Ужасные старухи зачывали так громко, что сухожилки на их иссохших шеях готовы были лопнуть. Потом потянулись мужчины. Тут были подручные, забойщики и дневные рабочие. Они двигались такими

плотными рядами, что нельзя было различить ни их выцветших штапов, ни изорванных шерстяных фуфаяк. Они все сливались в темную массу. Глаза сверкали. Из раскрытых ртов вырывались звуки Марсельезы, заглушенные ревом и топотом башмаков о замерзшую землю. Над головами, среди щетинившихся железных брусьев, блеснул топор. Этот высоко поднятый топор, казалось, был знаменем; он вырисовывался на бледном фоне неба, как нож гильотины...

Это был кровавый призрак революции, которая сметет их всех в роковые годы кончавшегося столетия. Наступит день, когда народ взбунтуется и побежит по дорогам. Прольется кровь буржуа. Народ понесет их отрубленные головы, разобьет сундуки, рассыплет золото. Женщины тогда тоже будут выть. У мужчин будут такие же разинутые волчьи пасти, готовые кусать. Они будут в таких же лохмотьях, так же будут стучать башмаками, так же будут угрожающе бежать... Старый мир будет сметен с лица земли... Запылают пожары, от городов не останется камня на камне. Ничего больше не будет — ни денг, ни патентов до того дня, когда, может-быть, снова народятся мир.

Раздались крики, заглушившие Марсельезу:

-- Хлеба! Хлеба! Хлеба!..

Толпа оцепенела. В них стреляли. Рабочие стояли в изумлении, не веря своим ушам. Потом послышались душу раздирающие крики, и толпа ринулась в безумной панике, разбегаясь с глухим топотом по грязи.

Посыпавшиеся выстрелы стали косить рабочих, задевая даже группы любопытных, смеявшихся над побоищем. Пуля попала в рот Мукэ, и он упал к ногам Захарии и Филомены, обрызгивая их детей кровью. Мукетта получила две пули в живот. Она видела, как солдаты прицеливались; движимая товарищеским чувством, она обернулась, чтобы предупредить Катерину, и сейчас же упала с громким криком. Этьен побежал и хотел унести ее. Она покачала головой, давая понять, что умирает...

Все смолкло, когда раздался последний, запоздавший выстрел.

Магё, раненный в сердце, упал лицом в лужу, черную от угольной пыли...

(Э. Золя.—«Углекопы»).

*Франция.*

(Конец 19-го века).

## ПЕСНЬ УГЛЕКОПОВ.

### 1.

Черные люди, откуда пришли вы?  
— Из-под земли мы поднялись толпой,  
Душит нас в яме глубокой, тоскливой  
Воздух отравленный шахты сырой.

Солнца не видим: лишь лампочки дальней  
Свет одинокий нам светит во мгле.  
Жизнь мы проводим во мраке печальном,  
Вечно работая в душной земле.

Мы добываем  
Уголь, копаем  
Черный улов  
Для чужих сундуков.

## 2.

Черные люди, куда вы бежите?  
— Смерть нас преследует в яме сырой.  
Косит рудничный нас газ. Посмотрите:  
Смерть обернулась вдруг птицей ночной,  
Жадно застигла нас в темном под'еме,  
С шумом за нами идет по пятам.  
Траур и плач не в одном будут доме.  
Завтра же снова мы будем все там.

Мы добываем  
Уголь, копаем  
Черный улов  
Для чужих сундуков.

## 3

Черные люди, что-ж платят за это?  
— Мы изываем в тяжком поту,  
Мы надрываемся зиму и лето  
И получаем за то нищету!  
Голод и холод—обычные гости  
В наших домах и за нашим столом.  
И, возвращаясь, продрогнув до кости,  
Деток оборванных мы застаем.

Мы добываем  
Уголь, копаем  
Черный улов  
Для чужих сундуков.

(Жюль Жюль)

*Италия.*

## М А Т Ъ

На фабрике душной, где в зале просторной  
Невнятно рокочет машинный колосс,  
Где тысячи женщин страдают упорно  
Под дикую песню колес.

Пятнадцать уж лет, как в заботах о хлебе  
Заводит она свой прядильный станок,  
Покорно неся бесталанный свой жребий,  
Судьбе непосильный оброк.

Бывают минуты, привычные руки  
Заметно слабеют,—усталость взяла,—  
Но дух торжествует, и отблески муки  
Мгновенно сбегают с чела.

И дышит фигура отвагой могучей:  
Вперед на работу, смелее вперед!  
А, если внезапно недуг неминучий  
К постели ее прирует?

Но нет, невозможно, хворать несвободно —  
Растет у работницы маленький сын —  
Единая гордость неволи голодной,  
Грядущих годов исполн.

Он грамоту знает, он крепок в рассудке.  
На смелые мысли не детски горазд,—  
И капля за каплей она для малютки  
Последние силы отдаст.

Когда за машиной в труде неустанном  
Наступит бессилие старческих лет,  
Отдаст и мечты о покое желанном,  
Как некогда вешний расцвет.

И сын познакомится с жизнью глубоко.  
Он явит для мира великий урок,  
И черные кудри борца и пророка  
Украсит лавровый венок...

(Ада Негри.—Пер. В. М. Шулятикова).

*Англия.*

(30—40-е г.г. 19 в. Чартистское движение

## НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕТИЦИЯ <sup>1</sup>.

„Благородным общинам Великобритании и Ирландии, соединенным в парламент, петиция от их стужающих соотечественников, нижеподписавшихся.

<sup>1</sup> Рабочее движение в Англии, известное под именем чартизма, — возникло в начале 30-х г.г. пр. века и закончилось в конце 40-х г.г. Причины этого движения коренились в промышленных кризисах, охвативших Англию. Результатом их была безработица и жестокая нужда. Полагая, что кризисы вызваны „дурными законами“, вожди рабочего класса видели единственный

Покорнейше просим обратить ваше внимание:

Что мы, просители, живем в стране, купечество которой известно своей предприимчивостью, фабриканты—своими званиями, рабочие своим искусством.

Страна сама по себе хороша, почва богата, климат здоров. Она обильно снабжена всеми материалами для торговли и промышленности. Она обладает многочисленными и удобными гаванями. В легкости внутренних путей сообщения она превосходит все другие страны. В течение двадцати трех лет мы наслаждались полным миром. Но, несмотря на все данные к народному благоденствию, не смотря на желание и на умение пользоваться ими, мы подавлены страданиями как в общественной, так и в частной жизни. Мы изнемогаем под тяжестью налогов, которые тем не менее все еще не удовлетворяют наших правителей. Наши промышленники дрожат перед угрожающим им банкротством, наши рабочие умирают с голода. Капитал не приносит дохода; труд не сплачивается. Дом рабочего пуст, а кладовая ростовщика полна. Работные дома переполнены, а фабрики пусты.

Мы присматривались к обстоятельствам; мы старались найти причины такого жестокого и такого продолжительного бедствия. Мы не можем найти этих причин ни в природе, ни в провидении. Небо изливало свои дары на народ, и народ не злоупотреблял его милостями, но безумство наших правителей обратило в ничто дары господни. Энергия нашего могущественного государства растрачивалась на укрепление власти себялюбивых и невежественных людей, а его средства шли на их обогащение. Благосостояние нации приносилось в жертву благосостоянию немногих. Меньшинство управляло в интересах меньшинства и безумно пренебрегало интересами большинства и тиранически топтало их... Парламентская реформа осуществила только переход власти от одного господствующего класса к другому, а народ остался так же беспомощен, как и раньше. Наше рабство сменилось тяжкими годами „ученичества“ в ожидании свободы, и к нему присоединилось еще горестное чувство нашего социального унижения вместе с болью по утраченным надеждам. Мы обращаемся теперь к вашей благородной палате, чтобы сказать вам в полном смирении, что нельзя допустить продолжаться такому положению вещей. Оно не может продолжаться, не подвергнув опасности трон и внутренний мир страны. Если с божьей помощью и всеми законными и конституционными средствами можно положить конец этому, мы твердо решились в самом скором времени добиться этого конца. Мы говорим благородной палате, что капитал хозяина должен приносить ему необходимый доход и что труд рабочего не может быть лишен необходимого вознаграждения. Что законы, благодаря которым пища так

---

выход в политических реформах и, главным образом, во всеобщем избирательном праве. Добиться его они надеялись с помощью петиций к правительству и митингов протеста. Только левое крыло чартистов—„сторонники физической силы“—настаивали на вооруженном восстании. Приводимая здесь, первая по времени, „Национальная петиция“ была составлена осенью 1838 г. и, покрытая сотнями тысяч подписей, подана в палату общин. Ответом на нее были репрессии правительства.

дорога, а деньги так скудны, должны быть уничтожены. Налоги должны падать на собственность, а не на труд. Благо большинства, как единственная законная цель, должно быть главной задачей правительства... В качестве единственного средства, с помощью которого интересы народа могут быть действительно ограждены и обеспечены,—мы требуем поручить охрану интересов народа самому народу. Когда государству нужны защитники или деньги, бедность и невежество не принимаются во внимание; под этими предложениями нельзя отказываться или просить об отсрочке. От нас требуют постоянно, чтобы мы поддерживали законы и повиновались им; поэтому природа и разум говорят нам, что при составлении законов должно непременно слушать голос народа. Мы несем на себе обязанности свободных граждан, мы должны иметь права свободных граждан. Поэтому мы требуем всеобщего избирательного права...

Если народное самоуправление и не уничтожит всех источников бедствий, то, по крайней мере, оно успокоит народное негодование. Всеобщее избирательное право и только оно, может дать продолжительный и истинный мир нации; мы убеждены также, что оно поведет за собой и благоденствие. Поэтому да будет благоугодно вашей благородной палате с самым серьезным вниманием отнестись к нашей петиции и употребить все ваши старания, чтобы всеми возможными конституционными средствами провести закон о даровании права быть избранным в члены парламента каждому представителю мужского пола законного возраста, в здравом уме и не находящемуся под судом. Производить все будущие выборы в парламент посредством тайной подачи голосов, время избрания в парламент ограничить только одним годом, уничтожить имущественный ценз для членов парламента и определить им должное вознаграждение на время исполнения ими парламентских обязанностей.

И ваши просители будут вечно благодарить бога“.

(Р. Гаммедж.—„История чартизма“).

*Англия.*

(30—40-е г.г. 19 века. Чартистское движение).

## ФАКЕЛЬНЫЕ МИТИНГИ.

С осени 1838 года митинги стали принимать грозный характер. Неудобно было устраивать частые народные собрания днем. Средства для существования народа были слишком ограничены для того, чтобы он мог тратить свое время... Для огромной толпы, увеличивающейся с каждым днем, чтобы выразить свою ненависть к существующей системе, трудно было найти подходящий зал... Руководители движения скоро нашли способ обходиться без зал и без всяких закрытых помещений. Они придумали устраивать митинги при факельном освещении, находя, что это гораздо удобнее для народа как с точки зрения времени, так и расходов... И в течение некоторого времени мануфактурные округа стали аренами таких могучих народных демонстраций, каких еще не было ни

что ему не оставалось другого выхода, как нанести решительный удар подобного рода собраниям или признать свою несостоятельность. В скором времени на стенах всех городов появились воззвания от королевы, в которых факельные митинги объявлялись незаконными и все лица, принимающие в них участие, должны были подвергнуться преследованию закона... Народ пришел в такое лихорадочное состояние, что, казалось, его охватил какой-то бред, и тысячи выражали решимость растоптать воззвания и послать вызов правительству... Тем не менее, с этого времени факельные митинги прекратились...

(Р. Гаммедж.—, История чартизма“).

### РЕЧЬ ПАСТОРА СТЕФЕНСА <sup>1</sup>.

Вот уже много лет, как Англия является страной, которую дьявол избрал мшпенью для своих коварных и опустошительных стрел. Он обстреливал ее сначала украдкой и незаметно, потом более открыто, а теперь—уже без всяких церемоний!.. Если мы идем ко дну, как страна, если мы погибаем, как народ, то и окончательная гибель внезапно обрушится на нас; одним ударом мы будем ввергнуты в бездну и сметены с лица земли, как мякина вихрем. Вы не можете указать почти ни одного средства, которое могло бы вывести нацию из теперешнего кризиса и спасти ее от падения. Откуда мерещится вам надежда? Откуда ожидаете вы помощи?.. Я смотрю на палату лордов... Я нахожу там палату конституционных ублюдков. . Где среди них „человек“?.. Вы найдете там нравственно падшее дворянство, которое пользуется своим именем, рангом, титулом, своим влиянием для того лишь, чтобы поддерживать один закон о бедных, это самое губительное из всех дьявольских порождений...<sup>2</sup> Вы найдете эти отпрыски благородной крови блуждающими по Бастилиям, созданным законом о бедных, и заглядывающими в каждую хижину, в каждый котел не для того, чтобы наполнить его, если он окажется пустым, а с целью поискать, нет ли там чего такого, что можно было бы вытащить... Вы найдете этих пэров страны... с весами в руках, отвешивающими лотами хлеб и отмеривающими воду каплями с целью украсть хоть крошки ценою жизни тех, кто созданы по образцу божью. На что мы можем надеяться, чего мы можем ожидать от подобных вырожденцев человечества?..

Идите вы из верхней палаты в нижнюю, в палату народных представителей, и что же там находите? Вы находите там рабленно пресмыкающихся, как собаки, противных паразитов... Что представляет из себя тронная речь, которую эта палата почти единодушно приветствовала? В этой речи в такое время, когда громадная масса людей окончательно

<sup>1</sup> Джозеф Рейнер Стефенс, священник-методист. Он называл себя: „революционером ножа, крови и смерти“. Речь эта была произнесена, как проповедь, в церкви методистов 10-го февраля 1839 г. в Стембридже.

<sup>2</sup> Закон о бедных издан в 1834 г. Рабочий, лишившийся средств к существованию, отправлялся насильственно в рабочий дом; его разлучали с семьей и содержали на тюремном режиме. Рабочие называли эти дома „Бастилиями“.

разорена; когда большинство жителей страны обременено более тяжелой работой, чем любое выючное животное; когда даже при такой работе их все же терзает нужда до того, что они не имеют возможности утолить голод своих детей или прикрыть наготу тела...—находите ли вы в тронной речи хоть одно выражение, в котором проглядывала бы забота о народе, одно слово о том, что положение страны так печально? Показалась ли на глазах молодой королевы хоть одна сочувственная слеза?

Нет, глазам королевы воспрещены слезы, сердцу королевы воспрещены чувства, душе королевы воспрещено сетовать об участи народа, и вместо масляной ветви мира, эмблемы благословения своему народу, ей дали в руки кнжал и факел и повелели взмахнуть над страной железным скипетром; ее подбили сказать народу, что она будет управлять им при помощи железной розги, ее побудили сказать своему народу; что так как солдаты отказываются выкалывать своими штыками глаза, пронизывать груди, то она прикажет набрать кучу наемных убийц, полицейскую банду предателей; ее побудили сказать своему народу, что она насильно будет проводить дьявольский закон о бедных и что если где-либо в Северной Англии мать будет плакать, как Рахиль, над своими детьми, их отберут у нее эти продовые слуги... Побудили королеву сказать, что адский закон о бедных будет проведен, хотя бы трону пришлось рухнуть в этой борьбе. Ну, так я же скажу этим людям, что если закон о бедных будет проводиться под прикрытием прав королевы и могущества трона, то рухнет этот трон, он должен, не может не рухнуть!.. Где же надежда? Где помощь? В народе? Конечно, в нем. Против нас—сила, все партии страны; но я знаю, что народ до сих пор выказывал себя как восприимчивым к правде, так и достаточно способным к тому, чтобы с оружием в руках провести эту правду в жизнь...

Новый закон о бедных разлучает мужа с женой,—но что же из этого?

Господа фабриканты уже давно это сделали. Какая разница между тем, разлучили ли мужа с женой в Бастилии, которую называют „рабочим домом“, или в Бастилии, которую называют „фабрикой?“ Закон о бедных разлучает родителей с детьми. Он отрывает ребенка от груди матери. Но что из этого? Вы давно отрывали ваших детей от своей груди. Фабричная система научила мать смотреть на своих детей, как на тяжелое бремя...

Если мы не имеем возможности дольше жить трудом рук своих, то бог сам повелевает нам брать всюду, где только можем. И если до этого дойдет, я буду вместе с вами, я пойду впереди вас, и не с кнжалом под платьем, а с блестящим ружьем на плече. Долой проклятое правительство! Долой палату общины! Долой палату лордов! Да, долой трон! И долой даже алтарь! Сожгите церкви—долой всякий разг! Долой всякий сан, всякие титулы, всякое насилие, и пусть каждому честному человеку будет обеспечено безбедное существование, как плата за добросовестную работу!—Вы теперь упорно боретесь за хартию; я не придаю этому значения; она, быть может, и очень хороша, и вы имеете право бороться за нее, это заметьте себе; и я всегда вам буду помогать, но я не придаю этому значения; не придаю я также значения республике

и вообще всякому такому состоянию общества, когда каждому трудящемуся, каждому живому существу не гарантирована полная обеспеченная и счастливая жизнь, согласно воле и приказу всемогущего бога!

(С. Боркгейм.—„Движение чартистов“).

*Англия.*

(Конец 19-го века).

Итак, в мировом городе на Темзе, „этой величайшей бородавке земного шара“, опять разыгрывалось повторявшееся из года в год зрелище. Бесчисленные толпы людей, которых лишь крайняя нужда — призрак голодной смерти—была в состоянии выгнать из нор на пользовавшуюся всемирной известностью площадь, расположенную в самом сердце города — опять задавались вопросом: как прожить завтрашний день? Как пережить эту длинную зиму без работы и без хлеба?..

Эти несчастные люди, давно уже знавшие, что в мире за ними не признаются никакие права—ни право на пядь земли, ни право на какие бы то ни было ее богатства,—теперь потеряли и последнее свое „право“: право работать до изнеможения на других. Перед ними лицом к лицу, встал страшный, неизменный спутник бедности—голод...

Уже с раннего утра просторная, холодная площадь Трафальгар-Сквера стала наполняться призраками нищеты.

Они приходили со всех концов города. Они считали себя счастливыми, когда нужда не заставляла их еще отказаться от собственной квартиры, грязной дыры в подвале или на пятом этаже, от нанятого угла в чужой комнате. Они считали себя счастливыми и тогда, когда им удавалось в течение дня случайно заработать столько, чтобы найти себе приют в одном из ночлежных домов. Но на большинстве этих больных, бледных и усталых лиц слишком ясно было написано, что они провели холодную ночь на скамейке набережной Темзы или где-нибудь под воротами и в проходах „Ковен-Гарден“.

Безработные! Да, о них пришлось много говорить в этот благодатный год! В продолжение 35 лет они из года в год, в начале зимы, представляли перед взором богатых.

И каждый год число их возрастало, каждый год их выступление становилось увереннее, их требования определеннее!..

...Впереди процессии шла жепщина. Она несла красное знамя. Обан узнал в ней и в окружающих ее мужчинах, которые крепко сжимали свои палки членов социалистической лиги. Вслед за ними шли музыканты, игравшие Марсельезу. За оркестром двигалась довольно длинная процессия. Обан не мог видеть ее конца. Только развевающиеся знамена поднимались над черными массами.

Полицейские, сомкнувшись, ожидали шествия...

Когда процессия приблизилась к ним на близкое расстояние, раздались звуки команды, и в тот же момент яростное нападение полиции на тысячу кусков разорвало сомкнутые ряды процессии. Началась дикая расправа. Огромный полицейский наскочил на женщину и вырвал из ее

рук знамя, которое она всеми силами старалась удержать. Она запалась и упала без чувств, но как раз в этот момент сильный удар палки опустился на голову нападающего полицейского. Музыканты боролись за свои инструменты, которые у них вырывались, топтались, разбивались. Полицейские с яростью поднимали и опускали свои дубины, не обращая внимания на то, куда попадали их удары.

Манифестанты стали отчаянно защищаться. Большинство из них имели в руках тяжелые палки и яростно махали ими вокруг себя. Началось неопишное смятение. Воздух огласился проклятиями, криками, руганью, пронзительным ревом толпы, бросившейся в рукопашную, звуками тупых ударов, топанием тяжелых сапог о твердую землю, звоном разбиваемых фонарных стекол... Били, топтали, царапали друг друга и, стараясь повалить противника на землю, изо всей силы впивались друг в друга...

В течение четырех часов бушевавшая толпа непрерывно возрастала и теперь она, казалось, достигла наивысшей своей численности так же, как и высшей степени своего возбуждения. Окна и балконы окружающих домов были битком набиты наблюдателями этого совершенно необычного, единственного в своем роде зрелища, с лихорадочным вниманием следившими за всякой стычкой полиции с публикой и одобрительно приветствующими жестокости первой. С высоты находящихся здесь балконов, как еще раньше заметил Обан, лондонская золотая молодежь развлекалась певинной забавой—плевала на „червь“, от которой она на своей возвышенной позиции чувствовала себя в такой же безопасности, как в церкви...

Показалась кавалерия...

(Джон Генри Маккэй-„Анархисты“).

*Англия.*

(Начало 20-го века).

...Флоренс Грей нашивала перламутровые пуговицы для фирмы „Блэк, Пэмбертон и К<sup>о</sup>“. За четырнадцать тысяч пуговиц платили два с половиной шиллинга. Так как Флоренс Грей необходимо было выработать семь с половиной шиллингов в неделю, то для этого приходилось нашивать сорок две тысячи пуговиц. Это означало: четырнадцать часов работы и семь рабочих дней в неделю. За двадцать слишком лет жизни в Лондоне Грей знала только дорогу от Жемчужной Аллеи до Шордича, где помещалась фирма „Блэк, Пэмбертон и К<sup>о</sup>“. Сюда она ходила каждую субботу в 4 часа, чтобы сдать работу, получить семь с половиной шиллингов и взять новый запас пуговиц. Перламутровые пуговицы заполнили весь горизонт Флоренс Грей и вытеснили все. И когда после четырнадцатичасовой работы Флоренс Грей ложилась спать, то ей снились только перламутровые пуговицы.

Само солнце, когда оно показывалось, покрытое, как всегда в Лондоне, туманной дымкой, представлялось Флоренс Грей большой, плохо нашитой, а потому двигающейся перламутровой пуговицей. Двадцать лет прошли, как неделя, не оставив почти никаких воспоминаний...

А Флоренс Грей все нашивала пуговицы... За это время открыли центральную Африку, изобрели удивительные машины, овладели воздухом, нашли радий и аргон, создали теории, перевернувшие старые неизблемые взгляды, начался и кончился ряд войн. Люди говорили, что мир стремительно меняется, а в Жемчужной Аллее Флоренс Грей все нашивала перламутровые пуговицы. Каждую субботу в 4 часа дня она направлялась в Шордич, чтобы сдать фирме „Блэк, Пэмбертон и К<sup>о</sup>“ работу и получить новый запас пуговиц. Фирма была большая, и Флоренс не знала мертвых сезонов...

Но вот раз в субботу, когда Флоренс отнесла нашивные пуговицы в Шордич, принимающий работу сказал, что фирма перестает существовать. „Блэк, Пэмбертон и К<sup>о</sup>“ прекратили платежи. В специальной прессе говорили, что во всем виноваты иностранные конкуренты, пользующиеся дешевым тюремным трудом. Но Флоренс не допытывалась о причинах. Она поняла только, что сразу исчезли не только средства к существованию, но и все то, что двадцать лет наполняло жизнь. Образовалась пустота, бесконечная, темная, страшная. Английский государственный деятель так объяснял в парламенте последовательные шаги потерявшего работу: „сперва работник переселяется из более удобного помещения в менее удобное, затем из менее удобного в плохое. Потом работник мало-по-малу продает мебель, платье и вещицы, приобретенные в хорошие времена. И, если описанное состояние продолжается, работник становится паупером<sup>1</sup>, семья распадается, и он идет просить общественной помощи“. Но, прежде чем сделать последний шаг, потерявший работу испытывает все муки голода. Прежде чем пойти в рабочий дом рабочий должен предварительно вытравить в себе чувство самоуважения, на котором держится английская культура.

Флоренс Грей поразительно быстро прошла все ступени, намеченные выше. Она не перебралась только в „худшую квартиру“, так как и без того помещение в Жемчужной Аллее было плохо. Процесс реализации имущества продолжался очень недолго; за двадцать лет было нажито так мало! И вот, наконец, три дня после того, как был проеден последний фартинг из двух шиллингов, полученных от закладчика за шаль,—голодная, больная Флоренс решила пойти к людям, где не так страшно...

Она остановилась у ярко освещенного окна маленького ресторана, где лежал громадный кусок сырого мяса, окруженный красными томатами и горками пирожков с яблоками. Этот кусок мяса приковал все внимание Флоренс. Но вот резкое пенне заставило ее вздрогнуть. Несколько бродячих певцов или менестрелей, негров (два настоящих и три нет), остановились у тротуара, как раз у окна с куском сырого мяса. Сперва они стали стучать в тамбурины, ударяя то кулаком, то лбом, чтобы собрать публику, затем старый негр запел одну из песен, сложенных на своеобразном английском жаргоне черными работниками на хлопковых плантациях южных штатов...

<sup>1</sup> Нищий.

Был своеобразный дикий пафос в примитивном напеве и в примитивных словах, в которых рассказывалось про Джона Брайана, казненного в конце шестидесятых годов в Виргинии за восстание с целью освобождения невольников. Пафос тесно захватил веселую публику, которая слушала молча.

И когда певец кончил, в протянутый тамбурин посыпались пенсы. Старый негр свергал белками и фланялся публике, прикладывая палец к полям своего громадного цилиндра. Звон монет, падающих в тамбурин, вызвал в больной голове Флоренс ряд обрывков мыслей.

Мясо. Чтобы достать мясо, нужны деньги. Негры пели, им дали деньги. Нужно петь, чтобы иметь деньги и мясо. Следует стать на краю тротуара, как эти негры. Вот так. Потом петь.

Но что петь? Пуговицы, которые нашивала Флоренс больше двадцати лет, не впускали в ее голову ничего постороннего, ни одного куплета песен, сложенных в мюзик-голлах. У Флоренс было только одно яркое воспоминание. И из неведомых тайников памяти стали вновь выползать подробности тихого летнего дня. Запахло белыми цветами, растущими у воды. Послышался легкий металлический звук летающих стрекоз. Раздалось пение краснощекого Дика. Да! Самое лучшее—повторить за ними песню про удалого разносчика, предлагающего красавицам „перчатки, пахнущие дамасскими розами“. „Покупайте, покупайте у меня“.

Никто, кроме Флоренс, не слышал ни напева, ни слов, так как они звучали только в ее памяти. И если бы даже кто-нибудь слышал, то эта песня была бы всем чужда. Ее все забыли. Ярче выступали воспоминания. Флоренс закрыла глаза и пела неслышную никому песню. Прохожие, видя шатающуюся старуху, считали ее пьяной. И вот к ней подошел полисмен. И когда он положил ей руку на плечо, ноги у Флоренс подогнулись, она упала на мостовую...

(Диэнес, „Меняющаяся Англия“, гл. „Без работы“).

С.-А. С. Штаты.  
(Конец 19-го века).

...Наступила ужасная зима. В лесах ветви деревьев борются целое лето за свет; иные бывают побеждены и погибают; потом начинаются бури, вьюги; земля покрывается остатками более слабых побегов...

То же самое происходит в Пэкнингтоуне<sup>1</sup>: все предместье выбивалось из сил в предсмертной борьбе, и те, для которых наступал смертный час, умирали сотнями. Они были в течение целого года составными частями огромного механизма; наступал час обновления, и старые части заменялись новыми.

Жестокий ветер, холодный, пронизывающий, снежные бури постоянно истощали измученных людей с ослабевшими мускулами и неправильным кровообращением. Рано или поздно те, которые не могли вын-

<sup>1</sup> Пэкнингтоун—предместье Чикаго, застроенное фабриками консервов.

сти их губительного действия, должны были оставить работу, и их без всякого сожаления немедленно заменяли другими рабочими.

Этих новых рабочих всегда можно было найти целыми тысячами.

Толпа людей без гроша в кармане и умирающих с голоду весь день осаждала ворота фабрики. Они буквально целыми тысячами появлялись там каждое утро и дрались, чтобы пробраться поближе к выходу, надеясь получить средства к существованию. Холод и ветер не пугал их, они всегда были там, появляясь за два часа до восхода солнца, за целый час до начала работ. Им случалось отмораживать там лицо или руки, или ноги, иногда они совершенно замерзали, но все-таки приходили туда, потому что им больше некуда было идти.

Однажды Дургам поместил в газетах об'явление о том, что ему нужно двести человек, чтобы колоть лед; весь этот день бесприютные и голодающие тянулись к фабрике со всех концов громадного города, с трудом пробираясь в снег. Ночью человек восемьсот столпились в полицейском участке скотобоев. Они наполнили все залы, засыпали на коленях друг у друга, сидя на корточках, забирались во все коридоры, так что полиция, наконец, закрыла двери, оставив нескольких человек мерзнуть на улице.

На следующее утро, еще до рассвета, их явилось к Дургаму больше трех тысяч. Пришлось вызвать резерв полиции, чтобы сдерживать эту огромную возбужденную толпу, и надзиратели выбрали двадцать человек из числа самых сильных, здоровых на вид. Цифра 200 оказалась газетной опечаткой...

Улицы, по которым нашим друзьям приходилось пробираться на работу, не были вымощены, они были испещрены рытвинами и канавами.

Летом, когда дождь лил, как из ведра, рабочему, чтобы добраться до дому, приходилось идти по пояс в воде. Но зимою проходить по этим улицам на рассвете или в сумерки было опасным предприятием. Люди надевали на себя все, что у них только было теплого, но ничем не могли защитить себя от изнуряющего холода. Многие из них, будучи не в силах одолеть все эти сугробы, через которые приходилось пробираться, ложились в снег и засыпали вечным сном.

Если путь этот был труден для мужчин, можно представить себе, сколько он причинял страданий женщинам и детям...

Бойни не отапливались, и людям приходилось работать там всю зиму, точно на открытом воздухе. Впрочем, на фабриках нигде не было тепло, кроме тех помещений, где варили мясо...

У „смертного ложа“<sup>1</sup> рабочие всегда были обрызганы кровью, которая замерзала, и если рабочему случалось прислониться к столбу, то он оказывался как бы приклеенным к нему. Если кто схватывал лезвие своего ножа—он оставлял на нем лоскуток своей собственной кожи. Рабочие завертывали себе ноги газетной бумагой или старыми мешками, все это пропитывалось кровью и замерзало, опять погружалось в кровь и опять замерзало, и так целый день. К вечеру ноги принимали форму, напоминающую копыто слона.

<sup>1</sup> Загон с решетками, где убивают быков.

От времени до времени рабочие уградкой от мастеров всовывали ноги по щиколотку в дымящиеся трупы животных, или бежали в другой угол залы, чтобы стать под струю горячей воды, которой ошпаривали туши... От крови только что убитых животных и от непрерывно струившейся горячей воды в воздухе стоял такой густой пар, что уже в пяти шагах перед собою ничего нельзя было различить. Рабочие бежали по всем направлениям с той лихорадочной поспешностью, которая требовалась от них на бойнях. У каждого из них был в руке большой нож, острый, как бритва. Надо было удивляться, как могли они при таких условиях не перерезать друг друга, вместо животных, которых они должны были убавать.

Куда ни шло, но можно было бы примириться со всем этим, если бы только у них было место, где можно было поесть. Юргису приходилось обедать среди той вони, в которой он работал, или бежать, как его товарищи, в один из ресторанов, которые целыми сотнями гостеприимно раскрывали перед ним свои двери... Там можно было найти всегда горячую печку, стул у огня и друзей, чтобы поболтать и посмеяться. Чтобы пользоваться всем этим, надо было соблюдать только одно условие: пить.

Если вы входили и ничего не спрашивали, вас мигом выпроваживали вон и, вдобавок, еще грозили разможить голову бутылкой. Все рабочие признавали это соглашение и пили... Вернувшись на завод, рабочий не дрожал больше от холода, он принимался за свой труд с большей энергией, однообразная работа казалась менее скучной, и все представлялось ему в менее мрачном свете...

Но когда надо было отправляться домой, его снова пробирала дрожь, жестокий холод был невыносим, и по дороге он должен был раза два зайти в кофейню, чтобы немного отогреться... Рабочий возвращался домой поздно или вовсе не возвращался. Иногда жена его отправлялась ему навстречу, ей тоже было холодно, иногда она брала с собою детей, и, таким образом, вся семья привыкала пить.

Как будто для того, чтобы еще крепче сковать эту роковую цепь, фабриканты платили рабочим особыми чеками и отказывались давать им денег. А где же можно было их разменять в Пэкингтоуне, если не в ресторане? И в благодарность за эту услугу непременно надо было оставить там часть заработанных денег...

(Эптон Синклер, „Чаша“ (Джунгли).

*С.-А. С. Штаты.*

(Период мировой войны 1914—1918 г.г.).

... Положение вещей было доведено до крайности администрацией завода „Эммайр“, которая, конечно, была осведомлена своими шпионами. Она рассчитала свыше двух десятков смутьянов, и когда известие об этом распространилось в час обеденного перерыва, весь завод был охвачен пламенем гнева. „Забастовка! Забастовка!“ — раздался крик. Джимми был одним из многих, которые сейчас же устроили шествие по всем дворам с криками, пеньем, руганью по адресу босов, угрозами по адресу всех

тех, кто предлагал снова приняться за работу. Меньше одной десятой всей массы рабочих так или иначе пытались снова стать на работу и в течение этого дня мастерские машиностроительного завода „Эмпайр“, предназначенные для вытачивания прапнельных стаканов для русского правительства, превратились в место ораторских выступлений членов рабочих союзов, социалистической партии и пр...

Джимми не стал даже тратить время на ужин. Большую часть ночи он проработал, помогая организовать забастовавших, а весь следующий день провел за устройством социалистических митингов... Все ораторы, которых можно было найти, были привлечены к выступлению с речами, пока они не договаривались до хрипоты, а вечером нужно было провести еще с поджюжны уличных митингов. Так всегда делалось, когда бывали забастовки. Только тогда у рабочего имелось время, а также и желание слушать!

Так наступил финальный кризис, во время которого маленькому механику довелось показать, на что он способен. Он держал высоко в воздухе факел на обычном месте для митингов, на углу Главной и Третьей улиц, а товарищ Джерити объяснял, что забастовка и избирательное право—это две стороны обоюдоострого меча трудящихся, как вдруг из-за угла появились четыре полицейских и стали пробираться сквозь толпу.

— Вы должны прекратить все это!—объявил один из них.

— Прекратить?—воскликнул Джерити.—Что вы этим хотите сказать?

— Больше не будет допущено никаких уличных речей во время забастовки.

— Кто так говорит?

— Таково распоряжение начальника.

— Но мы получили разрешение.

— Все разрешения отменены. Прекратите разговоры.

— Но это насилце!

— Вам незячем вступать с нами в спор, молодой человек...

— Но мы в праве быть здесь.

— Забудьте об этом, любезный!

Джерити быстро обернулся к толпе.

— Сограждане!—воскликнул он,—мы осуществляем здесь свои права в качестве американских граждан! Мы проводим мирный политический митинг, не нарушая порядка, мы знаем свои права и намерены их отстаивать! Мы...

— Слезайте прочь с ящика, любезнейший!—приказал офицер, а толпа загикала и загудела.

— Сограждане!—начал снова Джерити, но это было все, что он успел сказать, ибо полицейский схватил его за руку и рванул; а Джерити слишком хорошо знал приемы американских полицейских, чтобы сопротивляться. Он сошел вниз, но все еще пытался говорить.

— Сограждане...

— Да замолчите ли вы когда-нибудь?—спросил его другой полицейский, а так как Джерити все еще продолжал ораторствовать, то он объявил:

— Вы арестованы.

В толпе было человек шесть социалистов, и самоуважению каждого из них был сделан вызов. В одно мгновение товарищ Мабель Смит прыгнула на подмости.

— Товарищи рабочие!—закричала она.—Это Америка или Россия?

— Довольно, сударыня!—сказал полицейский, насколько мог почтительнее. На товарище Мабель была надета огромная изящная шляпа и, кроме того, у нее имелись еще и другие признаки молодости и красоты.

— Я в праве говорить здесь и буду говорить,—объявила она.

— Нам не хотелось бы прибегать к вашему аресту, сударыня...

— Вы должны или арестовать меня, или дать мне говорить.

— Сожалею, сударыня, но таков приказ. Вы арестованы.

Тут наступил черед товарища Станкевича.

— Рабочие люди, мы находимся здесь для борьбы за права рабочих...

Сдернули с подмостков и его.

Тогда выступил „неистовый Билль“. Этот самый зыбкий, самый высокопробный пролетарий держался в задних рядах собравшейся толпы, потому что местная группа запретила ему принимать участие в прениях из-за несдержанности в резких выпадах. Но теперь, разумеется, все запреты пошли прахом, и Билль выскочил на пошатнувшуюся платформу.

— Что мы—рабы? завопил он.—Что мы—собаки?

Повидимому, полиция придерживалась именно такого мнения; потому что Билля чисто по-американски сорвали с платформы, и один из полицейских схватил его за кисть руки и вывернул ее с такою силой, что речь Билля закончилась криком боли.

Тут выступил Джонни Эдж, застенчивый юноша, с руками, полными литературы, с которой он не расставался, несмотря на насилия полицейских, а потом—потом оставался еще один!

Бедный Джимми! Ему нисколько не хотелось быть арестованным, и он страшился даже мысли выступить с какой-либо речью, хотя бы такой короткой, какпе сегодня оказались в порядке дня. Но тут, конечно, была поставлена на карту его честь, иного выхода не было. Он передал факел одному из стоящих рядом и поднялся на эшафот.

— Так это свободная страна?—закричал он.—У нас есть свобода слова?

И первая попытка Джимми произнести речь закончилась тем, что его сдернули сзади за пиджак, отчего едва не повалилась неустойчивая платформа, на которой он стоял.

Полицейских было четверо с шестью арестованными, а толпа вокруг них завывала от негодования, быть может готовая перейти к насилью,—как знать? Впрочем, охранители порядка заранее приготовились. Один из них дошел до угла улицы и засвистел в свисток. Через минуту дошел визг сирены, и из-за угла показался громадный городской патрульный фургон—„Черная Мария“. Толпа расступилась, и пленников по одиночке вихнули внутрь. Один из них „Неистовый Билль“, почувствовавший себя на минуту свободным от рук захватчиков, возвысил голос и стал кричать сквозь проволочную решетку фургона:

— Я об'являю это посягательством на права граждан! Я—свободный американец...

И вдруг Джимми, который входил в фургон сейчас же вслед за Биллем, почувствовал, что летит куда-то в сторону: один из полицейских проскочил мимо него и со страшной силой ударил оратора кулаком прямо в зубы. „Неистовый Билль“ рухнул, как бычок под скирой мясника, а пагрульный фургон двинулся с места, заглушая визгом своей сирены протесты толпы...

(Э. Синклер.—«Джимми Хиггинс»).

(ИЗ УОТ УИТМЭНА).

Не скорбным, бессильным, остывшим бойцам,  
Усталым от долгих потерь,  
Хочу я отважным и юным сердцам  
Пропеть свою песню теперь!

Пусть мертвые мертвым приносят любовь  
И плачут у старых могил!  
Мы живы: кипит наша алая кровь  
Огнем неистраченных сил.

Священную память погибших в бою  
Без слез мы умеем хранить,  
Мы жаждем всю силу, всю душу свою  
На тот же алтарь возложить!

Кто выронил молот и острый резец?  
Мы рвемся работать взамен  
И строить великий народный дворец,  
Из камня разобранных стен.

Чьи мутные взоры поникли к земле?  
Пытливо глядим мы вперед,  
Упрямо стремимся увидеть во мгле  
Зари отдаленной восход.

Несись, моя песня, как радостный клик,  
На дальний, безвестный предел!  
Да здравствует юность, кипучий родник  
Великих стремлений и дел!

Несись, моя песня! Взлети до небес,  
Как сокол, свободный от пут!  
Да здравствует гений всемирных чудес,  
Могучий и творческий труд!

## Указатель книг для самостоятельного чтения.

### Крестьянство в России.

#### I. Крепостной быт.

- |  |  |
|--|--|
| Григорович, Д. В.—„Антон Геремыка“.                  | Салтыков, М. Е.—„Баня и Миша“.         |
| „ „ „Дерезня“.                                       | „ „ —„Развеселое житье“.               |
| „ „ „Пахотник и Бархатник“.                          | „ „ —„Госпожа Падейкова“.              |
| Данилевский, Г. П.—„Беглые в Новороссии“.            | „ „ —„Помещик“ (см. „Мелочи жизни“).   |
| Короленко, В. Г.—«В облачный день».                  | Салтыков, М. Е.—„Пошехонская Старина“. |
| „ „ „Лес шумит“.                                     | Тернигорев, С. А.—„Потрешенные тени“.  |
| Мачет, Г. А.—„И один в поле воин“.                   | Толстой, Л. Н.—„Поликушка“.            |
| Некрасов, Н. А.—„Кому на Руси жить хорошо“.          | „ „ „Утро помещика“.                   |
| Радищев, А. Н.—„Путешествие из Петербурга в Москву“. | Тургенев, И. С.—„Записки охотника“.    |
|  | „ „ „Муму“.                            |
|  | „ „ „Постоялый двор“.                  |

#### II. Крестьянство после реформы 1861 г.

- |   |   |
|---|---|
| Ал-ский, С. А.—„На торгах“ (Собр. соч. т. V).     | Успенский, Гл. И.—„Очерки деревенской жизни“. |
| Астырев, Н. М.—„В волостных писарях“.             | Успенский, Гл. И.—„Новгородские лядины“.      |
| Дмитриева, В. И.—„Человеком стал“.                | Успенский, Гл. И.—„Из деревенского дневника“. |
| Засодимский, П. В.—„Хроника села Смурна“.         | Чехов, А. П.—„Бабы“.                          |
| Решетников, Ф. М.—„Тетушка Опарица“.              | „ „ „Мужики“.                                 |
| Степняк-Кравчинский, С.—„Штундист Павел Руденко“. | „ „ „В овраге“.                               |
| Успенский, Гл. И.—„Власть земли“.                 | „ „ „Новая дача“.                             |
| „ „ „Крестьянин и крестьянский труд“.             | Эртель, А. И.—„Поплешка“.                     |

#### III. Деревня в первую Русскую революцию 1905 — 06 г.г. и после нее.

- |   |   |
|---|---|
| Бунин, И. Н.—„Деревня“.                             | Муйжель, В.—„Аренда“ (см. т. I, собр. соч.).  |
| Вольнов, Ив.—„Повесть о днях моей жизни“ (3 части). | Муйжель, В.—„Хутор № 16“.                     |
| Горький, М.—„Лето“.                                 | Олигер, Н.—„В долине“ (см. т. I, собр. соч.). |
| Коновалов, И.—„Очерки современной деревни“.         | Пришвин, М.—„Заворошка“.                      |
| Муйжель, В.—„Солдаты“.                              | Чириков, Е. Н.—„Мужики“.                      |

#### IV. Деревня в годы великой Русской революции 1917 — 20 г.г.

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Карпинский, В.—„Мы и они“.      | Сивачев.—„Желтый дьявол“.    |
| Неверов, А.—„Андрон Непутевый“. | Шиншков, В. Я.—„С котомкой“. |
| Серафимович, А.—„Чей сад“.      |                              |

## Крестьянство на Западе.

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Бласко-Ибаньес, В.—„Проклятый хутор“. | Поленц, В.—„Крестьянин“.         |
| Гамсун, К.—„Соки земли“.              | Розеггер, П.—„Яков Последний“.   |
| Ожешко, Э.—„Меньшая братия“.          | Франко, П.—„Свиная конституция“. |

## Пролетариат в России.

### I. Быт рабочих до революции 1905 г.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Вересаев, В. В.—„Два конца“.                  | Мамин-Сибиряк, Д. И.—„Горное гнездо“. |
| Герасимов, В.—„Жизнь русского рабочего“.      | Немирович-Данченко, В. И.—„В дудке“.  |
| Дмитриева, В. И.—„Баба-Иван и ее крестьянин“. | Погорелов, А.—„Перед грозой“.         |
| Дмитриев, В. П.—„Димка“.                      | Решетников, Ф. М.—„Где лучше“.        |
| Златовратский, Н. П.—„Мечтатели“.             | „ „ „ „Горнорабочие“.                 |
| „ „ „ „Хлопцы“.                               | „ „ „ „Глумовы“.                      |
| Короленко, В. Г.—„Павловские очерки“.         | Серафимович, А.—„Под праздник“.       |
|   | „ „ „ „На заводе“.                    |
|   | „ „ „ „Под землей“.                   |

### II. Накануне и в годы революций 1905—06 и 1917—18 г.г.

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Арский, П.—„Кровь рабочего“.           | Гастев, А.—„Поэзия рабочего удара“.  |
| Бессалько, П.—„Бессознательным путем“. | Иванов.—„Записки прошлого“.          |
| Бессалько, П.—„Катастрофа“.            | Куприн, А. И.—„Молох“.               |
| Бибик, И.—„К широкой дороге“.          | Плетнев,—„Леша“.                     |
| „ „ „ „В ночную смену“.                | Серафимович.—„Город и ст. п.“.       |
| Горький, М.—„Враги“.                   | „ „ „ „Среди ночи“.                  |
| „ „ „ „Мать“.                          | Шаповалов.—„Путь молодого рабочего“. |
|  | Юшкевич, С.—„Еврей“.                 |

## Пролетариат на Западе.

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Гауптман, Г.—„Ткач“.     | Мирбо, С.—„Жан и Мадлена“.          |
| Гельсуорти.—„Борьба“.    | Немоевский, А.—„Листопад“.          |
| Гюго, В.—„Клод Ге“.      | Попп, А.—„История одной работницы“. |
| Золя, Э.—„Углекопы“.     | Синклер, Э.—„Джамми Хиггинс“.       |
| Келлерман, Б.—„Туннель“. | „ „ „ „Чаща“ (Джунгли).             |

## Алфавитный указатель авторов.

- Аросев.—Страда.  
 Артамонов.—Земля родная (стихотворение).  
 Басов-Верхоянцев.—Конек-Скакупок (стихотворение).  
 Бедный, Дем.—Лена (стихотворение).  
 Беранже.—Сон бедняка (стихотворение).  
 Беренштам.—За право.  
 Бессалько.—Бессознательным путем.  
 Бетхер.—Шквал (пьеса).  
 Бирик.—К широкой дороге.  
 Бласко Ибаньес.—Проклятый хутор.  
 Бой за правду.  
 Вольнов.—Юность.  
 Вольный рабочий (стихотворение).  
 Гаммедж.—История чартизма.  
 Гамсун.—В прерии.  
 Гастев.—Мы растем из железа (стихотворение).  
     "    Сильнее слов.  
 Гауптман.—Ткачи (пьеса).  
 Гейне.—Ткачи (стихотворение).  
 Герасимов.—Жизнь русского рабочего полвека тому назад.  
 Герцен.—Быль и думы.  
 Гуцков.—Пугачев.  
 Данилевский.—Воля.  
     "    Черный год.  
 Декрет ВЦИК о земле.  
 Дионео.—Меняющаяся Англия.  
 Дреникин, ген.—Репорт об усмирении (документ).  
 Жуи.—Песнь углекопов (стихотворение).  
 Земля и Воля (документ).  
 Златовратский.—Хлопцы.  
 Золя.—Углекопы.  
 Игнатович.—Бездна.  
 Камаринская (стихотворение).  
 Карпинский.—Мы и они (пьеса).  
 Карпов.—Канун.  
 Коновалов.—Очерки современной деревни.  
 Кореленко.—В облачный день.  
     "    История моего современника.  
 Костомаров.—Буит Стеньки Разина.
- Крайский.—Из ночи в день (стихотворение).  
 Куприн.—Молох.  
 Лермонтов.—Вадим.  
 Маккэй.—Анархисты.  
 Манифест Александра II, 19 февраля 1861 г. (документ).  
 Манифест Пугачева (документ).  
 Мирбо.—Деревенские рассказы.  
 Мордовцев.—За чьи грехи?  
     "    Самозванцы и понизовая вольница.  
 Навроцкий.—Утес Стеньки Разина.  
 Народная песня (17-го в.).  
 Национальная петиция (документ).  
 Неверов.—Андрон Непугувый.  
 Негри.—Мать (стихотворение).  
 Некрасов.—Барщинная (стихотворение).  
     "    Веселая (стихотворение).  
     "    Эй, Иван (стихотворение).  
 Никитин.—Мицenne (стихотворение).  
 О состоянии подданных вообще (из проекта Уложения 1754-66 г.г.).  
 Первое мая (стихотворение).  
 Пильняк.—Голый год.  
 Птач холопов (стихотворение).  
 Псморский.—Рабочий дворец (стихотворение).  
 Поступаев.—На мирской сходке (стихотворение).  
     "    Пссь хлебу (стихотворение).  
 Пришвин.—Заворошка.  
 Пушкин.—Капитанская дочка.  
 Радищев.—Путешествие из Петербурга в Москву.  
 Реймонт.—Мужики.  
 Речь Петра Алексеева (документ).  
 Речь рабочего Богданова (документ).  
 Речь пастора Стефенса (документ).  
 Решетников.—Глумовы.  
 Розеггер.—Яков Последний.  
 Рылеев.—Песня (стихотворение).  
 Салтыков.—Ваня и Миша.  
     "    Пошехонская старина.  
 Свирский.—Записки рабочего.

Семевский.—Крестьяне в царствованье  
Екатерины II.  
Серафимович.—Митинг.  
" Среди ночи.  
" Чей сад.  
Синклер.—Джимми Хиггинс.  
" Чаша.  
Суриков.—Казнь Стеньки Разина.  
Сыроечковский.—На крепостной фаб-  
рике.  
Терпигорев (Атава). — Потревоженные  
тени.  
Туган-Барановский.—Русская фабрика  
в прошлом и настоящем.  
Тургенев.—Два помещика  
" Павловские очерки.  
Тюшевский.—К истории забастовки и  
расстрела рабочих на Ленских  
приисках.

Уитмэн.—Не скорбным, бессильным,  
остывшим борцам (стихотворение).  
Успенский. Гл.—Власть земли.  
Франко.—Свиная конституция.  
Чириков.—Мужики.  
Шамиссо.—Молитва вдовы (стихотво-  
рение).  
Шишков.—Вихрь (пьеса).  
Шляпников.—Накануне 1917 года.  
Шумахер.—Кто она така? (стихотво-  
рение).  
Эркман-Шатриан.—История одного кре-  
стьянина.  
Эртель.—Поплешка.  
Юрьин.—Сплошный зык.  
Якубович (П. Я.).—Восемь часов (сти-  
хотворение).  
Якушкин.—Велик Бог земля русской.

# О г л а в л е н и е .

От составителя . . . . .	стр. 3
Ко II-му изданию . . . . .	4
К IV-му изданию . . . . .	—
Предисловие . . . . .	5

## О Т Д Е Л I - й .

### Крестьянство в России и на Западе.

#### Глава I-я: Степан Разин (1667—1671 г.г.)

1) Утес Стеньки Разина (стихотворение А. Навроцкого). . . . .	9
2) Накануне восстания (Ю. Юрьин.—„Сполошный зык“). . . . .	10
3) Войско Разина (Н. Костомаров.—„Бунт Стеньки Разина“). . . . .	13
4) Победы (Д. Мордовцев.—„За чьи грехи?“). . . . .	14
5) Казнь (Н. Костомаров.—„Бунт Стеньки Разина“). . . . .	18
6) Казнь Стеньки Разина (стихотворение И. Сурикова) . . . . .	20
7) Народная песня. . . . .	22

#### Глава II-ая: Крепостное крестьянство в конце XVIII-го в.—Пугачевщина.

8) Права дворян (из проекта Уложения 1754—1766 г.г.). . . . .	23
9) Труд крестьянина } (Н. Радищев.—„Путешествие из Петербурга в Мос-	—
10) Продажа людей } скву“). . . . .	
11) Помещик-палач (В. Семеvский.—„Крестьяне в царствование Екате-	25
рины II“). . . . .	26
12) Плач холопов (народная песня). . . . .	27
13) Манифест Пугачева . . . . .	28
14) Пожар разгорелся (К. Гуцков.—„Пугачев“). . . . .	30
15) Пугачевщина (Г. Данилевский.—„Черный год“). . . . .	32
16) „ (Ю. Лермонтов.—„Вадим“). . . . .	33
17) Пугачев } (А. С. Пушкин.—„Капитанская дочка“). . . . .	36
18) Казнь пугачевцев } (Д. Мордовцев.—„Самозванцы и понизовая	
19) После разгрома восстания (Д. Мордовцев.—„Самозванцы и понизовая	36
вольница“). . . . .	

#### Глава III-ья: Крепостной быт в первую половину XIX-го века.

20) Образцовый хозяин (М. Салтыков.—„Пошехонская старина“). . . . .	38
21) Царский суд (А. Герцен.—„Былое и думы“). . . . .	39
22) Песни (стихотворение Рыльева). . . . .	40
23) „Благдушный помещик“ (И. Тургенев.—„Два помещика“). . . . .	41
24) Барщинная } (Н. Некрасов.—„Кому на Руси жить хорошо“). . . . .	43
25) Веселая }	
26) Дети-мученики (Салтыков.—„Ваня и Миша“). . . . .	44
27) Пытки (С. Терцигорев.—„Потревоженные тени“). . . . .	46
28) Крепостной человек и барская собака (В. Короленко.—„В облачный	47
день“). . . . .	49
29) Мщенье (стихотворение И. Никитина). . . . .	49

#### Глава IV-ая: Падение крепостного права (1861 г.).

30) Манифест 19 февраля 1861 г. . . . .	50
31) Кто она така? (Шумахер.—„Стихи и песни“). . . . .	52

32) Крестьяне и объявление волн (В. Короленко.—„История моего современника“).	52
33) Как крестьяне толковали Положение (П. Якушкин.—„Велик бог земли русской“).	53
34) „Золотая грамота“ (Данилевский.—„Воля“).	55
35) Рапорт ген. Дренякина об усмирении крестьянск. волнений.	56
36) Восстание в селе Бездна (И. Игнатович.—„Бездна“).	60
37) Эй, Иван! (стихотворение Н. Некрасова).	63

### Глава V-ая: Вторая половина и конец XIX-го в. Классовое расслоение крестьянства.

38) Земля и Воля (прокламация 1881 г.)	65
39) Деревенская беднота (А. Эртель.—„Поплешка“).	66
40) „Песнь хлебу“ (Ф. Поступаев.—„У земли и котла“).	70
41) Розги (Гл. Успенский.—„Власть земли“).	71
42) На мирской сходке (Ф. Поступаев.—„У земли и котла“).	72

### Глава VI-ая: Начало XX-го века.—Деревня в годы первой Русской революции (1905—1906 г.г.).

43) „Бессмысленные мечтания“ о земле (Е. Чириков.—„Мужики“).	74
44) Аграрные волнения (И. Вольнов.—„Юность“).	77
45) Расправа (Басов-Верхоянцев.—„Конек Скакунок“).	81

### Глава VII-ая: От 1905 г. — к 1917-му г.

46) После 1905 г. (И. Коновалов.—„Очерки современной деревни“).	83
47) Столыпинское землеустройство (М. Пришвин.—„Заворощка“).	85
48) Деревня накануне войны 1914 г. (В. Шишков.—„Вихрь“).	88

### Глава VIII-ая: Деревня в годы Великой Русской Революции (1917—1922 г.).

49) Земля родная (стихотворение М. Артамонова)	90
50) Чей сад? (А. Серафимович.—„Рассказы“)	—
51) Конец помещичьей власти (В. Карпинский.—„Мы и они“).	91
52) Декрет ВЦИК о земле (19 фэвр. 1918 г.)	93
53) Канун (П. Карпов.—„Трубный глас“)	95
54) „ (А. Аросев.—„Страда“)	96
55) Старый и новый уклад в деревне (А. Неверов.—„Андрей Непутевый“).	97

### Глава IX-ая: Крестьянство на Западе.

56) Польша (В. Реймонт.—„Мужики“).	103
57) Австрия (Галиция) (И. Франко.—„Свиная конституция“).	105
58) „ (Тироль) (П. Розеггер.—„Яков Последний“).	107
59) „Молитва вдовы“ (стихотворение Шамиссо)	110
60) Франция конца 18 века (Эркман-Шатриан.—„История одного крестьянина“)	111
61) „Сон бедняка“ (Беранке.—„Песни“).	114
62) Франция конца 19 века (О. Мирбо.—„Деревенские рассказы“).	115
63) Испания (Бласко-Ибаньес.—„Проклятый хутор“).	116
64) С.-А. С. Штаты конца 19 века (К. Гамсун.—„В прерии“).	119
65) „ „ „ в период мировой войны (Э. Спиктер.—„Джимми-Хиггинс“).	120

## О Т Д Е Л II-й.

### Фабрично-заводский пролетариат в России и на Западе.

#### Глава I-ая: Крепостная фабрика.

1) На крепостной фабрике (В. Сыроечковский)	125
2) Детский труд (Н. Златовратский.—„Хлопцы“).	126
3) Борьба „на почве закона“ (М. Туган-Барановский.—„Русская фабрика в прошлом и настоящем“)	128

**Глава II-ая: Падение крепостного права (1861 г.).**

- 4) Объявление воли на горных заводах (Ф. Решетников—„Глумовы“) . . . 131  
 5) Вольный рабочий (стихотворение) . . . . . 135

**Глава III-ья: Развитие промышленности. — Начало рабочего движения (60—70 г.г.).**

- 6) Первые стачки (К. Герасимов.—„Жизнь русского рабочего полвека тому назад“) . . . . . 136  
 7) Камаринская (стихотворение) . . . . . 138  
 8) Речь Петра Алексеева . . . . . 139

**Глава IV-ая. Положение рабочего класса в конце XIX-го в. (80-90 г.г.).**

- 9) Гибель кустаря (В. Короленко.—„Павловские очерки“) . . . . . 143  
 10) Придавленность рабочей массы (А. Свирский.—„Записки рабочего“) . . 146  
 11) 1-е мая 1891 года (речь рабочего Богданова) . . . . . 147  
 12) Первое мая (стихотворение) . . . . . 149  
 13) Бой за правду (К. Тахтарев.—„Очерк петербургского рабочего движения 90-х г.г.“) . . . . . —  
 14) Бесправие рабочего (В. Беренштам.—„За право“) . . . . . 151

**Глава V-ая: Гнет капитала. — Пробуждение классового самосознания (900 г.г.).**

- 15) Страшная статистика (А. Куприн.—„Молох“) . . . . . 153  
 16) Пробудились (А. Серафимович.—„Среди иочн“) . . . . . 155  
 17) Восемь часов (стихотворение П. Я.) . . . . . 158

**Глава VI-ая: В годы первой Русской революции (1905 — 1906 г.г.).**

- 18) Зубатовщина (П. Бессалько.—„Бессознательным путем“) . . . . . 159  
 19) Массовое рабочее движение (Билик.—„К широкой дороге“) . . . . . 162

**Глава VII-ая: Рост классового самосознания (от 1905-го — к 1917 г.).**

- 20) Сильнее слов (А. Гастев.—„Поэзия рабочего удара“) . . . . . 169  
 21) Ленский расстрел (Тюшевский.—„К истории забастовки и расстрела рабочих на Ленских приисках“) . . . . . 171  
 22) Лена. 4 апр. 1912 г. (Д. Ведный.—„Песни прошлого“) . . . . . 175  
 23) Накануне 1917 года (А. Шляпников.—„Накануне 1917 г.“) . . . . . —

**Глава VIII-ая: В годы Великой Русской Революции (1917—1920 г.г.).**

- 24) „Из ночи в день“ (стихотворение А. Крайского) . . . . . 179  
 25) Митинг (А. Серафимович.—„Впечатления“) . . . . . —  
 26) Кожаные куртки (Б. Пильник.—„Гольный год“) . . . . . 182  
 27) „Мы растем из железа“ (А. Гастев.—„Поэзия рабочего удара“) . . . . 183  
 28) Рабочий дворец (А. Поморский.—„Цветы восстания“) . . . . . 184

**Глава IX-ая: Фабрично-заводский пролетариат на Западе.**

- 29) Ткачи (стихотворение Г. Гейне) . . . . . 185  
 30) Германия 40-х г. 19-го века (Г. Гауптман.—„Ткачи“) . . . . . 186  
 31) Германия конца 19 века (Ветхер.—„Шквал“). . . . . 190  
 32) Франция 50—60 г.г. 19 века (Э. Золя.—„Углекопы“). . . . . 196  
 33) „Песнь углекопов“ (стихотворение Ж. Жюи) . . . . . 200  
 34) „Мать“ (стихотворение А. Негри) . . . . . 201  
 35) Национальная петиция (Р. Гаммедж.—„Чартистское движение“) . . . . 202  
 36) Факельные митинги (Р. Гаммедж) . . . . . 204  
 37) Речь пастора Стефенса (С. Боркгейм.—„Движение чартистов“) . . . . . 206  
 38) Англия конца 19-го века (Д. Маккей.—„Анархисты“) . . . . . 208  
 39) » начала 20-го века (Дюнео.—„Меняющаяся Англия“) . . . . . 209  
 40) С.-А. С. Штаты конца 19-го века (Э. Синклер.—„Чаща“) . . . . . 211  
 41) С.-А. С. Штаты периода мировой войны (Э. Синклер.—„Джамми-Хиггинс“) . . . . . 213  
 42) Из Уот Уитмана (стихотворение) . . . . . 216

- Указатель книг для самостоятельного чтения . . . . . 218  
 Алфавитный указатель авторов . . . . . 220

## Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

ПРАВЛЕНИЕ — Ленинград, пр. 25-го Октября, 1. Тел. 586-11.  
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР — проспект 25-го Октября, 52, тел. 545-77 и 207-67.  
ОТДЕЛЕНИЯ в Ленинграде — проспект К. Либкнехта, 69; киоски при всех райкомах, на всех крупных заводах, фабриках и в учреждениях.  
ОТДЕЛЕНИЕ в Москве: Лубянский пассаж, пом. 47, 48, 49. Тел. 2-24-09.  
ОТД. по Сев.-Зап. Обл.: в Череповце, Троице, Кингисеппе, Луге, Гдове и т. д.

Рабочим Издательством

## ■ ■ „ПРИБОЙ“ ■ ■

изданы допущенные и рекомендов. Научно - Политич.  
Секцией Государственного Ученого Совета

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:

### 1. Хрестоматия классовой борьбы.

Часть I я. Крестьянство и пролетариат. Цена 80 коп.

» II-я. Революция на Западе. Цена 70 коп.

» III-я. Революция в России. Цена 1 р. 30 к.

Рекомендуется ГУС'ом как учебное пособие при прохождении курса истории классовой борьбы — для совпартшкол, школ взрослых, рабфаков и т. д.

### 2. Красная хрестоматия.

Книга для чтения в партшколах и школах политграмоты.

ГУС'ом рекомендована, как пособие для совпартшкол и школ политграмоты.

**Цена 70 коп.**

### 3. Тюменев, А. И. — История труда.

Краткое руководство по политической экономии.

Допущено ГУС'ом в качестве учебного пособия в школах 1-й и 2-й ступени, в совпартшколах, рабфаках и т. д.

**Цена 70 коп.**

### 4. Ковалев, С. И. — Курс всеобщей истории, т. I.

Допущен ГУС'ом, как справочное пособие.

### 5. Драницын, С. — Конституция СССР и РСФСР в вопросах и ответах.

Допущено ГУС'ом как пособие при изучении государств. строя СССР.

**Цена 85 коп.**

Цена 80 коп.

35672



---

**СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:**

**Ленинград:** Просп. 25 Октября, 52, магазин „Книжные Новинки“.  
Телеф. 5-45-77.

**Москва:** Московское отделение, издательства „ПРИБОЙ“, Лубянский  
пассаж, пом. №№ 47, 48, 49. Телеф. 2-24-09.